

АЛЕКСАНДР
ВОИНОВ

Встречи

АЛЕКСАНДР
ВОИНОВ

Встречи

Повести
Рассказы
Очерки



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1979



Повесть



Воинов А. И.

В 65

Встречи: Повесть, рассказы, очерки.— М.:
Московский рабочий, 1979.— 360 с.

В однотомник входят произведения, посвященные героической борьбе советского народа с фашизмом. Центральное место в книге занимает повесть «Пять дней», воссоздающая образ выдающегося советского полководца генерала Н. Ф. Ватутина.

**В 70302-142
M172(03)-79 196-79. 4702010200**

P2

© Издательство «Московский рабочий», 1979 г.

ПЯТЬ ДНЕЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Как давно он не видел Москвы! Всего полгода, а кажется, что очень-очень давно в последний раз проезжал по этим улицам. Как-то странно видеть спокойно идущих прохожих, красный светофор, перед которым послушно замирает машина. Удивительное несоответствие между размеренностью жизни большого города и душевным состоянием человека, который только что приехал с фронта. Хочется стремительно мчаться вперед, не обращая никакого внимания на правила уличного движения.

Вот уже и площадь Дзержинского. Вот угловой дом, который в начале войны какой-то художник раскрасил под лужайку. Желтые и зеленые полосы, смытые дождями, поблекли и стали серо-грязными. Впрочем, стены сохранились, но внутри все разбито прямым попаданием бомбы. Немецкий летчик бомбил ночью, под сильным зенитным обстрелом, и ему все равно было, куда бросать свой груз, лишь бы скорее уйти.

Машина быстро огибает площадь и сворачивает в Театральный проезд. Может быть, заехать сначала домой, в Большой Ржевский? Вот обрадуется Татьяна! Выбежит навстречу, замрет от радости: с неба свалился...

А вот и Большой театр. Бронзовые кони рвутся в стремительном полете. В сквере на скамейках сидят люди, а по дорожкам вокруг высоких клумб с поздними цветами бегают дети.

Ватутин вспомнил, как год назад, когда гитлеровцы танковыми ударами пробивались вперед по Волоколамскому шоссе, он ненадолго приехал в Москву. Го-

род эвакуировался. Поезда один за другим уходили на восток. В этом сквере было пустынно. Но, проходя мимо, он вдруг заметил двух садовников — пожилого мужчину и молодую женщину, которые сосредоточенно взрыхляли землю и пересаживали в клумбы цветы, не обращая никакого внимания на то, что делалось вокруг. И в этой работе, казалось уже никому не нужной, было столько достоинства и спокойствия, что он навсегда запомнил неизвестных ему людей, олицетворявших собой твердую веру народа в то, что город сдан не будет.

Ватутин обернулся. Позади него сидел адъютант Семенчук, молодой майор, чем-то неуловимо похожий на самого Ватутина: простое крестьянское лицо, широкие скулы; подражая своему начальнику, он даже говорить научился неторопливо и спокойно. Ватутина иногда забавляло это его стремление к солидности и обстоятельности. Но он уже привык к особенностям характера своего неизменного спутника по фронтовым дорогам и снисходительно относился к его слабостям.

— Ну, Семенчук, куда поедет? — спросил он.

— Домой, товарищ командующий, — помолчал, сказал Семенчук. — Отдохнете!.. Пообедаете!..

Ватутин взглянул на часы: в его распоряжении оставалось полчаса.

— Нет, Яков Владимирович, не поеду я сейчас домой, — сказал он и виновато пожал плечами. — Ты уж скажи Татьяне Романовне... пусть не сердится. — Он сунул руку в боковой карман и вытащил плитку шоколада: — А это отдай Лене, только пусть до обеда не ест. Понял?..

— Понял, товарищ командующий! — улыбнулся Семенчук. — Значит, к обеду вас не ждать?

— Нет-нет, — быстро ответил Ватутин, — обязательно подождите. Я думаю, больше двух часов меня не задержат.

— Куда же вы сейчас?

— А вот завези меня на Красную площадь, а дальше я уже сам дойду.

Ватутин вышел из машины у Исторического музея и остановился на краю тротуара. Здание музея казалось пустым. И пешеходов немного. Обогнув угол, он медленно пошел к Красной площади. Как-то странно было видеть огромную площадь, свидетельницу шум-

ных парадов и демонстраций, притихшей и опустевшей. Вот из-под арки Спасской башни выскочила машина, за ней другая. Промчавшись, скрылись на улице Куйбышева. И опять тихо.

Ватутин смотрел, как огромные стрелки часов на Спасской башне, подрагивая, приближались к четверем. У него было в запасе еще минут двадцать. Он мог стоять, смотреть, думать...

Вдруг он увидел, как рядом со Спасской башней отворилась дверь и на площадь вышла смена караула у Мавзолея. Два солдата шагали один в затылок другому, держа на плече винтовку. Рядом шел разводящий. Солдаты были почти одни на площади, но держали себя так, словно на них смотрел весь мир. В тишине гулко звучали удары кованых сапог о мостовую. Вот солдаты поравнялись с невысокой оградой. Неслышная команда четко повернула их налево. Вот они подошли вплотную к старым часовым, остановились, замерли. Взяли винтовку к ноге. В это мгновение часы на Спасской башне стали гулко отбивать время. Старые часовые сделали шаг вперед, навстречу друг другу, и на их место встала новая смена. Еще одна неслышная команда. Еще один поворот. Старая смена ловко вскидывает винтовки на плечо и, мерно отбивая шаг, во главе с разводящим направляется к Спасским воротам.

Ватутин знал о том, что тело Ленина увезено из Москвы. Но эта торжественная церемония у пустого Мавзолея показалась ему символической: придет время и Ленин вернется в свой вечный дом.

— Николай Федорович, здорово!

То, что этот оклик относится к нему, Ватутин понял не сразу. Он смотрел на площадь, провожая глазами удаляющийся караул, но мысли его были далеко. Однако перед ним стоял высокий человек в кожаном пальто и военной фуражке. На его тонком носу плотно сидели большие роговые очки, которые очень не шли к продолговатому бледному лицу.

— Ты что ж, Николай Федорович, старых друзей перестал узнавать,— сказал человек и протянул ему крепкую руку,— загордился, вижу, совсем!

— А! Антон Никанорович,— улыбнулся Ватутин.— Привет, привет!.. Давненько мы с тобой не виделись.

— Да, уж года три! С самого Киева...

— Где ж ты сейчас, все небось директорствуешь?

— Директорствую,— как-то устало и хмуро усмехнулся Антон Никанорович.— Ну а ты все командуешь?

Ватутин кивнул головой. Помолчали. Антон Никанорович неловко топтался на месте.

— А я теперь на Урале,— сказал он,— работаю по близкой тебе специальности — танки и самоходки делаю...

— Ах вот как! То-то у меня на фронте танков маловато!.. Это, оказывается, ты их делаешь?

Антон Никанорович вдруг взорвался:

— Ну это ты брось, Николай Федорович! Мало!.. Это у тебя на фронте, может быть, и мало... Я не знаю, сколько тебе дают. А у меня каждые пятнадцать минут с конвейера сходят хочешь — танк, хочешь — самоходка.

— А куда же ты их деваешь?

— Куда?! Ты об этом не у меня, а у Ставки спроси.

— Вот распалился,— примирительно сказал Ватутин.— Если дела у тебя так хороши — радоваться надо!

Директор мрачно взглянул на Ватутина из-под очков.

— «Радоваться»! — зло усмехнулся он.— Я работаю. Из шкуры лезу вон, а меня все греют. Мало!.. Мало!.. Мало!.. Давай быстрее!..

— Кто же тебя греет?

— Как кто? — удивился Антон Никанорович.— Государственный Комитет Обороны греет. Вызвали и всыпали выговор. А теперь иди по ветерку и думай... — Он сокрушенно помотал головой: — Лучше уж самому на фронт идти. Там, по крайней мере, или грудь в крестах или голова в кустах.

— Кресты на грудь ты, конечно, больше любишь,— улыбнулся Ватутин.— Попал бы ко мне на фронт, я бы из тебя человека сделал. Какое у тебя звание?

— Да вот сказали, дадут звание генерал-майора. Ты, говорят, начальник военного завода, должен иметь звание.

Ватутин насмешливо прищурил глаза:

— Ну, генерал-майора я бы тебе сразу не дал!.. Загордишься. К тебе и не подступиться будет.

— Генералом я еще не был, не знаю,— парировал удар Антон Никанорович,— а вот что касается танков —

могу сказать. Последний выпуск «тридцать четвертых» видел? Это мои танки. Гордиться есть чем.

— Да, танки хороши. А за что же тебя все-таки выговором наградили? А? — лукаво спросил Ватутин.

Антон Никанорович глубоко вздохнул.

— Требуют, чтобы я каждые десять минут по танку давал. А я пока не могу. У меня народ знаешь как работает. Днем и ночью! В холодных цехах. Ведь мы, можно сказать, на голом месте завод построили. Ну, прощай, Николай Федорович!.. Ты, я вижу, за назначением приехал?

— Почти угадал, — усмехнулся Ватутин.

— А у меня примета такая. Раз генерал без адъютанта гуляет, значит, одну должность сдал, а другую ему еще не подобрали.

— Верная примета, Антон Никанорович. Ого, опаздываю! — Ватутин пожал своему старому знакомому руку и быстро пошел через площадь.

Антон Никанорович посмотрел, как удаляется невысокая, плотная фигура Ватутина, постоял, а затем, глубоко засунув руки в карманы, пошел через площадь к гостинице «Москва».

...Через четверть часа Ватутин беседовал с Василевским, который подробно объяснял ему замысел новой операции.

По этому замыслу силы трех фронтов — Юго-Западного, Донского и Сталинградского — должны будут окружить группировку противника в районе Сталинграда, и не только окружить, но и уничтожить. Ставка поручает Ватутину новый, Юго-Западный фронт, занимающий участок от Клетской до Верхнего Мамона, протяжением в сто пятьдесят километров. Василевский предложил Ватутину продумать действия нового фронта и представить в Ставку свои соображения...

2

Незадолго до войны Ватутин получил в Кремле из рук Калинина орден Ленина. Он долго потом стоял у железной ограды перед дворцом и смотрел на Москву, хорошо видную отсюда, с вершины холма. Был морозный февральский вечер, и бесчисленные огни то собирались в причудливые грозды, то вновь рассыпались.

Это была какая-то веселая и безмолвная переключка, словно в большом океанском порту скопилось множество кораблей и, прежде чем разойтись, они обменивались сигналами.

А сейчас, когда Ватутин вышел из той же двери, из залитого светом подъезда, где, казалось, все было так же, как полтора года назад, — ковры, паркет, блестящий мрамор лестницы, — то сразу же утонул в темноте. Холодный ветер спутал полы шинели и, бросил ему в лицо горсть липкого снега.

Впереди угадывалась зубчатая кремлевская стена, а за ней громоздились очертания крыш и домов. Справа медленно ползли через темную громаду моста синие подслеповатые огни автомобильных фар. А в небе неподвижно стояли аэростаты заграждения, казавшиеся темными сгустками тьмы.

Машина выехала через Боровицкие ворота и устремилась на улицу Фрунзе. Да, Татьяна, наверно, заждалась. Он пробыл в Кремле гораздо больше, чем предполагал. Признаться, когда он ехал в Москву, то не представлял себе всего размаха предстоящей ему работы.

Ватутин пытался заставить себя думать о самых разных вещах, стараясь подавить волнение и войти в привычное состояние уравновешенности. И вдруг вспомнил, что, уезжая с Воронежского фронта, забыл передать, чтобы в 38-ю армию направили боеприпасы. Ну, теперь это сделают и без него. А план нового удара на Коротояк! Придется позвонить по ВЧ... Но о чем бы он ни думал, мысли его неминуемо возвращались к одному и тому же, к разговору, который был с ним в Кремле. Он идет навстречу огромным и пока еще неизвестным событиям...

Луч прожектора медленно шарил по небу. Вот он легко коснулся аэростата, и тот вспыхнул ярким серебряным светом. Машина свернула на Арбатскую площадь и остановилась у светофора.

Ватутин видел тени людей, спешивших к метро. Вот он проковыляла старуха с сумкой, какой-то молодой человек и девушка прошмыгнули у самых фар и, весело о чем-то говоря, исчезли из виду.

Наконец перекресток очистился, и вот уже замелькали силуэты знакомых домов на улице Воровского. Еще несколько минут, и он увидит свой подъезд.

Услышав шорох шагов в прихожей, Татьяна выглянула из кухни. На ее круглом лице возникло бабье, плачуще-радостное выражение. Она с размаху, забыв положить скалку, которой раскатывала тесто, бросилась ему на шею.

— Коленька!

— Бить будешь? — спросил, улыбаясь, Ватутин, обнимая ее и целуя. — Наконец-то добрался...

— Боже ты мой! — сказала Татьяна, продолжая обнимать его. — Замучилась я совсем! На дорогах бомбят, а тебя все нет и нет...

— Да разве быстро доберешься! — досадливо сказал Ватутин, снимая шинель, и привычным движением, не глядя, повесил ее на вешалку. — Все время останавливали: «Товарищ командующий, помогите эшелон протолкнуть...», «Товарищ командующий, куда снаряды везти?» Пока до Липецка добрался, больше суток потерял. Вот Семенчука спроси, все время крутились.

— О причинах задержки в пути Татьяне Романовне все уже доложено! — Семенчук стоял в глубине коридора, поскрипывая сияющими сапогами, и улыбался.

— А Лена где? — спросил Ватутин, заглядывая через плечо Татьяны в приоткрытую дверь, за которой виднелся стол с беспорядочной кучей книг, словно высыпанных на него из мешка.

— В школе! Ходит во вторую смену. — Татьяна, вспомнив о том, что продолжает еще держать скалку, метнулась на кухню. — Я сейчас... сейчас!.. Обед уже готов.

Ватутин торопливо прошел по короткому коридору и распахнул дверь в комнату детей.

Вот она — эта кровать, застланная серым ворсистым одеялом; подушка в белой наволочке лежит ровненько. Как дорого бы он сейчас дал, чтобы не видеть этой отрешенной аккуратности!

— Татьяна! — Он выглянул в коридор. — От Вити есть письма?..

— Посмотри на этажерке!

Легко сказать — посмотри на этажерке. Да разве в этой грудке старых тетрадей и порванных учебников что-нибудь найдешь! Случайно раскрыл одну из тетрадей, увидел жирную двойку, написанную красным ка-

рандашом, и в сердцах захлопнул. Нет, девица, видно, отбивается от рук. С ней придется серьезно поговорить.

Как всегда удачливый, Семенчук острым взглядом прощупал все закоулки этажерки и первым заметил на верхней полке, под пустой фаянсовой вазой для цветов, синеватый конверт.

Ватутин вынул из конверта вчетверо сложенный листок, исписанный детскими каракулями, и долго вчитывался в слова, с трудом их разбирая. Виктор писал из лесной школы, что уже начал ходить без костылей, но воспитательница Мария Гавриловна не разрешает ему долго играть с ребятами.

У мальчика туберкулез ног. А началось все с обычной простуды. Всегда, когда Ватутин думал о Викторе, его не покидало ощущение вины, словно в чем-то он не до конца исполнил свой отцовский долг.

— Такие-то вот дела, Семенчук! — проговорил он, вкладывая письмо в конверт. — Наука-то наша во многом еще мало разбирается, — и пальцем тихонько подозвал его к себе. — На сколько приехали, спрашивала?

— Интересовалась.

— А ты что ответил?

Руки Семенчука сделали округлое движение, словно он пальцами ощупывал шар.

— Сказал, что по усмотрению командования.

Ватутин кашлянул. Его всегда удивляла в Семенчуке хватка профессионального адъютанта, вот уж не скажет лишнего слова.

— Поедем на рассвете! Пока молчи, а то опять попадет.

Лицо Семенчука мгновенно приняло бесстрастное выражение. Может быть, у него в Москве были какие-то свои, личные дела, и он рассчитывал на несколько дней, но тут же привычно подчинился обстоятельствам.

— Если тебе нужно, иди, — сказал Ватутин, угадав, что Семенчук из деликатности о чем-то умалчивает, — и забирай машину...

— К каким часам приехать? — деловито спросил Семенчук.

— В шесть ноль-ноль — у подъезда!

У всех свои дела. Татьяна Романовна не стала его удерживать. Через минуту Семенчук, стремительно накинув шинель, уже сбегал по ступенькам лестницы.

— Ну, Татьяна,— сказал Ватутин, входя в кухню,— ты что-то мне редко писать стала!

— Да и ты не очень часто пишешь,— улыбнулась она.— Где будем обедать? В столовой?

— Сядем здесь! — Ватутин примостился к небольшому кухонному столику, покрытому старой рыжеватой клеенкой в подпалинах от горячего чайника.— Давненько домашней лапши не ел.— Он втянул носом запах супа.— Как же быть с Витькой? — спросил он, следя за тем, как Татьяна разливает лапшу по тарелкам.

— Нарезь хлеба! — сказала Татьяна.

Ватутин нагнулся к столику, раскрыл дверцы, достал большую белую кастрюлю, в которой хранился хлеб, плотно прикрытый крышкой, чтобы не высыхал, и, взяв с полки кухонный нож, стал нарезать аккуратные ломтики.

Татьяна поставила перед ним тарелку и присела напротив, подперев щеки полными руками.

— А ты? — спросил Ватутин.

— Ешь, ешь,— сказала Татьяна.— А рюмочку налить?

— И рюмочку!..

Она поставила перед собой тарелку и налила по рюмочке из бутылки, которую принесла из столовой, и они выпили, чокнувшись как полагается, а Ватутин, хлебнув лапши, блаженно улыбнулся.

А потом постепенно завязался разговор о Викторе, о Ленке, которая хоть и старается, но в школе у нее не все ладится, о стариках, которые застряли в деревне Чепухино, у немцев, и судьба их до сих пор неизвестна...

Семейные дела! Во фронтовых заботах они временами отходят словно в небытие, и все же вплавлены в его жизнь: отними у него эти заботы — что станет с его душой?

— Что же будет, Коля? — спросила Татьяна.— Так и будем отступать? — И она взглянула на него с затаенной тревогой.— Может быть, забрать Ленку и уехать к Вите? Там все же подальше...

Вот он, проклятый вопрос. Он не может от него уйти даже дома, даже в своей семье. Как ей ответить? Еще час назад, склонясь над картой, он вместе с другими генералами искал ответа на этот вопрос для всей страны.

Татьяне нет дела до стратегических замыслов, ее не

интересует, сколько солдат, танков и самолетов в его подчинении, ей совершенно неважно знать, какой генерал назначен командовать армией, а какой смещен за неспособность, ее беспокоит только одно — что будет с ее семьей, с ее мужем, с ее детьми, с ней самой, наконец.

Ватутин потупил взгляд.

— Я думаю, тебе не следует уезжать из Москвы,— проговорил он.

— Ты меня не утешай,— сказала Татьяна,— лучше скажи прямо! — Она протянула руку и дотронулась до его руки.— Коленька, возьми меня с собой!.. И Ленку тоже. Лучше, если мы будем все вместе...

— Нет,— проговорил Ватутин,— сейчас нельзя вам на фронт! Погоди...

— Что же будет?! Что будет?! — Татьяна отодвинула от себя тарелку и поднялась.— Ты все от меня скрываешь!.. Все!..

— А что я могу тебе сказать? Как повернется война?.. Есть еще надежда, Татьяна!..

— Да не о том я тебя спрашиваю! У тебя, наверно, какие-нибудь неприятности?

— Нет! Большое доверие оказали. Если наше дело получится, изменится все!.. Все!.. — повторил он, устремив скованный взгляд в угол, мимо Татьяны.

Поняв, что большего от него не добьется, она виновато улыбнулась.

— Значит, оставаться здесь? — спросила только для того, чтобы по-женски подчиниться его воле.

— Оставайся! — коротко сказал он.— А еще тарелочку нальешь?!

Она живо поднялась, поправила сбившуюся прядь, и Ватутин подумал, что косы у той девушки, с которой он когда-то сидел на берегу беспокойно петляющей Чепухинки, были гуще. Сколько же минуло лет? Почти двадцать. С декабря ему пошел уже сорок второй. Он еще полон сил. Привык к бессонным ночам, к непрерывному преодолению подчас внезапных, как ловушка, трудностей.

Когда-то, под Воронежем, когда он только что впервые принял фронт, гитлеровцы стали разбрасывать листовки, называя его штабным генералом, и пророчили поражение войскам, которыми он командует.

Может быть, именно в дни сражений на Среднем

Дону к нему пришла зрелость. Одно дело отдавать приказ: «Ни шагу назад», другое — суметь внушить войскам веру в победу. А для того нужно не только уметь всегда трезво оценить обстановку, но и навязать сильному противнику свою волю.

— О чем ты все думаешь? — спросила Татьяна.

Он улыбнулся:

— Борюсь!.. Есть такой генерал Вейхс. Он сейчас командует немецкой группировкой. Так вот он не дает мне покоя... Никогда его в глаза не видел, а все время о нем думаю.

— Хитрый он, наверно...

— Не без этого. Как бы тебе так объяснить... Он думает, что со Сталинградом уже покончено, что теперь дело за Москвой и Кавказом. А мы с ним не согласны. Мы думаем по-другому.

— Как?

— Как?! — Он усмехнулся. — Объяснил бы тебе, Танечка, но какой из тебя стратег! Ты даже с одной Леной и то управиться не можешь.

Она засмеялась:

— Давай меняться заботами.

Боже! Как хорошо все-таки приехать домой, так бы и просидел всю ночь на этой вот кухоньке. Пора бы, наконец, и Лене возвратиться. Хватит ей там прыгать!..

Звонок!.. Телефон!.. Его взгляд напряженно уставился в одну точку.

Татьяна быстро поднялась, вышла из кухни и тут же вернулась.

— Тебя к телефону, — тревожно сказала она и замерла на пороге, пропустив его мимо себя.

— Ватутин слушает! — донесся из глубины квартиры его окрепший голос. — Хорошо! Хорошо!.. Слушаю!.. Сейчас приеду. Только попрошу выслать машину. — Короткое молчание, очевидно опустив на рычаг трубку, думал. — Татьяна! Быстрее сюда!..

Она мигом оказалась на пороге спальни:

— Что, Коленка?..

— Товарищ Сталин вызывает!.. Где новый китель?

— В шкафу!

Он стремительно распахнул шкаф. Вынул тщательно расправленный на плечиках новый китель и придирчиво осмотрел.

— Подглядь! Смотри, грудь измялась!..

Приняв китель, она продолжала стоять в дверях.

— А сапожная мазь есть? — спросил он, вытаскивая из книжного ящика шкафа сапоги с твердыми голенищами.

— Есть! — сдавленным голосом проговорила она.

— Ну что ты стоишь?

— Коленка, а зачем тебя вызывают?

— Успокойся!.. Будем докладывать план. Да торопись, через пятнадцать минут за мной приедут.

Она исчезла, а он, как в юношеские годы, когда, бывало, его вызывал к себе начальник военной школы, стал до блеска надраивать щеткой и без того сияющие новым хромом сапоги.

Через пятнадцать минут он уже стоял у подъезда, невысокий, начальственно замкнутый, привычно подавляя волнение...

Домой он вернулся поздно ночью, когда Лена уже спала, а рано утром, поцеловав ее, спящую, в лоб, спустился по лестнице в сопровождении Семенчука, который нес за ним портфель с бумагами.

Татьяна, накинув на плечи пальто, вышла проводить.

Он поцеловал ее коротко, застенчиво, стесняясь Семенчука и шофера.

— Следи за Леной! — строго сказал он. — А Виктору я напишу с фронта.

Машина свернула на улицу Воровского и исчезла за выступом дома...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Пока вездеход со скоростью торопящихся волов нырял по ухабам раскисшей дороги, Ватутин хмуро оглядывал необозримые степи, расстилавшиеся вокруг, и представлял себе, как будет сложно организовать за каких-нибудь три недели все то, что приказано ему Ставкой. На пути ему попало несколько застрявших в разъезженных колеях грузовиков. Одни из них, нещадно газуя, тщетно пытались вырваться из тяжелой, густой грязи, других безнадежно засосало в топь на полколеса.

Всю дорогу от аэродрома до Филонова, где формировался штаб фронта, Ватутин молчал, ничем не выдавая своего отношения к тому, что видит, и только Семенчук, сидевший сзади, тихо чертыхался, когда машину встряхивало особенно сильно. Он полагал, что за шумом мотора командующий его не слышит.

Уже стало смеркаться, когда машины подъехали к небольшому домику на дальнем краю пристанционного поселка.

Отсюда, с дороги, виднелись вагоны на железнодорожных путях, разрушенная водоканализационная станция, каменный остов сожженного служебного здания.

Завидев незнакомого генерала, часовой что-то крикнул в приоткрытую дверь. И через несколько мгновений по ступенькам деревянного крыльца сбегал молодой высокий генерал-майор. Широко и твердо ступая, он быстро пошел навстречу Ватутину, храня на своем лице напряженно-приветливое выражение.

— Генерал-майор Иванов! Здравия желаю, товарищ командующий! С прибытием! — громко, по-строевому представился он.

— Да уж с прибытием, — покачал головой Ватутин, — чуть не утонули на этой проклятой дороге. — Он взглянул на приземистые дома по сторонам улицы: — Значит, это и есть штаб?

— Так точно, товарищ командующий! Квартира вам уже приготовлена!

Комната, куда Иванов ввел Ватутина, была почти пуста. Только по углам стояли раздвижные фанерные столы на тонких ножках — обычное походное штабное имущество, основное достоинство которого легкость и портативность.

Командиры, сидевшие за столами, встали, и Ватутин, поздоровавшись с ними, прошел в следующую комнату, которая отделялась от первой тонкой фанерной перегородкой. Здесь тоже не было ничего, кроме самого необходимого: у окна стоял легкий походный стол; большую часть его занимала карта. В углу притулился покрытый сургучными потеками большой железный ящик.

Не снимая шинели, Ватутин присел на табурет около стола, положил фуражку на подоконник, а Иванов остановился напротив, у стены, с интересом и не-

вольной настороженностью рассматривая нового командующего.

Этот невысокий, плотный человек с широкими скулами и устало прищуренными, узкими глазами казался ему замкнутым и хмурым, может быть, даже чем-то недовольным.

С чего он начнет разговор? Начнет расспрашивать о делах или с ходу обрушится на какие-нибудь неурядицы, которые, наверно, уже заметил по пути...

— Бобырев приехал? — спросил Ватутин, усталым движением потирая лоб.

— Нет, товарищ командующий! Прислал сообщение, что прибудет через два дня.

— Так! Так!.. — вздохнул Ватутин. — Сюда дьявольски трудно добраться! Чайком, что ли, угостили бы, — улыбнулся он. — С утра еду и еду, все докладывают, а «товарищ командующий» от голода едва на ногах держится.

Иванов приоткрыл дверь и тихо отдал приказание.

Ватутин встал, скинул шинель и повесил ее на гвоздь у притолоки. На том же гвозде пристроил свою новую, с туго натянутым верхом фуражку и повернулся к Иванову с видом человека, который, приехав, уже никуда не торопится.

Теперь Иванов мог лучше разглядеть командующего. У него не было той осанки, которая берется невесть откуда у некоторых людей, как только они достигают высокого положения. Не спеша достал из кармана гребенку, домовито причесался и снова подсел к столу, с которого уже была убрана карта. Вместо нее появились стаканы, большой дымящийся чайник и тарелки с закуской.

— Ну, товарищ Иванов, присаживайтесь, поговорим о жизни! — Ватутин сжал ладонями горячий стакан чая, зябко повел плечами и откинулся к спинке стула, наслаждаясь теплом и покоем. — Жарко, даже в сон бросает! Натопили! Как в Сандуновских банях!..

Они сидели за столом уже добрых полчаса, а Ватутин и не думал переходить к делу. Он расспрашивал Иванова, откуда тот родом, где воевал, на каких фронтах и под чьим начальством. Иванов рассказывал, называл имена своих командиров и товарищей, а Ватутин слушал, чуть приподняв брови и покачивая головой. Он знал почти всех, о ком говорил Иванов. С одним

он встречался на маневрах, с другим учился в академии, с третьим работал в штабе, с четвертым сталкивался на фронтах... Как велика и как тесна земля!..

Ватутину были приятны эти воспоминания. Они уводили его то в давно минувшие годы, то вдруг заставляли касаться совсем недавних событий. И так было хорошо сидеть в этой жарко натопленной и ярко освещенной комнате и знать, что никуда больше ехать уже не нужно.

Ватутин отодвинул стакан, встал, подошел к окну и приоткрыл занавеску. К стеклу прижалась плотная тьма — ни огонька. «Ну и глухомань, — подумал он. — Трудно, трудно здесь будет...»

Вдруг где-то вдалеке вспыхнул острый луч прожектора, оцупал небо, а затем так же неожиданно упал в темноту и погас.

— Товарищ командующий, все готово!

Ватутин оглянулся. Иванов отодвинул чайник, тарелки и раскладывал на столе карту. Ватутин сразу отметил, что велась она с профессиональной точностью и обстоятельностью.

Он нагнулся над картой и долго рассматривал бесчисленные знаки, флажки, линии, цифры, они оживали под его взглядом и складывались в систему, в которой были свои удачи и просчеты, сила и слабость. Во всем этом еще предстоит разобраться, понять, воображением проникнуть в замыслы противника, который тоже, черт побери, думает, хитрит, выискивает слабые места в обороне.

— Где она хранится? — спросил он, бросив на Иванова внимательный взгляд.

— У меня лично, — ответил Иванов, — под замком...

Ему показалось, что именно сейчас и начнется тот откровенный разговор, во время которого решится многое и, может быть, его личная судьба. Останется ли он работать с Ватутиным или после приезда нового начальника штаба Бобырева будет отчислен в резерв? Но ни по лицу, ни по голосу командующего ничего нельзя было угадать. Ватутин стал неутомимо и требовательно расспрашивать о самых разных вещах — о том, сколько и каких частей пришло, куда они направлены, как обстоит дело с переправами через Дон, как дела на плацдарме у Клетской. «Дрянненький плацдарм», — обронил он. И эти мимоходом брошенные слова объяс-

нили Иванову не меньше, чем если бы Ватутин стал подробно объяснять замысел Ставки. «Будем наступать», — подумал Иванов, и сразу все то, что он делал, проклиная свое сидение на этом полустанке, наполнилось новым, большим содержанием.

Иванов стал уже по-иному, с увлечением, докладывать Ватутину о составе создающейся в этом районе группировки, невольно исходя из замысла, о котором он еще толком не знал, но сущность которого так неожиданно приоткрылась ему.

Ватутин слушал и хитро поглядывал на Иванова; его взгляд как бы говорил: «Не старайся, не старайся, все равно ничего не скажу».

Ватутин позвонил по ВЧ Еременко:

— Как в Сталинграде?

— Положение тяжелое. Гитлеровцы в полукилометре от командного пункта. Будем держаться, — ответил Еременко, — но если можно, поторопись.

Ватутин положил трубку и нахмурился.

— Товарищ Иванов! Я должен быть в войсках, на месте. А вы как можно быстрее берите в руки управление. У нас совсем мало времени. — Он замолчал, сдвинул брови и покусывая нижнюю губу.

В середине дня Ватутин был уже в районе Клетской. По дороге заехал в штаб армии Коробова, немного обогрелся, отдохнул. Затем вместе с командармом и начальником артиллерии фронта генералом Грачевым, которого он взял с собой, выезжая из Филонова, поехал в дивизию Чураева, занимавшую рубежи по южному берегу Дона.

Участок, на котором располагалась эта дивизия, и прилегающие к нему участки соседних соединений были наиболее выгодными плацдармами для нанесения главного удара.

Против наших частей здесь оборонялись итальянские и румынские дивизии. Большинство солдат в них насильно мобилизовано фашистами, а потому, естественно, войска эти были менее стойкими и упорными в бою. Кроме того, отсюда открывался самый короткий путь к Калачу.

Над этим много раздумывал Ватутин. Но для того чтобы принять окончательное решение, он должен был все увидеть своими глазами, взвесить, что называется, на ладони...

День выдался на редкость холодный. С низких туч падал не то дождь, не то снег. Колеса машин вязли в липкой грязи. Впереди шла машина Ватутина. За ней, фырча и разгоняя в обе стороны волны грязи, двигались еще два вездехода. В одном ехал командующий артиллерией фронта генерал Грачев с офицерами оперативного отдела, в другом — автоматчики охраны.

Генерал-лейтенант Коробов, уже немолодой, несколько тучноватый человек, сидел позади Ватутина, чуть наклонившись вперед, чтобы удобнее было разговаривать с командующим. Ветер сек ему лицо, Коробов морщился и тяжело дышал открытым ртом. Холмы сменялись оврагами, под колесами вездехода пенистыми бурунчиками взвихрялись узкие безымянные речки, а затем опять до бесконечности повторялось одно и то же — овраги, речки, холмы. Изредка мелькали деревни, покинутые жителями. Приказ Ставки о выселении из прифронтовой полосы уже был выполнен.

— Смотрите, сирота остался, — сказал Ватутин, указывая рукой на плетень, окружавший небольшую выбеленную и еще не успевшую потемнеть от дождей хатку.

Коробов посмотрел в ту сторону и улыбнулся.

На плетне сидел большой красногрудый петух и, кося черным круглым глазом, смотрел на приближающуюся машину. Когда машина подошла совсем близко, он встрепенулся, захлопал крыльями, прыгнул с плетня и быстро побежал между грядками куда-то в глубь двора.

— Петух-партизан, — сказал Коробов, и в машине засмеялись.

Ватутин и раньше встречался с Коробовым, но это были случайные встречи — на маневрах или где-нибудь на совещаниях. Были годы, когда Коробов занимал более высокие посты, чем Ватутин. Однако работать вместе им никогда еще не приходилось.

Ватутин знал, что Коробов человек умный и опытный. Когда в Ставке решался вопрос, кого назначить командующим армией, которая должна будет действовать на главном направлении, имя Коробова ни у кого не вызывало сомнения. Этот человек справится.

Сейчас Коробов оказался в подчинении у Ватутина, но Ватутин отдавал себе отчет в том, что за плечами у Коробова не меньше боевого опыта, чем у него самого, а уж если говорить о командном стаже, то стаж этот наверняка больше. Поэтому с первых же минут встречи в штабе армии Ватутин заговорил с командармом просто, по-товарищески, с доверием к опыту и с уважением к годам.

Коробов быстро угадал желание Ватутина сойтись с ним поближе и охотно пошел ему навстречу. Правда, многое в новом командующем было ему еще не ясно. Коробов терпеть не мог сухости, чиновничьей педантичности, мелочной придирчивости и на всякое новое начальство смотрел с некоторым опасением: не проступят ли ненароком признаки этих неприятных болезней. Одно дело — аккуратность, точность и требовательность, совсем другое — административный восторг, неумное стремление к выполнению каждой буквы инструкции.

Он часто вспоминал одного начальника склада на станции Сиверская, под Ленинградом. Когда гитлеровцы прорвались со стороны Луги, этот начальник решил сжечь склад, так как вывезти его уже было невозможно. А в складе лежали новые кожаные регланы, сапоги, командирское обмундирование. Летчики с соседнего аэродрома, узнав, что все добро должно с минуты на минуту уничтожить, прибежали к начальнику склада и стали просить переменить им старое обмундирование на новое, выдать сапоги и регланы. Но начальник категорически отказал. «Не могу, товарищи. Как хотите, не могу. Срок носки у вас еще не вышел. Раздам новое обмундирование, а меня обвинят в разбазаривании государственного имущества. Нет, нет, и не просите, буду действовать согласно приказу. Сожгу и составлю акт». И он сжег склад, полный добра, составил акт и был горд тем, что имущество не досталось противнику. Когда Коробов узнал об этом подвиге чиновничьего усердия, он живо прогнал исполнительного интенданта из армейских тылов на передовую — пусть поживет вместе с солдатами, может быть, наберется ума.

За обедом в штабе армии Коробов к слову рассказал об этой истории Ватутину. Результат был неожиданный. Ватутин невесело усмехнулся.

— А вы, Михаил Иванович, оказывается, либе-

рал, — сказал он хмуро. — Я бы на вашем месте в штрафбат его отправил.

«Так-с», — подумал Коробов, и настроение у него заметно улучшилось.

3

Они въехали в опустевшую станицу, раскинувшуюся вдоль дороги, которая вела к дивизии Чураева. Стоявшие далеко друг от друга сады и хатки взбегали по склону невысокого холма. По другую сторону его — там, куда вела дорога, блестела река — один из бесчисленных притоков Дона.

Машины поднялись на холм, стало видно, что вдоль дороги, теснясь поближе к переправе, собралось много грузовиков, доверху нагруженных ящиками, а шоферы столпились у первой машины, тесным кольцом окружив какого-то человека в черном пальто; один из всех он был одет в гражданское.

Ватутин повернулся к Коробову, который, приподнявшись с места, пристально смотрел на дорогу. Лицо командарма выражало недоумение и досаду.

— Что за базар? — спросил Ватутин.

Коробов негромко выругался.

— Бестолковщина, — сказал он сквозь зубы. — Обком партии по нашей просьбе оставил здесь на несколько дней бригаду плотников — мост укрепить, чтобы тяжелая техника могла пройти. Да вот, видите, случилось что-то.

— А вы своего человека сюда послали?

— Как же! Капитана Арсеньева. Опытного мостовика.

Вездеход подошел к грузовикам. Теперь Ватутин разглядел человека в черном пальто. Невысокий, рыжебородый, он независимо смотрел на Ватутина, видимо чувствуя себя в своем гражданском пальто как за надежной броней.

Коробов крикнул:

— Товарищ Арсеньев! Подойдите-ка сюда!..

От толпы отделился невысокий капитан со смуглым живым лицом.

— Слушаю, товарищ командующий! Здравствуйте...

— Здравствуйте, товарищ Арсеньев! Что здесь происходит?

— С мостом неладно, товарищ командующий!

— Разве его не починили?

— Починили, товарищ командующий! А часа полтора тому назад «юнкерс» сбросил несколько бомб и опять развалил.

— Так надо скорей восстановить!

Арсеньев развел руками.

— Да вот тут председатель сельсовета — он плотниками командует — возражает. Требуется, чтобы мы сюда теперь своих людей прислали. А сам хочет уходить. И работников своих уводит.

— А много там работы?

Арсеньев замаялся:

— Ну, этой бригаде, пожалуй, возни на день хватит!

— Это они по хатам стоят? — спросил Ватутин. Он заметил, что трубы нескольких хат дымятся.

Арсеньев оглянулся:

— Они, товарищ генерал... Уж лучше бы мы своих людей сюда прислали, чем с гражданскими связываться. Я уже позвонил в штаб...

Чутьем бывалого военного Арсеньев понял, что раз командующий армией сидит позади, то генерал, занявший место рядом с шофером, наверняка еще более высокий чин. Но своего генерала он знал, а этого видел впервые.

Ватутин быстро подтвердил все его догадки.

— Попросите-ка сюда председателя сельсовета, товарищ капитан, — сказал он, выходя из машины; из второй машины уже вылезал Грачев: раз уж остановка, то он должен быть поближе к командованию. Но Ватутин махнул ему рукой: «Сидите». Грачев как-то по-стариковски покорно тряхнул головой и снова опустился на сиденье.

В это время Арсеньев быстро подошел к человеку в черном пальто и что-то сказал ему. Тот не спеша направился к Ватутину, но, не дойдя до него, остановился, выжидательно поглядывая на генералов.

— Вы председатель сельсовета? — спросил Ватутин. Человек ему не очень понравился, и он уже приготовился учинить ему крепкий разнос.

— Я председатель, — ответил человек и с достоинством пригладил растрепанную ветром рыжую бороду.

— Почему не хотите восстанавливать мост?

— А мы уже свою работу сделали, товарищ начальник! Он тут каждый день летает, так нам тут и сидеть? — сказал председатель, подразумевая под прерительным «он» немецкие самолеты.

— Так, — усмехнулся Ватутин. — Это ваше личное решение или всей бригады?

— Мое решение! Я тут председатель. Мне отвечать, мне, стало быть, и соображать.

— Значит, решение единоличное, — с раздражением сказал Ватутин. — Какая же вы Советская власть, если вы единолично решения принимаете?

— А у меня весь сельсовет ушел. Я один тут остался.

— Как один? А плотники?

— И у плотников можете спросить, они то же скажут. Не можем мы здесь больше оставаться!..

— Как ваша фамилия? — спросил Ватутин.

— Михеев Степан Сидорович.

— А я командующий фронтом Ватутин. Вы, товарищ Михеев, член партии? Вам обком это дело поручил?

— Да, я партийный, товарищ генерал. Уже двадцать лет партийный, — в сердцах ответил Михеев. — Мой сельсовет всегда первый не то что в районе, а во всей области. А что касается моста, вы своих людей сюда пришлите. У нас семьи под Саратов ушли. Одни бабы да дети. Догонять мы их должны. Сыновья-то наши у вас теперь, в армии. А тут одни старики остались да калеки. Не могу я их больше задерживать!.. Нам двести верст пешком шагать!..

— А ну позовите казаков сюда, — сказал Ватутин, с невольным уважением глядя на этого ершистого председателя.

— Сейчас позову, — с готовностью ответил Михеев и торопливо зашагал к ближайшей хате.

Он взбежал на крыльцо, что-то крикнул в приоткрытую дверь, рысцей пересек улицу, постучал в раму окна, и тотчас же на дорогу стали выходить люди.

Ватутин переглянулся с Коробовым. Да, Михеев говорил правду. Это действительно были старики. Самому молодому, наверное, не меньше пятидесяти пяти лет. Одни держали в руках лопаты, у других за поясом заткнуты топоры. Большинство было в стеганых

ватниках. Люди сильно устали — потемневшие сизые лица, понурые плечи...

— Тут все? — спросил Ватутин.

— Точно так, — ответил Михеев, шагнув вперед. — Вот и вся моя команда, товарищ начальник. Народу не так чтоб много, а если на года посчитать, так лет ей тысячи полторы с гаком.

Он сказал это весело, но никто не улыбнулся.

Ватутин подошел к казакам поближе.

— Ну что, отцы, замучились? — спросил он, поворачиваясь к старику с кустистой седой бороденкой, стоявшему к нему поближе. Казак невозмутимо сворачивал самокрутку. За поясом у него торчал большой топор. — Как ты теперь, старик, до своих добираться будешь?

— Своим паром, товарищ генерал, — спокойно ответил старик. — Построю наших орлов в походную колонну — и айда!

— Ты, я вижу, старый солдат!

— Да еще в гражданскую воевал.

Ватутин помолчал, поглядывая на стоявших перед ним людей. Казаки, в свою очередь, глядели на него с любопытством и с затаенным вниманием, как бы стараясь понять, чего можно ожидать от этого генерала: говорит как будто и приветливо, а что у него на уме — неизвестно.

— Спасибо вам, товарищи, за то, что починили мост, — сказал Ватутин.

— А за что спасибо, — отозвался высокий, худой старик с лопатой на плече — он держал ее, как винтовку, — был мост, а теперь дырка.

— Ну, это уж не по вашей вине. А вы сделали, что могли. Можно и по домам!

— По домам! — засмеялся рябоватый казак, у которого старая солдатская шапка была лихо сдвинута на левое ухо. — Вот мой дом — рядом! Хоть сейчас на печь залезай!..

К Ватутину придвинулся старик с лопатой:

— Товарищ начальник, может, разрешите нам отсюда не уходить! Разорение нам, и только! Всему колхозу разорение на Саратов идти!..

— Нет, нет, товарищи, — строго сказал Ватутин. — Надо уходить отсюда. Нельзя вам здесь оставаться. Ведь фронт же рядом.

На него вдруг надвинулся из задних рядов невысокий седой казак, очевидно, самый старый и самый почтенный из всех. И по тому, как он шел, тяжело ступая по грязи большими, не раз чиненными сапогами, нахмутив густые, выющиеся в разные стороны брови, Ватутин понял, что он не зря прокладывал себе дорогу вперед.

Кто-то потянул старика за рукав:

— Степаныч, куда ты?

Старик молча рванул рукав и подошел вплотную к Ватутину.

— Значит, немца и сюдапустишь, начальник,— произнес он хриплым, простуженным голосом.— Заранее себе отступление готовишь. А нам тебе мост строить, чтобы легче убежать было? Пол-России немцу отдали. А теперь и мне, старику, куда глаза глядят из дому уходить!..

Наступила тишина. Ватутин смотрел на простые бородатые крестьянские лица. Таким же, как этот сердитый старик, был и его собственный дед. И его отец ходил в таких же порыжевших сапогах. Люди, стоявшие перед ним, думают, что если он генерал, то он какой-то особенный. А у него самого не так уж далеко отсюда, в деревне Чепухино, занятой гитлеровцами, остались старуха мать и родные сестры. И кто знает, какова будет их судьба, если враг дознается, кем им приходится генерал Ватутин.

— Нет, отцы,— сказал Ватутин,— не бывать здесь врагу. Не придет он сюда. Не пустим!

— А зачем же нам тогда уходить? — крикнул казак, кутивший самокрутку.— Зачем нам хаты свои бросать?.. Землю нашу?..

Ватутин помедлил. Сказать всего он не мог, но понимал, что народ ждет от него ответа, который был бы убедителен и правдив.

— Видели вы, наверно,— сказал он,— что по этой дороге идут войска. Танки, пехота, артиллерия?.. Видели или нет?

— Видели,— раздались голоса.

— Много войск?

— Да, гремят каждую ночь,— сказал дед с лопатой. Лопату он теперь воткнул в землю и опирался на нее всей тяжестью своего старого, но крепкого тела.

— А зачем войска идут, догадываетесь?

Казак заулыбался. Ватутин почувствовал, что настроение их меняется, но сердитый старик опять испортил все дело.

— А солдаты всю войну идут— сначала туда, а потом отсюда,— сказал он хриплым голосом.

Ватутин невольно посмотрел на него с досадой:

— Ты, отец, зря в народе веру подрываешь...

Старик хмуро промолчал, а рыжебородый председатель подошел к Ватутину и сказал доверительно:

— У Петра Степаныча сына убили... Да и сам он дважды кулаками раненный... Обидно человеку!..

Ватутин подошел к старику и положил ему на плечо руку.

— Одно могу тебе сказать, Петр Степаныч, не будет врага в этой деревне. И когда вернешься сюда, хата твоя будет цела...

На дороге показались два грузовика. На первом ехали бойцы, на втором громоздились какие-то бревна и доски. Доехав до колонны машин, они остановились. Капитан Арсеньев, радуясь, что все у него так складно и хорошо получилось, доложил, что можно приступить к работе.

— Сколько вам потребуется времени? — спросил Коробов.

— Да примерно часа через полтора все будет в порядке.

— Давайте, давайте быстрее.

Ватутин обернулся:

— Одну минутку, товарищ Арсеньев. Ведь машины обратно пойдут пустыми?

— Да, товарищ генерал!

— Посадите казаков и подвезите, куда им надо! Только смотрите: накормите их как следует!..

— Слушаюсь!

Арсеньев пошел к машинам. Через минуту, обогнув по обочине колонну, они скрылись за поворотом дороги.

— Ну, отцы, до свидания,— сказал Ватутин.— Идите пока по хатам! Грейтесь! Вас тут не забудут...

Но старики топтались на месте и не расходились. Они смотрели на Михеева, который в раздумье почесывал бороду.

Вдруг Петр Степаныч решительно положил лопату на плечо.

— Ты, начальник, нас в хату не гони,— сказал он сердито,— мы сами туда дорогу найдем... Пойдем, соседи, подсобим, что ли, ребятам,— обратился к казакам.— Все быстрее дело пойдет. Так, что ли, Сидорыч?

Михеев на мгновение задумался. Голова его склонилась набок, один глаз совсем скрылся под морщинастым веком.

— Что ж, можно,— сказал он негромко,— при наличии машинного транспорта и здесь успеем, и своих нагоним...

В руках у него откуда-то появился топор. Он решительно взмахнул им и крикнул:

— А ну, товарищи, за мной!..

И быстро пошел по тропинке между хат. Казаки двинулись за ним и скоро исчезли из виду.

Ватутин усмехнулся:

— Ишь ты! «При наличии машинного транспорта»! А ведь прав, ничего не поделаешь. Бережет своих людей... Ну что ж, товарищ Коробов, поедем дальше? Только где нам теперь переезд найти?

Однако Семенчук уже выяснил, что южнее есть еще один мост через Дон. Машины одна за другой развернулись, и небольшая колонна двинулась по новому направлению.

Ни Ватутину, ни Коробову не хотелось говорить. Ватутин смотрел прямо перед собой — на дорогу, бегущую под колеса, но не видел ее. Мысль — тяжелая, неотвязная — мешала ему. Да, старик казак сказал много жестоких слов. Однако старики поскрипели, поворчали, но честно исполнили все, за что взялись. И еще раз пошли на мост, хотя никто уже не просил их об этом. Они — народ. Они могут требовать ответа от каждого и вот потребовали... Кажется, он все-таки плохо объяснил, почему им надо отсюда уходить.

Но потом они все поймут.

Он повернул голову к Коробову:

— Как вы думаете, Михаил Иванович, поймут они?

— А как же,— отозвался Коробов,— поймут и оценят как надо.

И по тому, как быстро ответил ему Коробов на этот отрывистый и неясный вопрос, Ватутин почувствовал, что оба они думали об одном.

Чем ближе линия фронта, тем ощутимей жизнь огромной армии. Оставленные жителями хаты не пустуют. В них на недолгий походный отдых останавливаются солдаты. Удивительно уютно курятся светлым дымком трубы. Издали кажется, что деревня живет своей обычной неторопливой жизнью. Но стоит подъехать ближе, и очарование мирной жизни сразу исчезает, везде видны признаки сложного и вместе с тем простого военного быта. Весело бежит к колодцу, гремя ведрами, молодой боец в овчинном полушубке. Ведра он держит ловко, чуть расставив руки. Видно, дело это ему обычное и приятное. Заглянет в колодец и вспомнит свою далекую деревню. А вот чуть дальше стоит у плетня оседланный конь, стоит, засунув черную морду с белым пятном на лбу почти по глаза в торбу с овсом, которая висит у него на шее. Во дворах, под навесами, за домами — машины, кухни, повозки, расседланные кони.

— Конники? — спрашивает Ватутин.

— Конники,— подтверждает Коробов.

Ватутин внимательно присматривается к громоздкому хозяйству кавалерии и представляет себе, как все это должно выглядеть сверху, с самолета. Как будто маскировка удачная.

— Хорошо, что лошадей во дворах мало. Но где же они тогда? — спрашивает Ватутин удивленно.— Неужели по конюшням да по сараям? А фураж где прячут?

Коробов не успевает ему ответить. В одной из ближайших хат распаивается окно, оттуда выглядывает длинная лошадиная морда, и тотчас раздается радостное ржание. Оскалив зубы, лошадь тянется к кусту, на котором ветер треплет последние желтые листья.

— Вот это явление! — восклицает Ватутин.

Коробов лукаво улыбается и, притгнувшись к Ватутину, говорит:

— Ничего не поделаешь, товарищ командующий. Ради маскировки и в хату иногда приходится заводить. Другого выхода нет. Самое распроклятое дело конницу и танки вот на такой лысой местности прятать.

Ватутин кивнул головой. Негоже, конечно, лошадей вводить в хату. Но уж лучше пусть пока лошади побудут в хате, чем противник. А вот — танки. Танк в хату не спрячешь. С танками много хлопот, придется еще думать и думать.

— Вот она — «рама»! Летит, проклятая! — говорит адъютант и тревожно смотрит в небо.

«Фокке-вульф» с двумя фюзеляжами и желтыми крестами на крыльях, вынырнув из-за облака, летит на северо-восток метрах в восьмистах от земли.

Из-за холмов забили зенитки. Вокруг «фокке-вульфа» повисают белые облачка, похожие на клочки мыльной пены. Самолет вдруг входит в крутое пике. У Ватутина радостно екает сердце: «Сбили!» Но, не дойдя метров сто до земли, «фокке-вульф» резко взмывает вверх и снова скрывается за облаками.

— Промазали, — с досадой говорит Ватутин.

Он знает, что будет еще долго продолжаться молчаливая борьба, вызывающая напряжение всех сил, ума, прозорливости и находчивости. Войска будут подходить и маскироваться, а противник будет упорно их искать. И так до самого последнего часа.

— Над каким районом он пролетел? — спросил Ватутин, снова оборачиваясь к Коробову. — Ведь здесь должна быть наша танковая бригада!

— Так точно, товарищ командующий, — быстро ответил Коробов, — как раз над танками и пролетел.

Ватутин покачал головой.

— Надо бы заехать в бригаду. Посмотреть, как там идут дела.

Коробов взглянул на часы:

— Очень уж задержимся, товарищ командующий!

Но Ватутин настоял на своем. Ему хотелось все увидеть своими глазами. Доклады и донесения — дело нужное, даже необходимое. Но все же лучше, где только можно, побывать самому. Понять, представить себе, что сделано и что предстоит еще сделать.

Найти танковую бригаду оказалось не так уж сложно. Танки проложили по целине глубокую колею, и вездеход быстро бежал по ней, проскакивая овраги и огибая по-осеннему темные холмы.

Танковая бригада не входила в состав армии Коробова. Знакомство с ней должно было занять много времени. Но для того чтобы взглянуть, как расположены

в балках танки, Ватутин готов был сделать любой крюк.

И вот машина выезжает на пригорок.

— А ну притормози, — говорит Ватутин водителю.

Усатый шофер послушно нажимает на тормоза.

Вот и танки. Они рассредоточены, стоят в выемке неглубокого оврага. Над ними натянуты маскировочные сети, лежит дерн. Это, конечно, маскировка, но не такая уж надежная, чтобы противник не смог ее разгадать.

— Смотрите, товарищ Коробов, а вот это здорово придумано! — Ватутин указывает в глубину оврага, где танки почти целиком спрятаны в нишах, выкопанных в обрывистых склонах. — Этого уж сверху не разглядишь. Да, в землю, в землю уходить надо! Другого выхода нет.

2

В дивизию Чураева командующий фронтом и его группа прибыли часа на два позже, чем их ожидали.

В танковой бригаде у Ватутина нашлось столько дел, что, если бы ему не ехать дальше, на передний край, он, наверное, просидел бы там целый день. Но время было рассчитано по часам и минутам.

Как только Ватутин вошел в блиндаж командира дивизии Чураева, он сразу понял, что здесь готовились к его приезду. Об этом говорили и торжественно-подтянутые фигуры командиров, и новые разложенные на столе карты, и даже свежие, еще не высохшие пятна от воды на тщательно вымытом дощатом полу.

Полковник Чураев представился Ватутину с обдуманной точностью и четкостью. Это был человек лет сорока пяти, высокий, с уверенной и значительной осанкой. Щеки занимали добрых три четверти полного лица Чураева, и от этого черты его казались мелкими. Однако профиль с высоким лбом и прямым носом был красив. Чураев знал это и потому изредка небрежным движением руки приглаживал и без того тщательно расчесанные на пробор светлые волосы, поворачивая при этом голову чуть боком к собеседнику.

Чураев, если можно так сказать, был человеком удачи. Он начал войну майором, начальником штаба

полка, и хотя с первого дня войны ни разу не был в тылу, лишь несколько недель (в разное время) пробыл в армейском и фронтовом резерве, военные беды — ранения, контузии, служебные неполадки — как-то миновали его. К тому же он был храбр и не терялся в самые критические минуты боя.

Коробов не случайно привез Ватутина именно к Чураеву. Он считал, что Чураев скорее, чем кто-либо другой, сумеет принять командующего, сумеет обстоятельно доложить, тактично ответить на все вопросы, тем более что дивизия находилась как раз на том участке, откуда армии предстояло нанести главный удар.

Жарко натоленный блиндаж сразу наполнился людьми. Стало тесно и душно. В углу, склонившись над телефонами, дежурные телефонисты выкрикивали: «Уфа» слушает...», «Самарканд», куда пропал!», «Тамбов», позови Петрова!..» Штаб дивизии жил обычной напряженной жизнью. Начальник штаба дивизии подполковник Рябчий, человек кряжистый, неторопливый в движениях, достал из планшета какие-то листки и молча протянул их Чураеву. Ватутину понравилось, что Рябчий отдает распоряжения и действует так, словно здесь нет начальства.

— Ну, докладывайте, товарищ Чураев! — сказал он.

В землянке наступила тишина. Генерал Грачев двинулся ближе к Коробову, чтобы дать место в общем кругу начальнику разведки армии полковнику Дробышеву, полному и очень подвижному человеку, который все время незаметно, но настойчиво давил его в бок локтем. Начальник оперативного отдела армии полковник Абгаров, тщательно выбритый, но с таким сизым лицом, какое бывает только у жгучих брюнетов, порывисто вытащил было из планшета записную книжку и карандаш, но тут же, заметив, что длинное, сухое лицо начальника политотдела армии Шибаева стало строгим, вспомнил распоряжение Коробова ничего не записывать, быстро спрятал записную книжку и карандаш в планшет и сделал вид, что очень озабочен царапиной на гладкой поверхности его целлулоидной пластины.

Каждый из присутствующих здесь генералов и офицеров был не новичком и понимал, что командующий фронтом вместе с командующим армией не приедут сюда так вот — зря, да еще прихватив с собой столько

офицеров из штаба армии. Значит, что-то готовится большое и важное. Недаром ведь на этот участок фронта прибывают новые части.

Чураев начал подробно, по всем правилам докладывать обстановку. Фразы его, как всегда, были круглые, законченны, со множеством «что», «который», «несмотря», «ввиду» и «тем более». «Говорит, как и пишет», — подумал Коробов, и ему стало неловко. Он посмотрел на Ватутина и по выражению лица командующего понял, что тому тоже не по вкусу эта плавная, обтекаемая речь.

Коробов слегка поморщился. «Попроще бы, покороче!» Он даже коротко махнул Чураеву рукой: дескать, закругляйся! Но Чураев ничего не заметил. Казалось, красноречие его не иссякнет до завтрашнего утра.

Однако долго говорить Чураеву не пришлось.

— Хватит, товарищ полковник! — резко прервал его Ватутин. — Обстановку я не хуже вас знаю. Докложите-ка лучше о состоянии своей дивизии.

Густая краска залила щеки Чураева. Он вынул платок и стал тщательно вытирать лоб. В блиндаже наступила тягостная пауза. Все поняли, что Чураеву придется держать трудный экзамен. Почувствовал это и сам Чураев.

Обычная уверенность мгновенно покинула его, голова приобрела нормальную посадку, голос стал как будто тоньше, речь сбивчивее, он то и дело посматривал на хмуро сдвинувшего брови Коробова, как бы ища у него поддержки. К командарму он привык и всегда считал, что тот его ценит и доверяет ему. Что же касается самого Чураева, то, говоря по правде, доверие и уважение к товарищам не было сколько-нибудь заметной чертой его характера. С командирами полков он обычно держался сухо, в глубине души считая, что, если дать им полную свободу, они неизбежно завалят все на свете. Не случайно же он старше их по званию и по служебному положению.

С этой точки зрения он должен был бы считать каждого своего начальника умнее и достойнее себя. Но это как-то не приходило ему в голову. Напротив, он был склонен в пределах допустимого критиковать действия начальства — однако, сохраняя благоразумие, предпочитал критиковать не тех начальников, кото-

рым был непосредственно подчинен. Недовольство Ватутина беспокоило его до крайности.

Утратив некоторую долю самоуверенности, Чураев стал говорить точнее, и теперь ответы его более или менее устраивали Ватутина и Коробова. Но остальных командиров, которые без доклада Чураева отлично представляли себе состояние дивизии, интересовал вовсе не его доклад, а то, чего хочет добиться от командива Ватутин.

Следя за вопросами, которые командующий задает Чураеву, они улавливали, что за ними таится какая-то невысказанная и пока еще неясная, но совершенно определенная цель. Почему вдруг командующий спросил Чураева, хорошо ли изучены подходы к обороне противника и удобен ли на участке дивизии ввод танков; эти вопросы были как будто вполне естественны, но, однако же, после них в землянке повеяло каким-то новым ветром. Все оживились, заулыбались. Да, не зря, не зря приехали командующий фронтом и командарм! В самом деле, не век же сидеть на этом богом забытом плацдарме!..

Ватутин почувствовал веселое оживление за своей спиной и на мгновение умолк. Уж не сказал ли он чего-нибудь лишнего, подумалось ему. Поняв движение Ватутина, Коробов успокоительно кивнул ему головой.

— Это они, товарищ командующий, соскучились тут,— с улыбкой сказал он,— наступать хотят!

— Наступать! — повторил Ватутин. — Все хотят наступать. А пока придется посидеть в обороне и подумать о том, — он строго поглядел на Чураева, — как укреплять свои рубежи. И особенно позаботиться о разведке.

Коробов оглянулся и поискал глазами Дробышева.

— Товарищ полковник! Это по вашей части!

Дробышев сделал шаг вперед, ловко козырнул и сказал на весь блиндаж бодро и зычно:

— Есть позаботиться о разведке, товарищ командующий!

И зачем только природа наделила его таким могучим голосом! Ватутин повернулся к Дробышеву всем корпусом.

— Кстати, о заботе... Вы, полковник, уточнили уже номера частей, которые гитлеровцы подвели к переднему краю взамен отведенных в тыл?

Дробышев смутился.

— Не все, товарищ командующий! — помедлив, ответил он.

— А какие именно уточнили?

Дробышев виновато молчал. Ватутин сердито прищурил глаза:

— Стало быть, ничего еще не уточнили. Ясно! Так вот запомните, товарищ Дробышев: по моим данным, сюда пришли 97-я немецкая и 14-я румынская дивизии. Проверьте еще раз.

Дробышев быстро сделал пометки в блокноте и как-то боком скользнул за спины командиров. Генерал Грачев облегченно вздохнул и расположился несколько поудобнее — наконец-то полковник не будет его больше толкать в бок. После долгого пути по холоду здесь, в тепле, Грачева разморило и неудержимо тянуло ко сну. Он привалился к бревенчатой стене и, думая, что ни Ватутин, ни Коробов этого не видят, дремотно закрыл глаза, стараясь, однако, не заснуть по-настоящему и не пропустить ничего важного из того, о чем говорили.

Наконец Ватутин перестал задавать Чураеву вопросы, и разговор стал общим. Чураев облегченно вздохнул, сложил карту и передал ее Рябчему, который при этом сочувственно мотнул головой.

Это сочувствие было приятно Чураеву и в то же время почему-то обидно.

...Пока он размышлял, как может отразиться приезд командующего фронтом на ходе дальнейших событий, на судьбе его дивизии и на его собственной судьбе, Ватутин думал почти о том же. Готова ли к боям дивизия Чураева? Не отозвать ли ее, куда есть время? Войска привыкли к обороне. А им придется идти вперед, нанося удар невиданной силы. Как перестроить сознание людей, оставляя до поры до времени в глубокой тайне план наступления?

Словно угадывая мысли Ватутина, Коробов сказал:

— Товарищ командующий, а не пойти ли нам в сторону хутора Поднижний? Оттуда хорошо видно расположение противника.

— Пойдемте, — с готовностью сказал Ватутин и, поднявшись, стал застегивать бекешу.

Они еще не успели выйти из землянки, как на пороге появился немолодой сутуловатый человек в забрызганной грязью шинели. Очевидно, он только что прибыл с передовой. Поблескивая очками, плотно сидевшими на тонком, с горбинкой носу, стал сбивчиво извиняться за опоздание.

Увидев его, Коробов широко улыбнулся:

— А! Профессор! Где же это вы пропадаете? — И, повернувшись к Ватутину, пояснил: — Замполит комдива Чураева товарищ Кудрявцев.

Кудрявцев подошел и смущенно представился сначала Коробову, а затем Ватутину. С точки зрения устава это было не вполне правильно, но, глядя на квадратные очки без оправы, на сухощавую, слегка склоненную вперед фигуру, Ватутин думал не о нарушении устава. Где он видел этого человека?.. Ну да, да, конечно...

— А ведь я вас знаю! Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Кудрявцев! — сказал он приветливо. — Как же! Такой специалист по международному положению! Да еще старый знакомый!.. Москвич!

— Так точно. Москвич, — кивнул головой Кудрявцев, он несколько растерянно смотрел на Ватутина, припоминая, где с ним встречался.

— Не помните? — спросил Ватутин. — Ну где же вам всех слушателей запомнить! А вот мы все вас помним. Вы часто к нам в генштаб лекции читать приезжали!

Кудрявцев застенчиво и даже как будто виновато улыбнулся.

— Ну, я уже полностью переквалифицировался, — сказал он шутливо, — отпросился из университета на фронт.

— А вы сейчас из какого полка? — спросил Ватутин.

— Был у Дзюбы, товарищ командующий. Ходили вместе с секретарем парткомиссии. В партию принимали...

— И много приняли?

— Семь человек. А вот одному пришлось отказать. Кандидат с просроченным стажем. Тут такая история непонятная получилась...

— История? — Ватутин с интересом взглянул на этого еще недавно глубоко штатского человека. Стран-

но видеть его в шинели... Но, судя по той уважительности, с которой обращается к нему Коробов, он и здесь работает хорошо.

Кудрявцев снял запотевшие очки и стал протирать их платком.

— Я бы не сказал, что он трус, этот Яковенко, — проговорил Кудрявцев задумчиво, — но вел он себя как настоящий паникер. Был в разведке, увидел три танка, а доложил, будто в засаде стоит двадцать.

— Но ведь не один же он был в разведке, — сказал Коробов. — А другие что?

— Дело в том, что именно ему приказали просмотреть одну балку. Добрался он до места... Вдруг на него выполз танк, за ним другой... Разведчик скорей назад. Прибежал — глаза на лбу. «Танки, — говорит, — идут!» — «Сколько?» — «Двадцать!» — «Откуда тут может быть двадцать танков?» Командир разведки решил проверить. Ну и выяснилось — три танка, а не двадцать.

— Бывает, — сказал Коробов, — парень, наверное, еще не обстрелянный.

Ватутин покачал головой.

— Нет, вся беда в другом. — Он оглянулся: — Где Шибаев?

— Я здесь, товарищ командующий, — ответил из дальнего угла Шибаев и быстро подошел к Ватутину, комкая в руке только что закуренную папиросу.

Его длинное, жесткое, почти безгубое лицо слегка порозовело. Он весь вытянулся.

Коробов, должно быть, заметил эту перемену. Он едва уловимо поморщился и отвел в сторону глаза.

— Послушайте, товарищ Шибаев, — сказал Ватутин, — у нас тут очень важный разговор!.. Да курите, курите, а то еще шинель прожжете. — Он усмехнулся, однако Шибаев тут же бросил папиросу и наступил на нее ногой. — Послушайте, что про одного разведчика рассказывают!

— Уже слышал! Что прикажете предпринять, товарищ командующий?

Ватутин, чуть приподняв брови, поглядел на него.

— Что предпринять? А это вы с Кудрявцевым обсудите... Пора уж научиться этой арифметике... А со счета пусть немцы сбиваются!

В штабе полка Ватутин задержался недолго и двинулся дальше на передний край, пригласив Коробова, Чураева, командира полка Дзюбу и начальника штаба. Теперь, когда он шел по земле, которая будет участком прорыва, он внимательно вглядывался в каждую неровность, рассматривал в бинокль дальние холмы, стремясь представить, как развернутся события, когда войска пойдут вперед. Его сильно беспокоило, правильно ли определен передний край обороны противника: может быть, это ложный, а подлинный где-то глубже? В случае ошибки артподготовка пройдет впустую, части окажутся под огнем. Будут тяжелые, напрасные потери, возможен и полный провал атаки.

Командиры докладывали, а Ватутин слушал, кивал головой, иногда переспрашивал, а сам думал не о десятках орудий, которые установлены для обороны, а о тех сотнях и тысячах, которые начнут наступление. Да, скоро, скоро все здесь неузнаваемо изменится. Постепенно в его представлении складывалась группировка в том виде, в каком ей предстояло вступить в сражение.

В вышине завизжала мина и с оглушительным ударом разорвалась за небольшим старым амбаром, одиноко темневшим в поле.

— Переждем, товарищ командующий, — сказал Коробов, — противник, наверное, заметил движение.

Ватутин прыгнул в ближний окоп, в котором у миномета сидели несколько солдат. Пожилой сержант, круглолицый, рябоватый, в коричневом от земли и дыма костров полушубке, быстро отставил котелок, из которого ел суп, поднялся и толково доложил, чем заняты его солдаты. Разобраться, где здесь главное начальство, ему было трудно, и поэтому докладывал он не Ватутину и не Коробову, а обоим, стараясь не глядеть ни тому, ни другому в лицо.

— Как ваша фамилия? — спросил Ватутин сержанта.

— Дикий, товарищ генерал.

— Расскажите, сержант, какая у вас задача? — Заметив, что солдаты перестали есть, отложили ложки и слушают, он махнул им рукой: — А вы обедайте, товарищи.

Однако солдаты продолжали рассматривать незнакомого генерала.

Дикий повернулся в сторону противника и, указывая на дальние холмы, опоясанные несколькими рядами колючей проволоки, спокойно и вразумительно сказал:

— Мой сектор обстрела, товарищ генерал, от того дерева, что справа, до дороги. Я должен вести огонь по движущимся целям.

— А что находится в вашем секторе, знаете?

— Вон у дерева — три блиндажа. Там человек сорок румын. А по краю — за проволокой — у них дзоты...

— Ну, а где у противника проходит передний край? Разведали?

— Знаем, товарищ генерал. Здесь у них только посты стоят, а настоящие-то укрепления метров на двести дальше. Там им удобнее. Три высоты! И на каждой дзоты!

— Так, так, — опять сказал Ватутин. — Ну, а вот если в наступление отсюда пойти? Удобно будет? Как, по-вашему?

Сержант заулыбался. Неспроста генерал к нему обратился за советом. Сам все понимает, а испытывает.

— А лучшего места и не подобрать, товарищ генерал. Сюда бы только артиллерии побольше. Да прямой наводкой разбить все ихнее хозяйство. Взорвать вон те минные поля за проволочными заграждениями. А потом идти себе...

4

Выйдя из окопа, Ватутин вдруг остановился и подождал к себе комдива.

— Вот что, товарищ Чураев, по-моему, где-то на этом участке должен быть мой брат Павел. Вы о нем ничего не слышали?

— Как же, товарищ командующий, — с готовностью ответил Чураев, — Дзюба об этом напомнил, как только мы из блиндажа вышли. Он тут неподалеку, служит в саперной роте. Прикажете вызвать?

— Нет, нет, — сказал Ватутин, — не надо. Я сам к нему пойду. Товарищ Дзюба, проводите меня... А вы, товарищи, идите, — обратился он к сопровождавшим, — я минут через двадцать нагоню вас.

Дзюба, а за ним Ватутин быстро зашагали по узким тропинкам между блиндажами.

— Где здесь у вас Павел Ватутин? — спросил Дзюба попавшегося навстречу молодого сапера, который, увидев генерала, поправил висевший на ремне через плечо автомат и приложил руку к козырьку.

— Ватутин тут, в блиндаже, товарищ командир.

— Пошлите его сюда!

Сапер приоткрыл дверь в землянку и крикнул:

— Павел! Выходи! Да побыстрее!.. Дело есть!..

Из глубины землянки тотчас ответил хрипловатый, простуженный голос:

— Чего кричишь? Мне еще через час заступать!

— Эх, ты! — с досадой сказал боец и опять приоткрыл дверь. — Выходи, тебе говорят! Генерал вызывает.

На этот раз в землянке раздался дружный смех, по крайней мере, десяти человек.

— А какой генерал, — крикнул кто-то, — генерал-полковник или генерал армии?

В землянке твердо решили, что дневальный шутит, и никто не выходил. Тогда Дзюба шагнул вперед, толкнул дверь и скрылся за нею. Почти тотчас из землянки выбежал Павел, на ходу натягивая шинель и от волнения не попадая в рукава. Невысокий и щуплый, с редкими рыжеватыми волосами на подбородке, он был чем-то похож на отца, каким Ватутин помнил его в детстве. Он похудел и постарел за те два года, что они не видались.

Увидев Николая совсем рядом, на тропинке, Павел смущенно приостановился, стараясь застегнуть шинель, но крючки не попадали в петли.

— Здорово, Павел! — сказал Ватутин и, подойдя, обнял его и поцеловал в колючую щеку.

Теперь из землянки высыпали все, кто там был. Кто-то побежал за командиром части.

— Нет, нам тут не поговорить, — с досадой сказал Ватутин, — пойдем, Павел, сядем где-нибудь в сторонке.

Павел пошел рядом с Ватутиным. Он был горд и рад, что брат его вспомнил и нашел вот здесь, в землянке. По правде говоря, он давно где-то в глубине души затаил обиду на Николая. Ему казалось, что брат, став большим человеком, забыл его и младшего брата Афанасия, который служил в танковых войсках.

Братья шли по тропинке рядом, оба одного роста, а Дзюба деликатно отстал, чтобы не мешать их беседе. Он смотрел на них и думал: как странно складываются судьбы людей. Один брат командует фронтом, а другой — простой солдат.

Наконец по другую сторону холма нашлось местечко, где можно было спокойно поговорить.

Ватутин снял фуражку и провел платком по вспотевшему лбу. Да, ходить по переднему краю, ползать по траншеям, взбираться на холмы — это требует привычки. И сейчас, когда наконец он привалился спиной к какому-то бревну, почувствовал, как гудят ноги. Павел присел на старый снарядный ящик и улыбочиво смотрел на Николая... Давненько, давненько они не виделись. Здесь, где их никто не мог слышать, Павел вновь ощутил себя старшим братом, главой большой ватутинской семьи.

— Ну, здорово, Коля, — сказал он, скручивая из газеты козью ножку. — Надолго ты сюда? Проездом или работать?

— Работать, — сказал Ватутин.

— Чем будешь командовать?

— Фронтом.

— Так, — одобрительно усмехнулся Павел, — значит, я под твою команду поступаю... Это даже хорошо... Если тебя наверху затрет, шли, в случае чего, телеграммку: «Браток, выручай! Жми, Павлуха, на противника с правого фланга!..» А я уж не подведу...

Оба засмеялись.

— Хорошо, — сказал Ватутин, — буду считать тебя отдельной армией.

Павел затаился саднящим дымом, закашлялся и как-то примолк. Ватутин взглянул в его иссеченные морщинами, обветренное лицо и по пыливому огоньку в глубине глаз понял, что брат сейчас задаст ему тот самый важный и самый трудный вопрос, на который он не сможет ответить.

— Что с матерью и сестрами? — спросил Павел.

Ватутин виновато приподнял руки:

— Не знаю, Паша!.. Я посылал за ними машину в Чепухино, их даже погрузили, но вывезти не удалось...

— Почему? — сурово спросил Павел.

— Немцы перерезали дорогу.

— А ты это откуда знаешь?

— Шофер рассказал. Перебрался через линию фронта и обо всем доложил...

Павел хмуро взглянул на Ватутина:

— Что ж раньше ты не смог этого сделать? Ведь за тебя мать и Лену, может, теперь повесят...

— Да, если дознаются, кто я такой, плохо им будет...

Павел плотно сжал обветренные губы и смотрел куда-то через плечо Ватутина.

— Так уж случилось,— сказал Ватутин, чувствуя, что прощения брата ему не получить,— немцы продвинулись быстрее, чем я ожидал...

Павел усмехнулся:

— Это ты перед своим начальством оправдывайся, чего ожидал, а чего нет. А мать у нас одна. Я тебе как старший брат говорю: недоволен я тобой, Николай... Оторвался ты от семьи...

— Что ты, Павел!

— Да, да! — упрямо повторил Павел, и на его впалых щеках запрыгали желваки. — Ты загодя об этом должен был подумать. Я и Афанасий из дома ушли... — Он помолчал и вдруг спросил: — А что с Афанасием, знаешь?..

— Нет,— почувствовав недоброе, сказал Ватутин. — А что?

— Ранен он тяжело на Волховском фронте... Письмо получил из госпиталя...

Ватутин устало опустил плечи. Да, все очень безрадостно. Большая была у них семья. Помнит — в детстве — двадцать человек садились за стол... Он представил себе Афанасия, но почему-то не взрослым, а тем белокурый коротконогим мальчишкой, который однажды уселся у задних ног коня, и Николай страшно испугался, что конь его лягнет. Николай в это время держал в руках большой кусок спелого и сочного арбуза. Этим-то куском он поманил коня, и тот отошел от Афоньки. Хрустнув коркой, конь сожрал арбуз, а Николай в сердцах так поддал спасенного столь дорогой ценой Афоньку под зад, что тот дико заревел...

— Как? Выживет? — спросил Ватутин.

— Не знаю!.. Ответа еще не получил.

— Сегодня же запрошу.

— Запроси,— сказал Павел,— а потом мне черкни записку... Ну, а Татьяна как?..

— Вот был в Москве — виделись... Здорова...

— Пиши от меня привет... Ей и ребятам...

— Хорошо...

Павел снова полез в карман за кисетом и стал не спеша сворачивать папиросу, просыпая крошки табака на предупредительно подстеленный клочок бумаги.

— Махорку куришь? — спросил Ватутин.

— Махорку. Нам командирского пайка не положено.

— Ну, табачку я тебе пришлю...

— Спасибо,— улыбнулся Павел,— а то бывает маловато — старшина у нас прижимистый... Так на каком же фронте мы теперь будем?

— На Юго-Западном...

— Так,— сказал Павел,— значит, ты наш командующий?!

— Ваш,— кивнул Ватутин.

— Ну смотри, командуй так, чтобы мы вперед пошли...

— Буду стараться,— улыбнулся Ватутин и поднялся. — Ну, прощай, Павел... Хорошо, что мы с тобой встретились. Не сердись на меня, если и буду где поблизости, а не зайду. Много у меня сейчас дел...

— А я за себя и не сержусь,— сказал Павел,— вот о матери и сестрах нам с тобой еще подумать надо.

...Издали Дзюба видел, как братья сели по сторонам заброшенного окопа, лицом друг к другу. В их движениях была какая-то неуловимая схожесть. Они говорили так минут пятнадцать, иногда посмеивались, иногда грустно покачивали головами. Потом встали, и тут Ватутин с силой привлек к себе Павла, поцеловал и, повернувшись, пошел по тропинке к Дзюбе. Павел остался стоять на краю окопа, провожая его взглядом. Потом тоже повернулся и зашагал к землянке.

В блиндаже Павла с нетерпением ожидали солдаты. Как только он вошел, его засыпали вопросами. Всем казалось, что Ватутин не мог не рассказать брату о том, что их волновало больше всего: когда начнется наступление и будет ли второй фронт. Павел отговаривался: «Да мы таких дел и не касались. Говорили все о делах семейных», но ему никто не поверил.

— А когда тебя браток командиром сделает? — задал ему кто-то каверзный вопрос. — Слово скажет, и сразу тебя — в капитаны...

Павел рассердился:

— Да бросьте вы языки чесать! Как был солдатом, так и останусь. Он небось две академии кончил, а я че-

тыре зимы в школу ходил. Он — при месте, я — при месте. Вот хорошего табаку прислать действительно обещал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Генерал Рыкачев сердито посасывал потухшую папиросу и, насупившись, смотрел в одну точку перед собой. Сухощавый, прямой, с чуть вздернутыми кверху плечами, он выглядел моложе своих пятидесяти пяти лет. И очевидно, знал это. Во всей его осанке, в быстроте и четкости движений, в тщательности, с которой были расчесаны начавшие редеть черные виски, даже в манере держать папиросу — небрежно и картинно, — во всем чувствовалось желание если уж не быть, то, по крайней мере, казаться молодым.

Судя по груде окурков, которые лежали в пепельнице, стоявшей на краю стола перед Рыкачевым, разговор затянулся.

Ватутин усталым движением расстегнул верхние пуговицы кителя и откинулся на спинку скрипучего стула.

— Что вы все время киваете на Воронежский фронт, — сказал он с затаенным раздражением. — Там были одни условия, здесь другие. Там мы главным образом сдерживали противника, теперь же у нас совсем иная задача. Я пока еще не могу говорить обо всем подробно... Но думаю, вы и сами догадываетесь...

Рыкачев кивнул головой и сухо улыбнулся.

— Отчасти догадываюсь, товарищ командующий. Так, зазря, меня в это растреклятое место, где ни дорог, ни мостов, с армией бы не послали. Но разговор наш имеет для меня важное значение. Я продолжаю считать, что ослаблять фланги в большом сражении и собирать все силы на одном участке за счет других — очень рискованное дело...

— Не спорю, рискованное. — Ватутин сердито прищурил глаза. — Но чего же вы-то хотите? Вы хотите, чтобы мы везде были одинаково сильны? Это невозможно и совсем необязательно, товарищ генерал. Да, совсем необязательно, — повторил он. — Могу сказать на-

верное, что к началу сражения мы еще не будем иметь преобладающего перевеса в силах. Но даже самый незначительный крен в нашу сторону надо уловить и разумно использовать. — Он нетерпеливо передернул плечами. — А вы требуете каких-то идеальных, несбыточных условий. Их нам никто не создаст. И требовать ничего лишнего мы не должны... Риск, вы говорите... Да, конечно. Но риск естественный, оправданный, необходимый... Не забывайте, что мы с вами и направлены-то для того, чтобы взять на себя всю ответственность. И решать. Решать не только за себя, но и за противника. Не подчиняться обстановке, а создавать ее. Навязывать противнику свою волю...

Ватутин не сдержался и слегка стукнул кулаком по столу.

Он прекрасно понимал, что в основе этого нескончаемого спора лежит вовсе не какая-то особая стратегическая концепция, а просто-напросто самолюбивое желание его собеседника доказать во что бы то ни стало, что и у него тоже есть свои собственные взгляды, принципы, установки и что, если бы его оценили как следует, по заслугам, он, Рыкачев, должен был бы занять в армии гораздо более видное положение... А кем был тогда, когда Рыкачев командовал дивизией, этот нынешний командующий фронтом? Мальчишкой! Курсантом! Если бы Ватутин утверждал, что фланги ослаблять нельзя, то Рыкачев всеми способами отстаивал бы то, против чего сейчас так яростно возражает...

Этот затянувшийся бесплодный спор все больше и больше раздражал Ватутина. В конце концов хватит переливать из пустого в порожнее. Если Рыкачев считает, что должность командарма ему мала, пусть обращается в Ставку и требует повышения. А здесь надо не болтать, а работать.

Чтобы Рыкачев как-нибудь ненароком не угадал, о чем он думает, Ватутин отвел в сторону глаза и стал пристально и напряженно смотреть куда-то в угол. И тут-то Рыкачев угадал. Он вдруг заметил и этот странный, как будто невидящий взгляд, и прикушенную губу, и желваки, которые остро выдавались на скулах под туго натянутой кожей. Заметил и неожиданно для самого себя испугался.

Мысль о том, что Ватутин понял подоплеку их спора, была ему мучительно неприятна.

«Прекратить! Прекратить немедленно!» — твердил себе Рыкачев. А сам против воли тянул все ту же канитель, с каждой минутой теряя последний задор и не находя способа отступить с честью.

Помощь пришла неожиданно. Хлопнула дверь, и на пороге появился Бобырев, усталый, с бледным от ночной работы лицом и как будто испуганный. В руках он держал какой-то листок бумаги.

— Разрешите доложить, товарищ командующий, — сказал он, подходя к столу. — Серьезное упущение... Прощу посмотреть!..

— Что это? — сердито спросил Ватутин, беря листок в руки. — Что это?! — Вдруг его лицо и шея стали наливать краской. — Откуда это у вас? — крикнул он и вскочил с места.

Рыкачев облегченно вздохнул. Бобырев появился как раз в самую нужную минуту и отвлек внимание Ватутина.

— Где вы это взяли, черт подери? Ведь этому названия нет!

Бобырев указал в сторону занавешенного окна.

— На полевой почте, товарищ командующий, у писаря!

— У писаря!.. — воскликнул Ватутин. — Список всех прибывших частей — у писаря? Где он его взял?

— Понимаете, какое дело, товарищ командующий... — сказал Бобырев. — Как только часть прибывает, она сразу же регистрируется на полевой почте! Таков порядок!..

Ватутин зло взглянул на Рыкачева.

— Ничего себе порядочки! Мы голову ломаем, как скрыть от противника создающуюся группировку. А простой писарь знает больше, чем весь штаб!..

— Виноват, товарищ командующий, — сказал Бобырев, мрачней, — я только вчера приехал. Просто не предполагал, что такая щель может оказаться.

— Да ведь это же преступление! — Ватутин еще раз пробежал глазами листок, густо покрытый лиловыми кудрявыми строчками. — Ну где у нас гарантия, что подобный список не попал в руки противника?

— Писарь утверждает, что это единственный документ, который он составил.

— Проверьте! Самым строгим образом!

— Слушаюсь, — сказал Бобырев.

— Ну а вы, товарищ Рыкачев, — повернулся Ватутин к командарму, — вы уверены, что на вашей армейской почте такое не происходит?

— Не уверен, товарищ командующий, — признался Рыкачев. — Это ведь не нами заведено. Все почты работают по одной инструкции.

— Так скорее поезжайте к себе и наведите порядок! Изымите все списки. Полевая почта не должна ничего знать! Никакой переписки. Все, что касается подготовки операции, осуществлять лишь путем личных приказов. В части посылайте особо доверенных людей. И строго следите за тем, чтобы они не знали больше того, что им положено по должности. Идите. Завтра же доложите мне о принятых мерах!

Рыкачев быстро попрощался и вышел вслед за Бобыревым.

Ватутин некоторое время сидел задумавшись. Всего неделя, как он приехал на эту затерявшуюся в донской степи станцию, а кажется, будто прошел год. Так много трудностей, неприятных неожиданностей, тяжелых забот. Кажется, все до мелочей продумано и учтено, и вдруг прорыв там, где его и не ждали.

Ватутин глухо, с надрывом закашлялся. Его знобило. Никто не знал, что он вот уже третий день болен. А он не хотел, просто не мог об этом сказать. Он встал и открыл дверь в небольшую комнатку.

Вся обстановка этой комнаты состояла из длинного стола, на нем лежала широкая, примятая на углах карта местности. Тот участок фронта, которым командовал Ватутин, был нанесен на карту особенно тщательно до стыка с Воронежским фронтом у Новой Калитеы. Местами красно-синяя черта линии фронта проходила вдоль восточного берега Дона, то как бы вдаваясь в глубину расположения противника, то отходя назад.

Кроме стола в комнате стояли два старых скрипучих стула. На одном из них лежал толстый, выдавший виды кожаный портфель. Вот и все, что было в крошечной боковушке этой деревенской хаты, на вид точно такой же, как и тысячи других. Стены давно не белены, окна маленькие, из обрезков стекла. Но знал бы противник, что делается в этом неприглядном на вид домике, пошел бы на любые жертвы, только бы стереть его с лица земли.

О том, что происходило в этой комнате, кроме Вату-

тина, члена Военного совета и начальника штаба знали считанные люди. Здесь отрабатывался план наступления фронта с севера на юг.

Ватутин прикрыл за собой дверь и подошел к столу, за которым, согнувшись, работал Иванов, теперь начальник оперативного отдела.

— Ну как? Идет работа? — спросил Ватутин, стараясь подавить в себе глухое раздражение, вызванное утомительным разговором с Рыкачевым и этой дурацкой историей с полевой почтой.

— Да не очень, товарищ командующий, — ответил Иванов.

— Так, так, — сказал Ватутин, низко склоняясь над столом. — Что же тут получается?

— Здесь все, как вы приказали, товарищ командующий. Полная расстановка сил для удара левым крылом фронта.

Работа, которую выполнял Иванов, была не только важна сама по себе, она была своеобразным экзаменом на зрелость. Иванов внимательно посмотрел на Ватутина: доволен ли командующий? Тот стоял, бессильно опираясь на стол, и медленно вытирал платком выступившую на лбу испарину.

— Товарищ командующий, вы больны?

Ватутин, словно его поймали на чем-то нехорошем, быстро сунул платок в карман и рассердился:

— Этот вопрос не по существу, товарищ Иванов. Давайте докладывайте!..

Иванов вздохнул и расправил карту.

— Положение таково, товарищ командующий. Начальник артиллерии фронта доложил, что для осуществления вашего замысла требуется направить на левый фланг армии Коробова всю артиллерию, которая выделена нам из резерва Главного командования, и забрать артбригаду из соседней армии.

— Дальше!..

— Затем, так как тут особенно плохо с дорогами, нам придется для переброски грузов использовать автотранспорт двух соседних армий. Я предлагаю взять три автобатальона у Гапоненко.

— У Гапоненко! — усмехнулся Ватутин. — Да ведь он же вззоет! И прав будет. Как можно оставить целую армию почти без машин!

Он поднял глаза от карты и в упор взглянул на Ива-

нова. Он прекрасно понимал, куда клонит начальник оперативного отдела. Хитер мужик! Такт ему не позволяет прямо сказать: «Товарищ командующий, в вашем замысле есть серьезные погрешности».

— Да, — произнес Ватутин задумчиво, — надо думать, товарищ Иванов, надо еще думать!..

Он тяжело опустился на стул. Неудержимо тянуло лечь. Болело горло. В висках стучало. Но он справился с недомоганием и, подперев рукой налитую болью голову, стал рассматривать пеструю вязь линий, значков, стрелок...

Он долго молчал. Молчал и Иванов, выжидая. Ватутин снова закашлялся, болезненно поморщился. Иванов теперь окончательно убедился в том, что командующий болен, и не на шутку, и про себя решил, что, как только выйдет отсюда, сразу же вызовет врача.

— Какие данные о сосредоточении войск? — спросил Ватутин, когда кашель его наконец отпустил.

— Получено донесение от командира танкового соединения Родина, он начал разгрузку танков.

— Хорошо, — сказал Ватутин и вдруг зябко повел плечами. — А не кажется ли вам, что у нас здесь холодно? Печку бы затопить, что ли...

— Да, верно, товарищ командующий, — быстро согласился Иванов, хотя самому ему было жарко и он полчасу тому назад сказал ординарцу, что можно прекратить топить. — Я сейчас распоряжусь...

«Черт подери! Что же это я расклеился, — выругался Ватутин про себя, когда Иванов вышел. — Лучшего времени не нашел. Этакая напасть!..»

Он закрыл лицо руками и так сидел до тех пор, пока не услышал в соседней комнате шаги.

— Приказал, товарищ командующий, — сказал Иванов, входя. — Сейчас затопят. Я и чайку погорячей распорядился принести...

— Вот за это спасибо. Что я хотел сказать вам? Да, предупредите Родина, что передвигаться он должен только по ночам. Эх, метель бы сейчас! Да только солдатам пришлось бы совсем туго! Такое бездорожье, хуже, пожалуй, во всей стране не встретишь! Ну, вернемся к главному. Итак, мы нанесем сразу основной удар двумя кулаками. Одним на участке Распопинская — Клетская. Здесь ширина прорыва будет километров двенадцать. Другим — со стороны Большой — высоты

«219,5». Тут также километров десять. Мы прорвемся на большую глубину. Расчленим противника расходящимися ударами и сразу же поставим его в самые невыгодные условия. Он вынужден будет драться без связи с соседями, каждая часть в одиночку. Попробуем-ка! Мне кажется, это хорошо!

— Слушаю, товарищ командующий,— сказал Иванов.— Но не прикажете ли повернуть армию, которая у нас на правом фланге, на случай контрудара с запада? Ведь наверняка, когда мы замкнем окружение, гитлеровское командование будет пытаться прорваться к Паулюсу!

Ватутин кивнул головой.

— Да, вы правы. Но одной армии нам в этом случае будет маловато. Когда окружение замкнется, нам придется значительные силы рокировать на правый фланг, вот сюда, в сторону Верхнего Мамона, с тем чтобы нанести новый удар и отбросить противника еще дальше.— Он взял карандаш.— Ну, давайте трудиться. Надо предумать все до конца. Ставка ждет нашего доклада...

За тонкой стенкой раздались чьи-то громкие голоса. Там как будто спорили. Иванов встал и быстро пошел к двери.

— Это к вам, товарищ командующий. Врач! Ольга Михайловна.

— Кто ее вызвал?

Иванов усмехнулся, но прямо на вопрос не ответил.

— Все интриги, интриги,— шутливо махнул рукой Ватутин и поднялся.— Ну ладно! Все равно мне от нее не избавиться. Иду.

Он поднялся и пошел к двери, как-то неуверенно ступая.

2

— Вот вы в моей власти!

Ватутин оглянулся. Ольга Михайловна стояла слева от него, между распахнутой дверью и окном. Он сразу ее не заметил. В туго подпоясанной гимнастерке она казалась гораздо моложе своих лет, а ей было уже за сорок. Черты ее лица нельзя было назвать правильными — узкий овал, небольшой, короткий нос, который она произвольно морщила, когда о чем-нибудь дума-

ла. Все дело было в глазах — темных и блестящих. Они смотрели как-то удивительно прямо, освещая лицо и делая его красивым. Глаза часто меняли свое выражение, они смотрели то беспокойно, то ласково, то сурово. Ватутину нравилась в Ольге Михайловне та, подчас резкая, прямота, которую он называл про себя мужской... И все же в этой женщине было что-то, находившееся за пределами его понимания. Когда ему сказали, что Ольга Михайловна — жена Рыкачева и у них уже двадцатилетний сын, танкист, он поразился. Как могла эта живая, умная женщина полюбить такого самоуверенного сухаря? И невольно он перенес на нее часть той настороженности, с которой относился к Рыкачеву. Друзья в штабе однажды наметнули ему, что Рыкачев интригует против него, но так ничего толком не сказали, а он не поинтересовался. Однако сегодня он так явно почувствовал беспокойство командарма, его тайную тревогу, тщательно скрываемую смятенность, что невольно вспомнил о предупреждении. Смутное недовольство Рыкачевым еще больше укрепилось, когда он увидел Ольгу Михайловну, державшую в руках небольшую медицинскую сумку. «Сначала муж, а потом жена,— зло подумал он.— Тут у меня прямо засилье Рыкачевых». Но, сдержанный от природы, ничем не выдал своих мыслей.

— Ну вот я в вашей власти, Ольга Михайловна,— сказал он, улыбнувшись.— Не велите казнить, велите правду говорить

— Что с вами? — спросила она, и, посмотрев в ее напряженные, серьезные глаза, Ватутин невольно перевел взгляд на Семенчука, который тревожно ждал, что ему прикажут делать, мало ли что может понадобиться при осмотре.

— Знобит что-то! Очевидно, простудился,— сказал Ватутин.— Наверно, ничего серьезного!..

— Это уже не вам решать, Николай Федорович.

Рыкачева выразительно повернулась к Семенчуку.

— Есть! — мгновенно понял тот и вышел отдать распоряжение часовому никого не впускать в дом, а Ольга Михайловна, неторопливо раскрыв на столе сумку, вынула из нее трубку.

— Ну, больной, снимите гимнастерку...

Ватутин вздохнул и стал покорно стягивать гимнастерку.

— Повернитесь ко мне спиной, дышите...

И Ватутин почувствовал, как пониже левой лопатки тупо уперся прохладный железный раструб, и от этого по спине пробежала изморозь. «Наверное, температура», — подумал он и вдруг спросил:

— А мужа видели?

— Дышите глубже, — проговорила Ольга Михайловна. — Еще раз... еще... Теперь повернитесь... А он был здесь? Когда?

— Час тому назад, — сказал Ватутин, — был у меня...

— Хорошо... Вдохните глубоко... Еще раз... Теперь затаите дыхание... — Она долго слушала его сердце, а Ватутин, боясь передохнуть, смотрел на светлую прядь, лежащую среди ее иссиня-черных волос. Как-то он подумал, что прядь специально выкрашена, но теперь он ясно видел, что это седые волосы.

Наконец Ольга Михайловна разрешила ему одеться. Пока он натягивал гимнастерку, она что-то записывала в свою книжечку.

— Вам надо немедленно лечь, Николай Федорович, — сказала она. — У вас может начаться воспаление легких...

Ватутин рассердился:

— Может!.. А я должен ехать в армию.

— Вам никуда ехать нельзя. — Она говорила так спокойно и так независимо, что Ватутин вдруг почувствовал себя просто рядовым пациентом, с которым у врача разговоры коротки.

— Ну, Ольга Михайловна, — взмолился он, — я не могу сейчас лежать!.. У меня каждая минута на учете.

— У всех на учете, — спокойно сказала она. — Нам спорить не о чем. Вы сейчас же ляжете!

— Это надолго?

— Если сейчас — дня на три... А не послушаетесь — месяц.

— Но делами мне можно заниматься?

— Только самыми неотложными.

— Я прикажу поставить около кровати телефон.

— Ставьте...

Она забрала сумку и вышла. За дверью ее ждал Семенчук. Ватутин слышал, как они о чем-то тихо посоветовались. Потом хлопнула дверь, и, взглянув в окно, он увидел, как докторша спускается с крыльца.

До войны Марьям хотела стать летчицей. Но ей было только семнадцать лет, и в аэроклуб ее не взяли. А потом война, тяжкие дни отступления, эшелон с женщинами и детьми, который пять раз нещадно бомбили немцы, гибель отца, убитого в бою под Житомиром, маленький уральский городок, где тесно, голодно и неуютно.

Марьям с матерью поселились в крошечной комнатке, вернее, в углу, отрезанном от жилья хозяев фанерной, не доходящей до потолка перегородкой. Мать все время болела и считала, что жить ей осталось уже немного. Она уговаривала Марьям положить ее в больницу, а самой уехать в Куйбышев, поступить в медицинский институт. Но Марьям и слышать об этом не хотела. На окраине города начал строиться танковый завод, эвакуировавшийся откуда-то из центра, и она решила пойти туда работать. Ее поставили на бетон, в девичью бригаду под начало рябого, угрюмого, демобилизованного по случаю тяжелой контузии бетонщика. Бетонщик сильно заикался, нехотая мигал и тряс головой, но работал как зверь, не давая пощады ни себе, ни своим подручным. С девочками он никогда не разговаривал, только бранился и страшно выкатывал глаза, когда что-нибудь получалось не так.

Впрочем, про Марьям он говорил, что она девчонка принципиальная, и уважал ее. Уважал за то, что она была сурова, как он, честна, упряма и ни разу не позволила себе уклониться от трудного дела.

У бетонщика Марьям училась смешивать цемент и песок. Выяснилось, что это как будто несложное дело не так-то легко дается в руки. У него есть свои тайны. Надо быть очень умелым и искусным мастером, чтобы серый и вязкий раствор стал крепок и надежен.

В эту осень и зиму Марьям почти всегда ходила в ватных штанах и стеганой куртке. Волосы она остригла коротко, почти по-мужски. Незнакомые шоферы часто принимали ее за мальчишку и кричали: «Эй, паренек! Как здесь проехать к четвертому цеху?»

Она оборачивалась, и машина вдруг начинала буксовать: шоферы почему-то никак не могли сдвинуть ее с места.

Марьям не обращала на это ни малейшего внима-

ния. Ей и в голову не приходило, что на нее можно заглядеться. А между тем это было так. Лицо у нее было правильное, овальное, с каким-то удивительно чистым румянцем, который не мог скрыть даже слой цементной пыли. Карие глаза смотрели прямо и открыто и лишь изредка улыбались, но в этой улыбке было что-то задумчивое, простодушное и щедрое. Высокая, крепкая, она была бы отличной физкультурницей, если бы занималась спортом постоянно. Но даже и теперь, в эту трудную зиму, достав у кого-нибудь лыжи, она бегала на них по пустынным холмам, постепенно переходившим в отроги гор, видневшихся на горизонте. Были причины, по которым она считала необходимым хоть изредка тренироваться...

Марьям много работала, и постепенно руки ее привыкли к тяжелому труду. Вскоре ее сделали бригадиром. Теперь она стала старшей на бетономешалке. В подчинении у нее оказалось пять девушек и трое парней. Все комсомолцы, но по возрасту Марьям была среди них самой младшей. Ей еще не исполнилось и двенадцати лет.

Летом Марьям хотели забрать из бригады и сделать секретарем комсомольского бюро завода. Она отказалась. «Пока не достроим завод, никуда не уйду». И вот наконец цехи были построены, танки начали сходить с конвейера. Бригада распалась сама собой. Марьям поступила на курсы и вскоре встала к токарному станку.

Но мысль — все та же, настойчивая, постоянная мысль — жила в ней... Она списалась с теткой, которая жила в Красноуфимске, и отвезла к ней мать, а сама перешла в общежитие. Теперь ей не надо было заниматься хозяйством, стоять в очереди у булочной, торопиться по вечерам домой. Она поступила, как и многие девушки, на курсы медсестер, стала посещать стрелковый кружок.

Впрочем, это не мешало ей заботиться о матери. Каждые две недели она относил на почту почти все заработанные деньги, оставляя себе только на самое необходимое. А когда завком вручил ей премию за перевыполнение плана, эта премия вся целиком — и отрез на юбку, и две рубашки, и полотенца, и хорошие конфеты — при первой же оказии была отправлена в Красноуфимск.

Девчата в общежитии говорили, что Марьям совер-

шенно невозможно понять. Она никогда не рассказывала о своих переживаниях, и трудно было себе представить, что у нее на сердце: печаль или радость. Даже ближайшая ее подруга, Валя Кузнецова, часто становилась в тупик. «Ну и характер у тебя, Марьям, — говорила она, — железный!» И только однажды Валя застала ее плачущей. Марьям лежала в общежитии, на своей узкой койке, а рядом на полу валялось письмо — скомканный солдатский треугольник. Валя подняла его, но успела прочитать лишь последние строки и подпись. Но и этого оказалось достаточно. Так вот, значит, какое дело! Марьям любит. Она дала слово Феде Яковенко, а он теперь упрекает ее в неверности. Если бы только знал этот долговязый и глупый детина, как она тут живет! Коротка же у него память! Ведь и года еще нет, как он уехал отсюда, где на месте завода лежал пустырь, на котором по ночам посвистывали суслики. И что Марьям нашла в этом Феде: тощий, бровастый, кадык выдается чуть ли не на версту, голова маленькая, а руки длинные. И он еще смеет писать такие письма!..

— Да что, в самом деле! Есть о чем реветь! — сказала Валя, протягивая Марьям желтоватый, крупно исписанный листок, и в ту же минуту осеклась. Она увидела разъяренное, искаженное болью лицо Марьям, и все слова, которыми она хотела утешить подругу, мгновенно куда-то исчезли.

— Отдай! — Марьям вырвала письмо из ее рук и выбежала за дверь.

А через час она вернулась совершенно спокойная, и глаза у нее были такие холодные, суровые и отчужденные, что Валя до самого вечера не набралась духа заговорить с ней. А наутро было уже не до того — много дел, много разных забот и хлопот...

Шли дни, они слагались в недели и месяцы. После случая с письмом Марьям стала еще строже, и никто из парней не мог сказать, что ему удалось добиться у нее хоть какого-нибудь успеха. А добивались многие.

В октябре директора завода Антона Никаноровича Нефедьева вызвали в Москву. Когда он вернулся, работы стало еще больше. Танкисты приходили прямо в цехи, садились в машины и уезжали на железнодорожную станцию грузить танки на платформы, уже готовые к отправке.

И вдруг по заводу разнеслась неожиданная весть.

Делегация рабочих повезет эшелон танков под Сталинград. Марьям оживилась. Она сразу же пошла к парторгу и сказала прямо и просто, что непременно хочет ехать. Ее включили в список без разговоров. Это право она завоевала своим трудом.

Но за два дня до отъезда ее вызвал начальник цеха. Заболели двое рабочих, ей нужно встать на конвейер. Марьям побледнела, откинула голову и так стояла несколько секунд, словно окаменев. Начальник решил, что ей дурно, бросился к шкафчику с лекарствами. Но она отвела его руку со стаканом воды и сухо усмехнулась:

— Что вы, пустяки какие! Но мне надо ехать. Я должна. И я все равно уеду, слышите?

Он взглянул ей в глаза и отступил. Такая прямая и страстная сила желания была в этих ясных, по-детски чистых глазах с голубоватыми белками... Нет, такую не сломишь. Знает, чего хочет, и умеет хотеть. Он для порядка поворчал немного, сказав, что ей следует побольше думать о матери и о работе, а на фронте вполне обойдутся и без нее. Но раз уж ей так захотелось, ладно, пусть едет. Тем более, что заслужила...

Делегатов провозжали речами и музыкой. Новенькие зеленые «тридцатьчетверки» стояли на уходящих вдаль платформах. На каждом танке большими белыми буквами было написано, на чьи средства он построен. Перед отъездом Валя Кузнецова долго обнимала Марьям и плакала. «Ты не вернешься,— говорила она,— я знаю, ты останешься там».

Марьям молчала. Она смотрела через головы людей на крыши поселка, на высокое здание цеха, поблескивавшего множеством стекол в лучах холодного солнца, смотрела, словно навсегда прощалась со всем, что стало ей здесь так дорого за эти трудные годы.

— Я буду тебе писать, Валечка,— сказала она,— а когда выйдешь замуж за Васю, обязательно сообщи. В этом ответе было ее решение.

Эшелон двигался к фронту медленнее, чем этого хотелось делегации. Директор, Антон Никанорович, с каждой станции посылал тревожные телеграммы в Москву, требовал «зеленой улицы». Но к Сталинграду двигались сотни эшелонов с артиллерией, танками, войсками. В этом огромном движении был свой порядок, и никакой «зеленой улицы» эшелону не давали. Антон Никанорович наконец смирился.

Когда эшелон достиг Куйбышева, из Государственного Комитета Обороны пришла телеграмма с уточнением участка фронта, куда должны быть направлены танки. Эшелон направлялся через Саратов на Юго-Западный фронт. Кто командует этим фронтом, Нефедьев еще не знал. Однако он огорчился. Ему хотелось, чтобы его танки пошли прямо в Сталинград. Такой наказ он получил от рабочих.

Делегация, сопровождавшая танки, была невелика — всего десять человек. В нее входили главным образом пожилые рабочие — заводские кадровики. Марьям была единственной представительницей молодежи и единственной на всю делегацию женщиной. Ее берегли и заботились о ней наперебой. Молодой майор, командовавший танкистами, которые ехали в том же эшелоне и должны были сразу же по прибытии сесть на машины, подарил ей старый, но еще вполне годный ребристый шлем. Она надела его, и майор с восторгом заявил, что теперь она совсем похожа на танкиста. Все в вагоне звали майора попросту Колей и снисходительно относились к тому, что он ухаживает за Марьям. А ей с ним было весело, хорошо и просто.

После Куйбышева началась полоса затемнения. С непривычки странно было видеть темные окна и синие лампочки на станционных платформах.

Когда эшелон миновал Саратов и повернул на юг, поезд попал под бомбежку. Это было ночью. Сначала вражеские самолеты сбросили ракеты, осветившие все вокруг мертвенно-белым светом. Потом ухнула одна бомба, за ней — другая. В соседнем купе зазвенели стекла, и в вагон ворвался холодный ветер. Часто забили зенитки, установленные в начале и в конце состава. Марьям бросилась к разбитому окну и выглянула наружу. Откуда-то из-за угла вагона в темное небо неслась огненная цепочка разноцветных огней. Это было страшно и красиво.

— Почему не остановят поезд? — испуганно сказал в темноте чей-то голос.

Кто-то сжал ее локоть.

— Ложись на пол! Убить могут!..

Но она продолжала стоять у окна. Ее — убить! Это невозможно. Она не чувствовала ни малейшего страха. Только сердце стучало часто-часто и дышать было трудно. В душе закипала обида и даже злость. Что же

это? Стреляют зенитки, рвутся бомбы. А ты покорно и беспомощно жди. Нет, она так не хочет! Не согласна — и все тут! А поезд между тем то набирал скорость, то сбавлял ее, очевидно обманывая вражеских пилотов. Эх, быть бы сейчас машинистом или хоть кочегаром, который подбрасывает уголь в топку!..

Стрельба кончилась так же быстро и внезапно, как началась. Самолеты улетели. Состав продолжал громыхать. Казалось, ничто не могло его остановить.

В вагоне зажгли синий фонарь. Пострадавших как будто не было. Осколок бомбы пробил раму окна и застрял в потолке. К счастью, оказалось, что разлетелось в куски лишь одно стекло. Антон Никанорович при помощи старого слесаря вытащил из пазов вторую раму, и в вагоне опять стало тепло.

А через несколько минут в вагон принесли на руках командира танкистов — молодого майора. Он был тяжело ранен из пулемета, которым вражеский летчик обстреливал эшелон. Военный врач, пожилой полный человек, при свете карманных фонарей и «летучей мыши», расстегнул его шинель, разрезал гимнастерку. Марьям стояла рядом и видела, как у врача дрожали руки. В самом деле, было что-то удивительно нелепое в том, что этот, еще недавно полный жизни веселый человек беспомощно лежал на узкой скамейке, запрокинув голову.

— Я его перевяжу, — тихо сказала Марьям. — Я умею.

Врач склонился над майором и прижался ухом к его худой, почти мальчишеской груди. Он слушал долго-долго, потом поднялся и тяжело сел на противоположную скамейку.

Марьям все поняла и в темноте одела майора. Руки у него были еще теплые и удивительно покорные. Казалось, он просто притворяется, чтобы почувствовать ласковую заботу девушки, которая ему так нравилась...

На ближайшей станции поезд остановился, и майора похоронили недалеко от насыпи. Делегаты и танкисты тихо стояли вокруг могилы. Ветер осторожно перебирал волосы на голове лежавшего перед ними майора. Гроба не было. Тело завернули в брезент. Потом десять танкистов выстроились в ряд и дали залп из пистолетов.

Могилу зарыли, постояли еще немного и вернулись в эшелон.

Через десять минут поезд двинулся дальше. Марьям сидела у окна и не отрываясь смотрела на новую для нее, как будто одичавшую от войны землю. Рука сама собой поглаживала старый ребристый шлем, который лежал у нее на коленях.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

В ушах Ватутина еще слегка шумит, как будто близко вьется назойливый комар. Приходится напрягать волю, чтобы совладать с усталостью, слабостью, связывающей движения и мысли. А все эта подлая болезнь! Она отняла столько сил и так не вовремя навалилась...

За окном с грохотом прошли танки. Чуть дрогнули половицы, дверь скрипнула и приоткрылась. В щель заглянуло и тут же скрылось круглое лицо заместителя начальника штаба Кунина. Затем Ватутин услышал, как он громким шепотом кому-то сказал:

— Конца не видно!

Чья-то рука осторожно прикрыла дверь. Ватутин взглянул на своего собеседника — генерал-майора, человека уже в годах, со многими орденами на груди. Тот сидел прямо, держался спокойно и даже уверенно, но по тому, как напряженно двигались его нахмуренные седоватые брови, по землистой бледности, по сухому частому покашливанию Ватутин понимал, что генерал волнуется, что ему не так-то легко вести этот тяжелый для него разговор. Вернуться в Москву в отдел кадров? Перед самым началом крупной операции?! Какова бы ни была причина, конечно, все решат, что его просто-напросто убрали с фронта: не подошел, не справился...

Уже многое переговорено, многое вспомнано. Когда-то они вместе учились в Полтавской военной школе, их койки стояли рядом. Береговой был тогда совсем еще молодым, но не очень расторопным курсантом. Ему часто попадало от курсового командира. Далеко ушли те времена, далеко, но при воспоминании о них на душе становится тепло и немножко грустно...

Держится Береговой с подчеркнутой официально-стью, очевидно, не хочет навязывать командующему старой дружбы. И все же Ватутин улавливал в этом пожилым мрачным человеке что-то очень знакомое, напоминающее давние годы юности. Вот так же сурово и покорно смотрел он себе под ноги, когда, бывало, курсовой командир назначал его за какую-нибудь провинность дневалить вне очереди. И так же обиженно и угрюмо шевелились его выпуклые, густые, но тогда блестящие черные брови.

— Я понимаю, товарищ командующий,— говорил между тем Береговой, покашливая и покусывая жесткие усы,— может быть, прошлые ошибки мешают мне занять тот пост, на котором я их совершил. Тогда пусть мне об этом скажут прямо, пусть поставят на такое дело, с которым я могу справиться. Но в такие дни я не могу больше сидеть в резерве...

— В какие?...— спросил Ватутин, постукивая карандашом по столу.

— Я не имею права вторгаться в планы командования,— с неожиданной запальчивостью сказал Береговой,— но я вижу, что идет сосредоточение войск, и могу делать свои выводы...

— Свои выводы, конечно, вы можете делать.— Ватутин улыбнулся.— Так чего же вы хотите, Степан Петрович?— спросил он, переводя разговор в другое русло.— Немедленного назначения?

— Да, товарищ командующий. Или уж пусть отправят в Москву, в резерв... Я не могу больше ждать!

Ватутин встал и обошел вокруг стола. Встал и Береговой. Он был на целую голову выше командующего и шире его в плечах. Чуть сутулясь, он сосредоточенно смотрел Ватутину в лицо, ожидая решения.

— Хорошо,— сказал Ватутин, помолчав,— я подумаю, Степан Петрович... Сейчас у меня народ собирается. Дам ответ завтра...

— Слушаюсь!— четко ответил Береговой.— Можно идти, товарищ командующий?

Ватутин вдруг улыбнулся и сильно хлопнул его по плечу.

— Ну и раздобрел же ты на генеральских харчах, Береговой!.. Не дай бог, тебя ранят, четырем санитарам не унести!

— А меня уже однажды ранили, товарищ коман-

дующий!— Лицо Берегового внезапно подобрело, он улыбнулся и словно помолодел.

Ватутин даже удивился этому мгновенному превращению.

— Ну и как?— спросил он.

— Пять, товарищ командующий! Пять тачили и кряхтели! Желаю здоровья, товарищ командующий!

2

— Куда смотришь?

— На Балканы,— мрачно ответил Ватутин и повернулся от окна к члену Военного совета фронта Соломатину. Соломатин стоял в дверях и посасывал свою короткую трубку.

Командармы только что разъехались. Разговор был большой и напряженный. Еще не оправившись до конца от болезни, позавчера вечером Ватутин отправился в штаб Рокоссовского на Военный совет фронтов. Представители Ставки собрали здесь командующих фронтами и членов военных советов, чтобы еще раз уточнить план предстоящей операции. Много часов подряд план обсуждался во всех деталях. Нужно было разработать задачу, решаемую каждым фронтом на месте, договориться о взаимодействии трех фронтов, наметить окончательные сроки. Было решено Юго-Западному и Донскому фронтам перейти в наступление девятнадцатого ноября, а Сталинградскому — двадцатого.

Вернувшись, Ватутин собрал командармов, чтобы сообщить им директиву Ставки, ввести их в курс многих обстоятельств, которые надо иметь в виду при подготовке наступления. Крайне важно было проверить, правильно ли расставлены силы.

Ватутин утомился. Особенно трудно пришлось с Рыкачевым и Гапоненко. Первый, как всегда, говорил длинно и только для того, чтобы говорить; другой шумел и доказывал, что, отнимая у него стрелковую дивизию и передавая ее Коробову, командование фронта поступает неправильно. Нельзя ослаблять его армию. Гапоненко был человек хозяйственный и прижимистый. Он всегда требовал себе про запас лишнюю дивизию, лишний полк и терпеть не мог, когда у него что-нибудь отбирали. Впрочем, на этот раз он был не так уж не прав. Его армии предстояло прорвать очень сильные

укрепления, которые противник строил несколько месяцев. Ватутин, пожалуй, даже согласился бы с ним, но он получил строгое указание из Москвы передать Коробову именно эту дивизию.

Почему? Ватутин и сам не мог вразумительно ответить. Он должен выполнять приказ точно, как рядовой солдат. И все же, выполняя его, он невольно думал о том, почему, собственно, нужно издалека, за тысячи километров, указывать, какую дивизию и куда поставить. Разве здесь, на месте, ему, командующему фронтом, не виднее, как и где расставить войска? К тому же ведь на фронте постоянно находятся представители Ставки.

Ватутин принял к исполнению указание, но в споре с Гапоненко не чувствовал себя твердо. Сначала он не хотел говорить, по каким мотивам переводит дивизию, но, когда Гапоненко его допек, не выдержал и сказал сухо и строго, что это приказ, а он не подлежит обсуждению.

Однако, добившись своего, Ватутин в глубине души был встревожен. Армия Гапоненко оказалась ослабленной, и он решил посоветоваться с Соломатиным.

Конечно, ни один фронт не может жить и действовать, что называется, самостийно, в отрыве от других фронтов. Он находится в их системе, действует по общему стратегическому плану Верховного командования, и каждый командующий фронтом должен соотносить свои действия с задачами, определяемыми Ставкой. Но ведь он, Ватутин, даже от командиров рот требует самостоятельности, инициативы, чувства личной ответственности.

Слегка покачиваясь с носка на каблук, Соломатин наблюдал за Ватутиным, который, наклонившись над картой, что-то отмечал карандашом, рассчитывал, прикидывал. Наконец лицо его как будто просветлело.

— Ну, нашел выход?

— Намечается. Все зависит от подхода резервов. Направляю сюда танковую бригаду. Она укрепит стыки армий...— Ватутин отошел от карты и устало присел на стул.— Трудно бывает работать, Ефим Григорьевич, очень трудно. Все мы говорим, что люди — главный капитал, а на деле кое-кто поступает совсем иначе. Не ценят людей и не доверяют им как надо. Возьмем хотя бы судьбу Берегового. Ведь его так зажали, деваться человеку некуда. И кто зажал? Тот самый Рыкачев,

который считает, что его самого несправедливо обошли и затирают.

— Да, да,— кивнул Соломатин.— Рыкачев добрых полчаса уговаривал меня забрать у него Берегового. Бойтся, что тот завалит дело. Никак не может ему какую-то давнюю ошибку простить.

— Вот именно. Бойтся простить! А ты знаешь, в чем вина Берегового? Однажды он чрезмерно растянул фланги дивизии и оказался под ударом... Ошибка, разумеется, но ведь и у Рыкачева таких ошибок немало.

— Н-да.— Соломатин медленно прошелся по комнате.— А что, если перевести его к Коробову? Коробов мужик умный, широкий. И не перестраховщик.

Ватутин живо поднял голову от карты:

— А что ты думаешь! Идея!..

В комнате наступило молчание. За стеной попрыгивал движок, и свисающая с потолка лампа ярким светом заливала комнату, освещая большую белую печь, лежанку и выцветшие фотографии на стене, забытые хозяевами. У окна стоял стол с двумя телефонами и книгами, которые Ватутин читал в немногие свободные минуты.

Позвонил с Донского фронта Рокоссовский, спросил, как идут дела у Ватутина. Затем принесли разведывательные сводки. Никаких признаков значительного передвижения частей на стороне противника не замечено.

Часов в пять утра Соломатин отправился к себе, а Ватутин вышел проводить его на крыльцо. Занималась утренняя заря. Вот уже проступили волнистые очертания невысоких холмов, в небе стали меркнуть звезды.

В этот ранний час было так удивительно тихо, как бывает на широких равнинах, когда ночь словно уже прошла, а день еще не наступил.

Ватутин полной грудью вдыхал чистый холодный воздух. Слева, в нескольких шагах от него, неподвижно стоял автоматчик из охраны. Ватутин не видел его лица, но по росту, по ширине могучих плеч догадался, что это сержант Фомиченко.

— Фомиченко!

— Я, товарищ командующий,— зычно отозвался сержант.

— Ночь-то какая, Фомиченко, а!

— Тихая ночь, товарищ командующий, далеко слышно!

— А ты что же слышишь, сержант?

— Ветер от Сталинграда дует... И будто громче там сегодня бьют, товарищ командующий...

Ватутин прислушался. Ни одного звука далекой канонады. Только посвист ветра доносит со степи удаляющийся лязг трактора-тягача.

— Придумываешь ты, Фомиченко,— говорит Ватутин,— ничего не слышно, до Сталинграда далеко!

Фомиченко молчит, но по его молчанию Ватутин чувствует, что автоматчик остался при своем мнении. Ватутин улыбается. Уже многие командиры и солдаты говорили ему, что в тихие ночи сюда через десятки и даже сотни километров доносится грохот битвы. Он не спорил с ними, понимая, что эти люди слушают не ушами, а сердцем. Что ж, если говорить правду, он и сам днем и ночью слышит дальний гул сталинградских пушек.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Последний отрезок пути от Балашова поезд тащился чуть ли не десять часов. Утро выдалось на редкость скверное. Падал липкий снег с дождем. Низкие тучи висели над землей, и от этого медленно кружившаяся за окнами степь казалась особенно сумрачной и пустынной.

Однако в вагоне повеселели. Денек был явно нелетный, так что после всех потрясений минувшей ночи можно было отоспаться и отдохнуть душой.

Когда поезд стал приближаться к станции Филоново, Антон Никанорович собрал в своем купе всех членов делегации и еще раз строго предупредил, как надо вести себя по прибытии на фронт. Всем держаться вместе. Никто не должен отлучаться без особого на то разрешения.

За эти дни тревожного и трудного пути делегаты сблизились и даже, пожалуй, подружились. На огромном заводе многие из них не были даже знакомы, а сейчас им казалось, что они знают друг друга давным-давно.

Вот, например, начальник сборочного цеха Тимофей

Тимофеевич Супрун. До сих пор Марьям думала о нем, как о человеке сухом и нелюдимом, а он, оказывается, совсем не такой, добр, скромен и задумчив. И никакой сухости в нем нет, просто немного застенчив. Они поспорили на несколько отвлеченную тему: бывает ли любовь вечной, а счастье полным. У Супруна на эти вопросы были свои, довольно-таки скептические взгляды, у Марьям — свои. Она не сомневалась ни в вечной любви, ни в возможности полного счастья. Очевидно, в различии их позиций сказывался возраст и особенности биографий. Супруну было далеко за пятьдесят. В вагоне шутили, что на его круглой и лысой голове осталось так мало волос, что пора наконец пересчитать их и взять на учет, а Марьям только начинала жить.

Однако после гибели майора ей было уже не до споров. Она больше думала, меньше говорила, смотрела в окно или делала вид, что читает книгу. Ей хотелось побыть одной, сосредоточиться и понять до конца что-то очень важное и большое, что прошло совсем рядом, вплотную, отбросив на всю ее жизнь густую тень. В первый раз видела она смерть своими глазами, в первый раз ощутила по-настоящему, как она мгновенна и непоправима...

А в соседнем купе старый токарь Василий Ильич Щербаков и бригадир сборки танков Африкан Фадееч Белобородко, человек тоже пожилой, с брюшком, «забивали козла», азартно стуча костяшками о крышку большого чемодана, который заменял им стол. Подальше, в другом конце вагона, хором пели песни. Каждый коротал время, как мог.

Когда поезд стал подходить к Филонову, стук костяшек прекратился, а песня замолкла. Начались быстрые сборы: укладывались чемоданы, увязывались вещевые мешки. Все говорили между собой вполголоса, словно боясь нарушить значительность минуты. Антон Никанорович, одетый в черное кожаное пальто, уже стоял в коридоре у окна и, почти прижавшись щекой к стеклу, старался заглянуть вперед, чтобы первым увидеть тех, кто будет встречать эшелон.

Поезд замедлял движение. Мимо окон проплывали разрушенные станционные постройки, кирпичные стены диспетчерского поста с черными языками копоти вокруг оконных впадин, руины какого-то склада. А потом замелькали на путях пустые платформы и товар-

ные вагоны с настежь открытыми дверями. Их, очевидно, уже успели разгрузить.

Антон Никанорович на мгновение оторвался от окна и повернул к стоявшим за его спиной делегатам вдруг сразу изменившееся, ставшее строгим и серьезным лицо.

— Товарищи! Мы приехали! Готовьтесь выходить!

Кто-то с другого конца коридора ему ответил:

— А как нас встречать будут? С музыкой?

Нефедьев погрозил в ту сторону пальцем, и шутник примолк.

— Марьям, поди-ка сюда!

Марьям оглянулась. За ее спиной в опустевшем купе стоял парторг Коломийцев. Он недавно вернулся с фронта и потому был в военной шинели. В бою под Новгородом рядом с ним разорвалась мина. Чудом уцелели глаза. На художавом обожженном лице синела россыпь точек от ввевшегося в кожу пороха. Правая нога была сильно повреждена, он заметно прихрамывал.

— Что тебе?

— Да поди же сюда.

Марьям вошла в купе. Коломийцев нагнулся к ней и доверительно сказал:

— Мы с Антоном Никаноровичем решили, что если надо будет выступать с речью, то от имени комсомола и молодых рабочих скажешь ты. Понимаешь?

Марьям испугалась. Говорить речь — да еще на фронте!..

— Что же я скажу?

— Ну как это что? Расскажешь, кто нас сюда послал и как люди делали эти танки... В общем, сама сообрази.

— Ладно. Попробую!..

Но все получилось не так, как ожидали делегаты. Презд вдруг остановился. Антон Никанорович быстро соскочил с подножки на землю и сразу же устремился к небольшой группе военных, которые, пересекая пути, направлялись к эшелону.

Марьям вышла из вагона вслед за Коломийцевым и увидела, как Нефедьев сначала обнял, а затем стал горячо трясти руку невысокого генерала, которого окружало еще несколько начальников. По всему было видно, что он среди них главный.

— Кто это? — спросила она Коломийцева, который, поставив свой потертый чемодан около ног, смотрел на

генерала удивленным и радостным взглядом, словно встретил старого знакомого.

— Это генерал Ватутин. Он у нас на Северо-Западном начальником штаба был, — сказал Коломийцев, не оборачиваясь.

— Ну а тех, кто с ним, ты тоже знаешь? Вот этого в очках, например? — допытывалась Марьям.

— Нет, этого не знаю.

Пока Нефедьев здоровался с командованием фронта, перед платформами уже выстроились танкисты. Они стояли в два ряда в синих комбинезонах и черных шлемах. Заместитель погибшего майора, капитан Калашников, скомандовал «Смирно!» и, пружиня шаг, пошел навстречу генералам.

Марьям издали смотрела, как, вытянувшись в струнку и приложив руку к шапке, Калашников рапортует Ватутину.

Ватутин принял рапорт и повернулся к танкистам. Должно быть, он поздоровался с ними, потому что десятки голосов разом крикнули: «Здрас...»

— А вот и наши товарищи, — сказал Нефедьев, подводя генералов к делегатам, которые, немного смутившись, продолжали стоять у вагона. — Это наши герои, передовики. Что ни человек, то золото.

— Здравствуйте, товарищи, с приездом! — приветливо сказал Ватутин и первым протянул руку Марьям.

Она робко ответила на его пожатие. Было ужасно неловко оттого, что эти щедрые слова: «Герои, передовики, что ни человек, то золото» — относятся не к каким-то незнакомым людям, глядящим на нее с плаката, а к ее товарищам и даже к ней самой.

Дальше все пошло как в сказке — стремительно, неожиданно и счастливо. Их рассадили по машинам, Марьям попала в легковую, и повезли прямо туда, где был расположен штаб фронта.

Приникнув к окошку, Марьям во все глаза глядела по сторонам и никак не могла себе представить, что эта проселочная дорога, мокрые кусты, поля, летящие по сторонам, — все это уже и есть фронт. Ну да, самый настоящий фронт, только что не передний край. Значит, они сбываются, наши заветные желания, только надо сильно захотеть!

Радостно встревоженная, уверенная, что теперь

судьба будет подчиняться ей во всем, вошла она в дверь, указанную командиром.

Предчувствие чего-то очень хорошего не покидало ее ни на минуту. Никогда за все пережитые ею два десятка лет не испытывала она такого полного, такого захватывающего ощущения жизни. Все — большое и малое, что удалось ей испытать и запомнить, что радовало и сердило ее, все милые ей люди — и мама, маленькая, робкая, постаревшая, и строптивый, упрямый Федя Яковенко, и Валя, которую она представляла себе почему-то только такой, какой видела в последние мгновения на станции — заплаканной, со сбившимся платком и рассыпавшимися волосами, — все это соединилось в ее сознании в одно неразрывное целое. Это и была ее жизнь, жизнь, за которую отвечает только она сама и которую надо прожить как можно лучше, все равно, будет ли она длинная или короткая.

И мысль о том, что они с Федей в ссоре, что он почему-то не верит ей и не пишет больше, показалась ей просто невыносимой, до того шла она вразрез с новым строем ее души — простым, счастливым и ясным.

А ведь он где-то здесь, Федя, в этих краях... Месяц назад тот раненый лейтенант, что привез от него письмо, говорил ей, где стоит их часть, и даже называл эту самую Балашовку. Правда, письмо добиралось до нее долго. Их давным-давно могли перевести куда-нибудь совсем в другую сторону... Ну, а вдруг он еще здесь, на этом фронте? Что, если бы разыскать его? Она упросила бы Антона Никаноровича отпустить ее к нему на день. Нет, даже на один только час, чтобы самой увидеть Федю и все сказать ему...

Через час гостей позвали обедать в хату командующего фронтом. Когда Марьям вошла, в небольшой комнате, посреди которой стоял стол, составленный из трех небольших, покрытый несколькими наложенными край на край скатертями, было уже полно народу.

Неизменный дорожный спутник Марьям Тимофей Тимофеевич Супрун издали помахал ей рукой.

— Марьям, иди сюда! Мы тебе место оставили.

— Как вы сказали? Марьям? — заинтересовался один из командиров. — Это какое же имя?

— Казахское, — ответила Марьям.

— Вы разве казашка?

— Нет. — Марьям покачала головой. Она привыкла

к тому, что имя ее вызывает некоторое удивление, и начала объяснять, как объясняла уже много раз: — Я не казашка, но мой отец после гражданской войны служил в Казахстане, дрался с басмачами. Под Талды-Курганом его очень тяжело ранили, и он непременно погиб бы, если б не одна тамошняя женщина. Она его выходила, помогла добраться до своих, а ее потом убили за это... Вот в память этой женщины меня потом и назвали Марьям.

Она говорила негромко, но чувствовала, что к голосу ее прислушиваются. В глазах, обращенных к ней, блеснуло внимание.

— Занятно! — сказал Нефедьев, когда она замолчала. — А я и не знал. Что ж ты мне никогда не рассказывала?

— А вы не спрашивали.

Вокруг засмеялись. Ватутин хлопнул Нефедьева по плечу и сказал, усмехаясь:

— Вот ведь какое дело, Антон Никанорыч! Не спросишь — не расскажут. И всегда оно так. Спрашивать, спрашивать нам надо побольше, а то с нас спросится.

Он издал, чуть прищурив один глаз, лукаво и добродушно посмотрел на Марьям, и сердце у нее вдруг екнуло.

«А что, если сказать ему про Федю? — подумала она. — Так просто подойти и сказать... Это ничего, что он командующий фронтом, даже еще лучше. Если он прикажет, Федю непременно найдут...»

Выбрать минутку, когда Ватутин окажется один, было не так-то легко. А между тем обед шел к концу. Вот-вот встанут из-за стола, разойдутся — и пиши пропало!

И вдруг Нефедьев, который сидел рядом с Ватутиным, отодвинул тарелку, сказал, что пойдет на ВЧ поговорить с заводом, и направился к двери. Марьям даже охнула тихонько: вот она, минута! Ну, будь что будет! Она стремительно поднялась и подошла к Ватутину. Ватутин взглянул на нее веселым, сузившимся от улыбки взглядом.

— Ну как, девушка! Хорошо устроились? — спросил он.

— Спасибо, очень хорошо, — ответила она. — Гораздо лучше, чем дома.

И тут, как назло, к Ватутину подошел Семенчук и

положил перед ним раскрытую папку с какими-то бумагами.

— Товарищ командующий! К вам срочное дело,— сказал он, пристально взглянув на Марьям, и она поняла, что ей надо отойти от стола, на котором лежат секретные бумаги.

Вздохнув от огорчения, она отступила на шаг, другой. Нет, дальше она не уйдет! Лучше постоять и подождать здесь.

Ватутин прочитал бумагу и сердито поморщился.

— Подумать только! — сказал он строго. — Сообщают только через шесть часов. Передайте ему мой приказ: о таких случаях сообщать немедленно.

Он вернул адъютанту папку и вновь обернулся к Марьям. Очевидно, сообщение было неприятное, потому что в глубине его небольших серых глаз еще таилось затаенное недовольство. Ох, не до нее ему сейчас. Марьям уже хотела было отойти, но Ватутин, поняв ее движение, встал и пододвинул стул.

— Садитесь,— сказал он,— на войне всегда происходит что-нибудь неожиданное и неприятное... У вас кто-нибудь есть на фронте?

Как помог он ей этим вопросом! Она опустила на стул и, сложив руки на коленях, взглянула на Ватутина тем робким и вместе с тем уважительным взглядом, каким ученик смотрит на своего учителя, готовясь спросить у него о чем-то особенном, своем, не относящемся к программе. Ватутин это заметил и кивком головы поощрил ее.

— Ну, ну?..

— У меня к вам... большая просьба... Я не знаю даже, как объяснить,— сбивчиво начала она. — Мне нужно узнать, к кому здесь обратиться... Мне надо выяснить, служит ли на вашем фронте... один человек... простой солдат.

— Солдат? — переспросил Ватутин. — Это дело довольно сложное. Кто он — пехотинец, сапер, танкист?

— Он писал мне, что разведчик. Его фамилия Яковенко! Федор Яковенко!..

— Странно, эта фамилия мне что-то знакома,— нахмурил брови Ватутин. — Яковенко... Яковенко... Пойдите! Кто мне о нем говорил? — Он вдруг энергично взмахнул рукой: — Как же! Есть такой Яковенко. Правильно!.. Разведчик.

— А его зовут Федор? — спросила Марьям, удивляясь тому, что Ватутин знает солдата.

Ватутин усмехнулся:

— Вот как зовут его, право, не знаю. Но это можно быстро выяснить.

Он подзвал Семенчука и, коротко объяснив, в чем дело, приказал ему навести справку.

Марьям обрадовалась. Как все оказалось просто! Она так широко улыбнулась, что Супрун, глядевший на нее с другого конца комнаты, подумал, что эта улыбка относится к нему, и улыбнулся в ответ.

— Ну, вот дело и сделано,— сказал Ватутин, видимо довольный тем, что смог оказать ей услугу. — А кто он вам? Родственник?

— Нет.

Марьям не прибавила ничего больше, и Ватутин понимающе умолк.

После обеда выяснилось, что торжественное вручение танков корпусу Кравченко состоится только через три дня, а пока делегатам предлагают поехать по частям, встретиться с солдатами.

Марьям обрадовалась: значит, у нее есть время! Если Федор найдется, она успеет побывать у него. Между тем у Нефедьева кроме выступлений перед солдатами оказались и другие важные заботы. Он не просто в гости приехал на фронт. По заданию Государственного Комитета Обороны он должен был встретиться с танкистами и в боевых условиях проверить, как действуют усовершенствования, которые внесены в конструкцию танков. К вечеру, захватив с собой Супруна, Прокопыча и Василия Ильича, он уехал в штаб Рыкачева.

2

Марьям пригласили в дом, где ей уже была приготовлена койка.

— Мы вас поселим вместе с нашей врачихой,— сказал ей по дороге комендант штаба, пожилой подполковник, едва заметно хромавший на левую, очевидно, раненную, ногу. — Женщина она суровая, но молодежь любит. Вы с ней будьте поласковой...

Марьям улыбнулась. В тоне ее провожатого было что-то отеческое, наставительное, но к кому оно отно-

силось, к ней или к врачихе, Марьям так и не поняла. Впрочем, это и не имело значения.

— Сюда, сюда, девушка!

Вслед за подполковником Марьям поднялась на крыльцо небольшого старого дома, прошла низкие темные сенцы и вступила в маленькую комнатку.

— Прошу, как говорится, любить и жаловать,— прогудел подполковник, останавливаясь посредине комнаты.— Вот ваши апартаменты. Познакомьтесь, это майор Ольга Михайловна. Так сказать, наш штабной костоправ...

Навстречу Марьям с табуретки поднялась стройная молодая женщина с темными глазами, которые смотрели удивительно мягко и приветливо. Она протянула Марьям руку:

— Здравствуйте! А я вас жду с утра. Мне говорят — будет гостья... Молоденькая и хорошенькая...

— Как видите, мы вас не обманули,— сказал подполковник и козырнул Марьям.— Ну, счастливо оставаться. Приятно побеседовать! А у меня еще дела!

Он шумно вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Оставшись наедине с незнакомой женщиной, Марьям вдруг смутилась. Она поставила чемодан посредине комнаты и опустилась на край табуретки так, словно должна была быстро уйти.

Но через несколько минут она уже весело смеялась. «Суровая врачиха» оказалась женщиной общительной, с юмором. Она рассказала занятную историю об этом самом коменданте штаба, который однажды решил проверить бдительность охраны, а в результате минут сорок лежал посредине огромной лужи, куда, невдалеке от своего поста, его уложил бдительный часовой. А так как часовой разгадал немудреную хитрость коменданта, то и не торопился с вызовом начальника караула.

Комната, где поселилась Марьям, была небольшой, с одним оконцем, по бокам которого вдоль стен стояли койки, застланные зелеными ворсистыми одеялами. Поближе к окну был придвинут небольшой стол, покрытый белой скатеркой, а на нем в стеклянном графине рдели ветки спелой рябины. И оттого что в комнате было чисто и прибрано с той тщательностью, в которой чувствовались женские руки, Марьям как-то быстро расположилась к своей новой знакомой.

Ольга Михайловна согрела чайник, и скоро они бе-

седовали о жизни, попивая горячий чай из больших эмалированных кружек. У Ольги Михайловны нашлись конфеты, а Марьям достала баночку с вишневым вареньем, которую на всякий случай захватила с собой.

Марьям рассказывала ей о своем детстве, о матери, о жизни на заводе, не говорила только о Феде. А именно о нем ей и хотелось говорить. С того момента, как возникла надежда, что его можно найти, она вся внутренне напряглась. Не забудет ли майор навести справку, а если наведет, то знает ли, где ее найти? Если бы она могла, то побежала бы сама искать адъютанта. Как только за окном кто-нибудь проходил, Марьям быстро поворачивала голову, а однажды человек прошел быстро, и она невольно привстала, чтобы его рассмотреть.

— Вы кого-нибудь ждете?—спросила Ольга Михайловна, удивленно взглянув на Марьям.

— Нет, нет,— быстро ответила она,— просто мне показалось, что прошел один из наших.

Ольга Михайловна много расспрашивала ее, но почти ничего не говорила о себе. Однако Марьям заметила на подоконнике, рядом с ее койкой, портрет красивого молодого парня лет двадцати. Он был чем-то неуловимо похож на Ольгу Михайловну, а непокорно свисающим на лоб светлым вихром напоминал Федю.

— Это ваш брат?—спросила Марьям, беря портрет в руки.

Ольга Михайловна помедлила с ответом.

— Это мой сын Валька,— сказала она.

— Ваш сын!.. Такой большой!—удивилась Марьям.

— Да, такой большой!—улыбнулась Ольга Михайловна.— Не хотела признаваться, да не могу.

— А где он?

— Здесь на фронте... Уже танкист...

— Танкист?!—Марьям с новым любопытством стала рассматривать фотографию.

Валька был изображен на ней в пиджаке и в белой рубашке без галстука, с расстегнутым воротом. У него было такое юное лицо, что трудно было представить, каков этот мальчик в военной форме.

Ольга Михайловна взяла фотографию из рук Марьям и поставила ее на место.

— Это все мое богатство.

— А где ваш муж?—спросила Марьям. Ей каза-

лось, что у этой женщины должен быть хороший и тоже красивый муж. Такая женщина не может быть несчастлива.

— Он тоже на фронте,— сказала Ольга Михайловна.

— И вы получаете от него письма?

— Изредка получаю,— кивнула она.

— Он вас, наверно, очень любит.

Ольга Михайловна заглянула в ее чашку.

— Дайте-ка я вам налью, Марьям. Хотите сгущенного молока?

— Нет, нет, я люблю сгущенное молоко есть прямо из банки.

Ольга Михайловна достала из шкафа открытую банку и поставила перед Марьям. Та зачерпнула полную ложку, долго не могла оторвать ее от длинной золотистой змеи, которая тянулась вслед за ложкой, а когда наконец справилась, даже закрыла глаза от удовольствия.

— Ну и сладкоежка,— засмеялась Ольга Михайловна,— совсем как мой Валька...

В сенях застучали чьи-то шаги, кто-то стал шарить по двери в поисках ручки. Ольга Михайловна встала и распахнула дверь.

— Входите!

На пороге появился Семенчук. Он немного запыхался от быстрой ходьбы. По улыбке на его лице Марьям сразу поняла, что он пришел с хорошей вестью. В руках он держал голубой бланк телеграммы.

— Добрый вечер,— сказал Семенчук, кивая Ольге Михайловне.— Так вот я вам пришел доложить, дорогая делегатка... Найден ваш Яковенко! Служит он в дивизии Чураева.

— Присаживайтесь, присаживайтесь,— стараясь скрыть волнение, сказала Марьям.

— Да нет, я отлучился на минутку. Командующий может вызвать.

— А как его зовут, вы узнали? — все еще недоверчиво спросила Марьям.

Семенчук взглянул на телеграмму.

— Федор Николаевич.

— Это он,— сказала Марьям, и глаза ее радостно заблестели.— А мне можно будет с ним встретиться?

Семенчук как-то смущенно посмотрел на нее.

— Вообще-то, конечно, можно,— сказал он.

— А почему вы говорите так неуверенно?

— Нам, видите ли, сообщили, что он ранен. Правда, не очень серьезно, но все-таки находится в госпитале.

— Тогда уж я обязательно должна его повидать,— настойчиво сказала Марьям.— Обязательно! Это... это дорогой для меня человек. Очень вас прошу, товарищ майор. Помогите мне добраться до госпиталя,— повторила она, вдруг ясно представив себе, как Федя лежит на койке, весь перевязанный бинтами, беспомощный и одинокий.

Семенчук смягчился и сказал, что поговорит об этом в Политуправлении. Очевидно, завтра утром в армию Коробова поедет кто-нибудь из инструкторов и заберет ее с собой.

А когда он вышел, Марьям вдруг закрыла лицо руками.

— Что ты, Марьям,— мягко сказала Ольга Михайловна.— Вы наверняка увидите... Если хочешь, я постараюсь связаться с тем госпиталем, где он лежит.

Марьям быстро собралась и побежала искать Нефедьева, но его нигде не было. Как же быть? Она очень беспокоилась, что нарушит его строгий приказ — никуда не отлучаться без разрешения. Она разыскала в одном из соседних домов парторга Коломийцева, которого директор оставил вместо себя за старшего. Коломийцев писал письмо домой и так был занят своими мыслями, что не сразу понял, чего, собственно, она от него хочет, а когда понял, то посадил на письмо кляксу и чуть не сломал перо. Ехать в армию? Неизвестно куда? Одной? Это, голубушка, не увеселительная прогулка! Он колебался, брать ли на себя ответственность перед Нефедьевым за это разрешение. Но она с такой мольбой смотрела на него, так требовала, так сердилась и уговаривала, что он не выдержал и сдался: «Поезжай, но только на одни сутки. Туда и назад. И чтобы с места прислала телеграмму».

Марьям вернулась обратно, когда уже стемнело. В комнате не было света. Марьям решила, что Ольга Михайловна уже легла спать, и оцупью нашла свою койку. Но хозяйка дома еще даже не раздевалась, а как оставила ее Марьям у стола, так она и просидела все это время.

— Вы думали? — спросила Марьям.

— Да, думала, девочка,— сказала Ольга Михайловна.

И Марьям показалось, что она без нее плакала.

— Вы очень одиноки?— спросила Марьям, помолчав.

— Нет, что вы! Я не одинока... У меня ведь есть и сын... и муж...

— Вам очень трудно?..

— Нет-нет,— сказала Ольга Михайловна,— просто, глядя на тебя, я вспомнила и свою молодость... А это было очень, очень давно...— Она нашла в темноте руку Марьям.— Я желаю тебе счастья, Марьям. Настоящего, большого. Такого, какого ты достойна... Ты хорошая...

— Вы еще меня совсем не знаете...

— Я это чувствую... Вижу... Ну, не будем об этом говорить... Хорошо?

Марьям всю ночь не могла заснуть, и когда в семь часов утра за окном остановилась машина, она была уже совсем одета — в пальто и платке. Тихо, чтобы не скрипнуть половицами и не разбудить Ольгу Михайловну, она вышла на крыльцо и почти столкнулась в дверях с батальонным комиссаром, молодым человеком, лет двадцати семи, с еще свежим глубоким шрамом на левой щеке. Шрам этот очень старил его, левая сторона лица казалась на десять лет старше правой.

— Это вы едете?— спросил батальонный комиссар, критически оглядывая ее короткое черное пальто и светлую шерстяную косыночку, которой она повязала голову.

— Я,— сказала Марьям, робая под его придирчивым острым взглядом.

— А вы не замерзнете?

— Что вы? Я привыкла!

— Ну смотрите,— сказал он жестко,— в дороге не жалуйтесь... Вам бы лучше остаться и сперва достать полушубок.

— Нет-нет,— быстро ответила она, боясь, как бы и вправду батальонный комиссар не уехал без нее.— Говорю же вам, я привыкла. Мне не будет холодно.

— Тогда залезайте,— ответил он, повернулся и пошел к машине.

Он сел рядом с шофером, а Марьям одна на заднее сиденье. Машина тронулась.

Батальонный комиссар сидел молча, не оборачива-

ясь и не разговаривая с Марьям. Он был чем-то недоволен и раздражен.

В рассветных сумерках то и дело мелькали силуэты машин, груженных какими-то ящиками, токами, сеном и еще чем-то, что Марьям не успела рассмотреть. Одни грузовики шли к фронту, другие — навстречу. Однако когда совсем рассвело, Марьям заметила, что машин на дороге почти не стало. Кругом расстилались пустынные поля. Высокие бело-серые облака плотно затянули небо. Дул холодный ветер, и Марьям чувствовала, как у нее все больше и больше коченеют ноги. Хотелось спросить батальонного комиссара, долго ли им ехать и когда они будут на месте, но он упорно молчал, а она не знала, как начать разговор.

Однако когда проехали несколько километров, батальонный комиссар вдруг обернулся.

— В Малиновке мне надо будет сойти,— сказал он,— а вот товарищ Воробьев,— он кивнул в сторону шофера,— довезет вас до места... Вы куда едете? Мне сказали, что в армейский госпиталь,— вдруг прибавил он, словно решив наконец завязать хоть какой-нибудь разговор.

— Да, я еду в госпиталь,— сказала Марьям.— А скажите, нам долго еще ехать?

— Я точно не знаю, где он,— ответил батальонный комиссар, сидя вполоборота к ней и неудобно повернув голову, так, чтобы видеть ее хоть одним глазом,— по дороге вы это уточните... В медицинском отделе штаба армии...

— А как же мне его разыскать?

— Ну, это несложно. Товарищ Воробьев вам поможет.— Он опять кивнул на шофера, склонившегося над рулем.— К сожалению, сам я не могу. У меня важное задание...

Последние слова он произнес таким внушительным и серьезным тоном, что Марьям невольно подумала: «Наверное, он везет какой-нибудь секретный приказ, от которого зависит исход большой операции...» И суровость молодого комиссара сразу стала в ее глазах понятной и даже необходимой.

— А далеко еще до штаба армии?— спросила она робко, решив хоть как-нибудь поддержать нить с таким трудом начатого разговора.

— Километров сорок,— прикинул он.— По такой

дороге часа через три приедете... Здесь колдобина на колдобине... Смотрите, сколько грязи! А кто у вас в гостеприимстве? — вдруг спросил он. — Отец, брат?..

— Нет, друг, — сказала Марьям и немножко испугалась: а вдруг на этом сухом и строгом лице появится насмешливое выражение?

Но нет, он кивнул головой и сказал просто и серьезно:

— Это для него будет целый праздник! А он знает, что вы должны приехать?

— Нет. Он вообще не знает, что я на фронте.

— Вы ему не писали?

— Нет.

— Странно, — сказал батальонный комиссар, недовольно поморщившись. — Едете к нему, а не писали!

— Вот увидимся и поговорим.

— «Поговорим, поговорим!» — повторил он. — Вы там в тылу не всегда учитываете, какое значение имеет для солдата письмо...

— Почему? Я это знаю, — улыбнулась Марьям. Чем больше батальонный комиссар втягивался в разговор, тем он казался ей моложе и понятнее. Марьям даже перестала замечать пересекающий его щеку красный шрам с неровными краями, на которых еще сохранились следы ниток.

— Ну, про вас я не говорю, — грубовато сказал он, — но есть такие, такие... Да вот вам пример. Был я недавно в Саратове. В командировку туда ездил... с одним товарищем, — прибавил он. — Так вот мой товарищ увлекся там одной девушкой. Красивая очень. Остроумная... И что же вы думаете? Она ему говорит: «Ты вообще-то парень хороший, но, наверное, не очень нужный!» «Почему?» — спрашивает он. «А потому, что всем людям, которые нужны, дают броню и на фронт не посылают!» Видите, какая птичка попалась...

Он сказал это очень сердито, и Марьям поняла, что о товарище он упомянул только для того, чтобы удобнее было рассказать историю, случившуюся с ним самим.

— А вы не женаты? — спросила она.

Он улыбнулся:

— Нет. Пока бог миловал... Может быть, когда-нибудь и женюсь. Если только сильно полюблю.

— Значит, до сих пор вы не любите? — сказала она с чуть заметной иронией.

— Предпочитаю, чтоб любили меня, — ответил он с каким-то мальчишеским задором.

— Вы большой эгоист!

— Уж лучше быть эгоистом, чем горевать, когда тебя бросают.

— Почему же вас должны непременно бросить?

— Ну, не бросить, так оскорбить, причинить неприятности.

Он, накупившись, замолчал. Очевидно, саратовская девушка еще не была им забыта.

Солнце выглянуло из-за белесых плотных туч и осветило дорогу, поля и дальние холмы, поросшие редким кустарником. Марьям с удивлением смотрела по сторонам. Пустынная земля, которая, казалось, скучала оттого, что по ней не ходят люди, вдруг ожила. Из каких-то незаметных щелей появились солдаты, одни неторопливо закуривали, другие, сгрудившись, беседовали о чем-то своем, третьи просто сидели на земле, представляя солнцу усталые лица.

Ехали еще минут десять. То же холодное солнце. Тот же резкий ветер. Вдруг батальонный комиссар открыл дверцу, пристально взглянул вверх и тут же быстро обернулся к шоферу.

— Стой! — глухим голосом приказал он. — Воздух!..

Шофер мгновенно затормозил машину. Марьям швырнуло вперед, и она больно ударилась о спинку переднего сиденья. Прежде чем она успела что-нибудь сообразить, над ней склонилось лицо ее спутника. Выражение его было напряженное и решительное. Он крепко схватил ее за руку, и, повинувшись его короткому, властному движению, она буквально вылетела из машины и побежала вслед за ним к придорожной канаве.

— Ложитесь, скорее ложитесь! — крикнул он.

Марьям ничком упала на землю и припала к ней всем телом. В то же мгновение она услышала нарастающий шум самолета, который был уже совсем близко и, очевидно, быстро снижался.

И вдруг где-то совсем рядом засвистели пули. Марьям с какой-то неодолимой силой захотелось вскочить и бежать. Но батальонный комиссар заметил ее движение, крепко схватил за плечи, прижал к земле и прикрыл ее голову своей грудью.

Прямо под щекой у Марьям оказался какой-то ребристый камень. Острой гранью он вдавился ей в кожу, и она нетерпеливо дернула головой.

— Спокойнее, спокойнее,— сказал ее спутник властно и придавил к земле еще тяжелее и плотнее.

Опять послышался свист, клекот, частый перестуки пулеметных очередей. Марьям ждала взрыва бомбы, которая, как ей казалось, упала совсем близко. Однако сильнее всего мучил ее вовсе не страх, а желание избавиться наконец от камня, резавшего ей щеку, и от тяжести, мешавшей дышать.

И вот звук моторов стал удаляться. Марьям сделала новую попытку вырваться.

— Тише! Да не рвитесь вы,— зло зашипел у нее над ухом комиссар,— сейчас будет второй заход.

Но Марьям все-таки рванулась, высвободила из-под его плеча голову и, с облегчением чувствуя, что проклятый камень уже не впивается ей в щеку, сильным коротким броском передвинулась к самому краю канавы, чуть приподнявшись, чтобы вздохнуть полной грудью.

— Да не поднимайтесь же, черт вас совсем дерит! — крикнул комиссар, бросил на нее сердитый взгляд и сразу умолк.

«Мессершмитт», снизившись до ста метров, кружил над самой дорогой, обстреливая машину короткими очередями и, очевидно, стараясь накрыть тех, кто прятался в канаве. Очередь словно крупным градом пересекала дорогу. Одна из пуль вдребезги разбила тот самый камень, на котором только что лежала щека Марьям.

Значит, еще мгновение — и эта пуля могла бы пробить ей голову... Марьям невольно зажмурила глаза, ей вдруг стало страшно.

А батальонный комиссар, от опеки которого она так решительно освободилась, схватил автомат, который Марьям видела в машине рядом с шофером и который непонятным для нее образом оказался в канаве, и стал с колена стрелять по самолету. Лицо у него сделалось старое, злое, напряженное, и Марьям, глядя на него, вдруг почувствовала, что у нее самой так же сжимаются челюсти, выпирают скулы, собирается в морщины лоб... Ах, если бы попал! Если бы попал!

Самолет снова ушел по кругу и где-то над холмами стал разворачиваться на третий заход. «Он решил нас

убить», — подумала Марьям и вдруг вспомнила купе и расprostертого на скамейке майора. Неужели сейчас кончится вот этот прекрасный день и она никогда не увидит Федю? Ей стало очень жалко себя...

Батальонный комиссар зорко, как охотник, следил за самолетом. Его губы что-то шептали. Марьям показалось, что он шепчет: «А ну подойди, подойди! Поближе, поближе!..»

Однако «мессершмитт» внезапно изменил направление, круто забрал влево и понесся на юг. Батальонный комиссар приподнялся и закинул голову, ища в небе разгадку этого непонятного маневра.

— Наши! Наши «ястребки»! — вдруг радостно закричал он и, вскочив на ноги, затряс в воздухе автоматом. — Дайте ему! Дайте, ребята! — кричал он вслед двум «якам», которые с разных сторон атаковали «мессершмитт», стремившийся уйти за облака. Но это ему не удалось, потому что сверху, стремительно пикируя, на него падал третий.

На большой высоте началась странная и как будто бы веселая игра. Самолеты кружились, ныряли, опять подымались. Приглушенные расстоянием, как-то поптичьему курлыкали пулеметные очереди. «Мессершмитт» упорно рвался кверху, но никак не мог добраться до облаков. Один из трех «яков» все время нависал над ним.

— Так его!.. Так его!.. — кричала Марьям с какой-то мстительной радостью.

Как ей хотелось, чтобы этот проклятый «мессершмитт» упал на ее глазах! Но бой переместился куда-то далеко, и самолеты стали казаться комарами, которые кружатся в воздухе перед дождем. Разобрать, какой из них «мессершмитт», уже стало невозможно.

— Ну, потерпелись страху? — ворчливо спросил у нее батальонный комиссар, помогая выбраться из канавы. — Смотрите-ка, да у вас щека поцарапана. Платок у вас есть?

— Есть, конечно.

Но прежде чем она успела его достать, он вынул из своего кармана чистый розовый платок и осторожно вытер с ее щеки кровь.

— Уже запеклась, — сказал он, внимательно разглядывая царапину. — При бритье бывает хуже. Вам не больно?

— Нет,— сказала Марьям,— совсем не больно.

Она поправила выбившиеся из-под платка волосы и тут только заметила, что все ее пальто в пыли и грязи. На шинель батальонного комиссара тоже было страшно смотреть.

— Ну, хороший же у меня вид,— сказала Марьям и стала обивать руками полы пальто, на которых, как она ни старалась, оставались серые пятна.

— Придется подождать, пока высохнет,— виновато сказал батальонный комиссар. Можно было подумать, что это по его вине дорога такая грязная и в канаве они валялись только из-за его нерасторопности.

— А куда же попали бомбы?— спросила Марьям.

— Бомб не было. Он нас обстреливал из пулеметов.

— Но ведь я так ясно слышала свист...

— Это он пикировал.

— А зачем же он пикировал, если нет бомб?

— Для нашего устрашения... А вы, оказывается, счастливая,— прибавил он.— Ведь еще чуть-чуть, и он бы в вас попал.

— Боюсь, что да,— ответила она задорно.— Если бы я не высвободила голову из-под вашей руки, моя бедная голова, очевидно, мне сейчас была бы уже не нужна.

— Вполне возможно.— Он усмехнулся.— Но тогда, я думаю, мы были бы теперь в равном положении.

Он сказал это так просто и шутливо... Марьям невольно взглянула на него с удивлением и благодарностью.

А между тем шофер уже вылез из канавы по другую сторону дороги, где он, так же как и они, благополучно отлежался, и похаживал около машины, осматривая ее.

— Поехали, товарищ начальник,— сказал он.— Садитесь. А девушку надо сперва поздравить с первым боевым крещением.

— Это уже второе мое крещение,— ответила Марьям.— Первое было, пожалуй, еще покрепче этого.

— Землю с подбородка, Воробьев, сотри,— сказал батальонный комиссар.

Выбрав на рукаве место почище, Воробьев тщательно вытер лицо и взялся за баранку. Марьям села на свое место и вдруг заметила, что весь задний борт кузова пробит пулями. Воробьев тоже заметил это.

— Крупнокалиберными бил, бродяга...

— Ну, что же ты стоишь, Воробьев! Ехать надо!— строго сказал батальонный комиссар, залезая вслед за Марьям в машину.

— Да, кажись, приехали, товарищ начальник,— сказал Воробьев и, покрутив рычаг, вылез, чтобы осмотреть, нет ли еще где-нибудь повреждений.

Он открыл капот, заглянул в мотор и чертыхнулся.

— Так и есть. Испорчен карбюратор...

— И нельзя исправить?— досадливо спросил батальонный комиссар.

— Никак, товарищ начальник. Сурьезный требуется ремонт.

Батальонный комиссар растерянно поглядел на шофера.

— Что же теперь делать, Воробьев? Ведь до ближайшего автобата километров двадцать.

— Будем ждать, авось кто и подберет,— философски сказал Воробьев.— Вы себе идите помаленьку, а я вас нагоню у кого-нибудь на прицепе.

Батальонный комиссар с надеждой посмотрел на дорогу: авось да покажется какая-нибудь машина. Но дорога в этот час была совсем пустынной. Действовал приказ Ватутина — ездить при дневном свете как можно меньше.

— Делать нечего,— сказал комиссар, вздыхая.— Пойду. Постараюсь добраться до ближайшего штаба. А ты Воробьев, смотри машину не бросай!— добавил он строго.— Жди помощи.— Он задумчиво поглядел на Марьям, видимо соображая, как с ней быть.— Вы тоже лучше оставайтесь здесь и подождите буксира. Иначе идти придется километров двадцать, а то и больше. Обувка у вас слабая... Собоете ноги.

— Нет, я пойду вместе с вами,— твердо сказала Марьям.— Не бойтесь, я дойду. Я и больше ходила.

— Ну идемте... если хотите,— пожал он плечами и, засунув руку под сиденье машины, вытащил оттуда вещевой мешок, в котором по очертаниям угадывались консервные банки и буханка хлеба.— Вот собаки, даже мешок в двух местах прошили.— Он поднял мешок над головой, и Марьям увидела в зеленой плотной ткани два маленьких пулевых отверстия.

При виде этого мешка Марьям вспомнила, что ниче-

го не ела со вчерашнего дня, и ей ужасно захотелось есть.

— Говорят,— сказала она с улыбкой,— что перед походом надо заправляться. Уж не знаю, правда это или нет...

— Вот за это уважаю,— усмехнулся батальонный комиссар.— Терпеть не могу всякие церемонии.— Он положил мешок на переднее сиденье, развязал туго затянутые лямки, выкинул на дорогу пробитую пулей банку и достал большой кусок сыра, хозяйственно завернутого в тряпочку, а потом и полбуханки белого хлеба. Все это он протянул Марьям.— Распоряжайтесь. И нам тоже заправиться не помешает.

— А нож есть?

— Всегда со мной,— ответил хозяйственный Воробьев и, вынув из-за голенища, протянул ей большой складной нож с зазубренным, много послужившим лезвием.

Марьям нарезала сыр и хлеб толстыми ломтями и, вынув себе горбушку, с наслаждением запустила в нее зубы. Батальонный комиссар и Воробьев не отставали от нее.

Хлеб был черствый, сыр очень соленый, но Марьям ела с каким-то особенным удовольствием. «Как странно,— думала она,— это потому, наверное, хлеб такой вкусный, что мы остались живы и вот сидим себе, едим. Значит, душистая горечь подгорелой корочки, щиплющая язык соль — это вкус жизни... А раньше мне почему-то казалось, что человек, переживший такую большую опасность, ни за что не захочет есть. Нет, выдумки не стоят правды. Все надо испытать, только тогда узнаешь наверное...»

Издали донесся нарастающий шум автомобильного мотора.

— А вот и машина,— оживился Воробьев, взглянув на дорогу.

Батальонный комиссар энергично тряхнул головой, расправил плечи и вышел на середину дороги.

Когда машина приблизилась, он поднял обе руки кверху и закричал, как мог, громко: «Стой! Стой!..» Но огромный грузовик неся на большой скорости, и водитель, очевидно, не имел ни малейшего желания притормозить посреди дороги свою машину. Вот он уже в ста метрах. Вот — в пятидесяти... Сквозь переднее

стекло кабины виден шофер. Рядом с ним сидит какой-то командир, воротник у него поднят, шапка нахлобучена до бровей. Он смотрит прямо перед собой, сквозь человека, стоящего на дороге. Видит и не видит.

Обдав их грязью и синим душным перегаром, машина промчалась мимо и стала быстро удаляться. В кузове прыгали какие-то плоские ящики, на ящиках, покуривая, лежали три бойца.

Батальонный комиссар с ненавистью посмотрел вслед машине:

— Вот дьяволы!.. А ведь когда-нибудь сами так же будут сидеть на дороге... Ну, пойдемте!.. Простите, а как вас зовут, девушка? Все забываю спросить!

— Марьям.

— Какое странное имя! Восточное какое-то.

— Казахское.

— Но ведь вы не казашка?

— Нет.— И Марьям опять рассказала про женщину, которая спасла ее отца, а сама из-за этого погибла.

На этот раз рассказывать ей было приятно. Уж очень внимательно и заинтересованно слушал ее спутник.

Когда она кончила, он искоса поглядел на нее и задумчиво протянул:

— Вот оно как! Ну, пойдемте, Марьям.

Он произнес ее имя как-то особенно тепло и уважительно, как будто отблеск того, давнего подвига бросал и на нее свой таинственный, еле различимый свет...

Они двинулись в путь. Отойдя несколько шагов от машины, батальонный комиссар обернулся:

— А ты, Воробьев, жди. Слышишь? За тобой обязательно приедут. Продукты оставляю тебе для усиленного питания.

Первый километр Марьям прошла сравнительно легко. Но потом ноги ее несколько раз провалились в грязь почти по щиколотку, сапоги намокли и стали натирать пятки. Батальонный комиссар шел рядом, чуть сутулясь, изредка поглядывая на Марьям, и, видимо, остро, хоть и молчаливо, сочувствовал ей. Этот косой, встревоженный взгляд придавал ей бодрости, у нее не вырвалось ни одной жалобы.

Мимо проскочило еще несколько машин, но сколько они ни махали руками, ни одна не остановилась. При каждой новой неудаче лицо батальонного комиссара выражало не только досаду, злость, но и лютое сму-

щение. Заметив это, Марьям сначала удивилась, а потом поняла, что он по-мальчишески боится уронить в ее глазах свой престиж. Это почему-то умилило ее, и, чтобы успокоить его, она стала в один голос с ним бранить мерзавцев шоферов.

— А куда вы-то сами идете? — спросила Марьям, когда они прощли километров пять и присели на краю дороги немного передохнуть.

— Я должен помочь организовать хлебопекарню.

— Хлебопекарню? — удивилась Марьям.

Она ожидала какого угодно, но только не такого ответа.

— А вы думали, что мы хлеб из Москвы возим? — резко сказал он, уловив разочарование в ее глазах.

— Нет, не из Москвы. Но я думала, что хлеб пекут где-то в глубоком тылу.

— Для войск, которые на переднем крае, это и есть глубокий тыл. Вы, Марьям, можно сказать, на войне еще не были... Кстати, как фамилия человека, к которому вы едете?

— Яковенко.

— Какой это Яковенко?

— Разведчик. Говорят, он в дивизии Чураева служит. А вы его знаете?

Батальонный комиссар промычал в ответ что-то неопределенное и сухо отвернулся. Марьям огорчилась. «За что он на меня обиделся? — подумала она. — Неужели за этот разговор про хлебопекарню?»

Она не могла знать, что вот уже десять дней во всех беседах с солдатами, которые за это время были у батальонного комиссара, он неизменно приводил как самый типичный пример трусости и паникерства случай с разведчиком Яковенко, принявшим три танка за двадцать. Говоря о Яковенко, он никогда не представлял его себе живым человеком. Он знал только одно: это никудышный солдат, которому место в штрафном батальоне — и нигде больше. И вот эта девушка, красивая, стройная, терпеливая, проехала много тысяч километров, чтобы встретиться с пижоном, маменькиным сынком, который, наверное, рад-радехонек, что его поцарапало и теперь он сможет на законном основании убраться в тыл. А что, если и она того же поля ягода? Он даже покосился на Марьям, чтобы еще раз ее рас-

смотреть. Нет, не похоже. Просто она еще очень молода и не умеет, наверное, разбираться в людях.

Дорога стала спускаться в ложбину. И вдруг за поворотом они увидели грузовик, вокруг которого суетилось несколько человек. У полуторки вместо заднего правого колеса стоял домкрат, а на обочине два человека колдовали над резиновой камерой, которая широким серым кольцом лежала на земле. Третий человек, невысокий, плотный, с красным круглым обветренным лицом, в старой, потертой шинели — по всем признакам интендант, — ходил вокруг машины, с беспокойством поглядывая по сторонам.

— Здравствуйте, товарищи, — подойдя поближе, сказал батальонный комиссар. — Что с машиной?

Интендант досадливо махнул рукой:

— Наскочили на какой-то осколок. Целый час тут возимся, сущее безобразие!

— Куда едете?

— Да недалеко, в Отрожки.

— Вот удача! Нам как раз по пути. Я инструктор Политуправления фронта. А эта девушка едет в штаб Коробова... Подбросите?..

— Пожалуйста, — сказал интендант. — Залезайте в кузов. Там мягко и тепло. Мешки с шапками и тюки с полущубками.

— Издалека везете?

— Да из-под самого Балашова. Уже двое суток не ели, не спали. А приедем — будут ругать, почему долго ездили.

— Кто же это вас будет ругать? — улыбнулся комиссар.

— Ругать всегда найдется кому, — вздохнул интендант.

— Так идите в строй!

Круглое лицо интенданта стало сердитым.

— Это вы мне не первый советуете, — сказал он. — Но я, извините, на все такие советы плюю. Что хотите думайте, а я горжусь тем, что я интендант. Вот, к примеру, если я не привезу вовремя эти самые шапки и полущубки, то целый батальон окажется небоеспособным. Понятно вам это?

— Кто же спорит, — сказал батальонный комиссар, которому стало неловко от этой отповеди. — Вы, интенданты, — великая сила!

— Вот именно,— с достоинством произнес интендант.— Приведи сюда хоть миллион солдат, но если не будет чем возвать да во что их одеть, то армия и с места не сдвинется.— Он повернулся к Марьям и весело сказал:— Теперь понимаете, девушка, что такое интендант?

— Великая сила,— сказала Марьям.

Ей понравился этот словоохотливый невысокий человек, который, очевидно, очень любил свое дело. Когда он, отвернув борт полушубка, полез за папиросами в карман гимнастерки, она заметила на груди у него три боевых ордена. Приметил это и батальонный комиссар.

— Э, да вы, я вижу, заслуженный интендант,— сказал он.

— Ну, это как посмотреть,— я в армии только двадцать лет,— посмеиваясь, ответил интендант.— Есть люди и более заслуженные. Но политработник вы, я вижу, молодой...

— Это верно,— согласился батальонный комиссар.— Я в армии только пять лет.

Камеру наконец починили, и шофер при помощи солдата стал привинчивать колесо на место.

— Скорее, скорее, товарищи,— подгонял их интендант.— Ехать надо!

Минут через десять машина тронулась. Интендант уступил Марьям место рядом с шофером, а сам довольно ловко, несмотря на свои почтенные годы, взобрался в кузов и сел на мешок с шапками. Батальонный комиссар лег на полушубки, а рядом с ним примостился солдат.

Машина быстро побежала по дороге.

Марьям было тепло, и она с благодарностью думала об этом добродушном интенданте, который, наверное, очень устал и которому совсем неудобно сидеть на шапках.

Проехали километров десять. Вдоль дороги замелькали домики, плетни — деревня какая-то. И вдруг кто-то сильно постучал сзади в стенку кабины. Шофер затормозил. Марьям выглянула в окошко и увидела рядом с машиной своего спутника — батальонного комиссара.

— Ну, Марьям, до свидания,— сказал он дружески.— Я уже на месте... А вам дальше ехать. Товарищ

Медников поможет вам добраться до штаба армии. Как приедете, сразу спросите, где санитарный отдел. А уж там все вам расскажут и доставят до госпиталя. Доброго пути. Авось еще увидимся...

Он помахал рукой и пошел, слегка покачивая плечами, к ближайшей хате. Марьям посмотрела ему вслед, и ей вдруг стало жалко, что он уходит. Она вспомнила, как он сердился на нее, как прикрыл собою от пуль, как по-ребячески огорчился, когда машины не хотели остановиться. Да неужели же они и вправду никогда больше не увидятся?

Она высунулась в окошко кабины и крикнула:

— Товарищ батальонный комиссар! А как ваша фамилия?

— Силантьев,— ответил он, на мгновение обернувшись.

Машина побежала вперед, и Марьям тут же потеряла его из виду.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

К себе в штаб Коробов вернулся поздно ночью. Двое суток он провел в войсках. На участок армии прибывали все новые и новые дивизии и полки. Трудностям, казалось, не будет конца, а главное — заедали мелочи: то вдруг выяснилось, что где-то застряли цистерны с горючим и через несколько часов неминуемо остановится весь автотранспорт, то приходилось терпеливо объяснять какому-нибудь недостаточно опытному командиру, как маскировать подразделения в условиях и впрямь более чем трудных. И все это огромное количество крупных и малых дел надо было подчинить одной цели: в самый кратчайший срок создать и как можно крепче подготовить ударную группировку.

Разговаривая с командирами, Коробов приглядывался к ним, стремясь понять, что это за люди, обладают ли они должной энергией и инициативой. Заезжал он и к Чураеву.

Нет, он не во всем согласен с Ватутиным в оценке этого человека. Конечно, у Чураева есть недостатки. Но в деле комдив находчив, мужествен и не прячется от

ответственности. Недели три тому назад разведка донесла Чураеву, что противник вскоре будет заменять свои части перед фронтом его, чураевской, дивизии. Действительно, через два дня, к вечеру, на значительном участке армии гитлеровцы начали усиленную артиллерийскую стрельбу. Чураев позвонил Коробову и сказал, что, по его мнению, противник пытается отвлечь наше внимание и незаметно произвести замену войск. Не случайно же в глубине расположения противника мелькают огни...

— Предположим, не случайно,— сказал Коробов.— Что из этого следует?

Чураев полагал, что это движутся колонны вражеских автомашин, а так как перекрестки тех двух дорог, по которым немецкое командование могло подводить и отводить войска, были уже давно пристреляны, то он просит разрешения открыть огонь. Конечно, в этом был довольно большой риск. Коробов, признать, колебался немного, однако все же разрешил, даже больше того — приказал дивизиону армейской артиллерии поддерживать дивизию Чураева своим огнем. Артиллерийский налет продолжался довольно долго. Коробов, дождавшись рассвета, выслал самолет сфотографировать результаты ночного артиллерийского налета. На фотографии были отчетливо видны разбитые машины и большое количество уничтоженных вражеских солдат. Коробов объявил Чураеву благодарность.

Но этого мало. Удача чураевской операции навела Коробова на интересную мысль. Через несколько дней он распорядился послать две роты саперов на склоны одного из высоких холмов, вблизи от переднего края, с приказом начать рыть окопы, правда, не очень глубокие.

Саперы старались вовсю. С наступлением темноты их отвели, а на другой день они вновь трудились с утра и до вечера. Противник молчал, напряженно наблюдая за тем, что происходило почти у него на виду. К вечеру саперов вновь убрали. А когда наступила ночь, на склоне холма замелькали огни. Их было много, красные, синие, белые, они появлялись то в одном месте, то в другом, то в третьем... И все это непрерывное мелькание и перемигивание издали, должно быть, создавало впечатление большого движения. Очевидно, окопы занимались вновь прибывшими частями...

В эту ночь противник не пожалел снарядов. Он буквально вскопал этот песчаный холм. Если бы действительно здесь были расположены войска, им не поздоровилось бы. Коробов слушал, как бушует вражеская артиллерия, и посмеивался. Так, так, сильнее! Не жалейте снарядов! В землю их, в землю! И уже совсем в хорошее расположение духа он пришел, когда узнал, что не страдал ни один из пятнадцати смельчаков, которые с электрическими фонариками в руках бегали по холму, играя с противником в жмурки. Никто даже не ранен. Он вызвал их к себе и наградил орденами.

Стало быть, выходит, что с Чураевым дело обстоит совсем не так просто... Конечно, надо будет последить за ним повнимательней, построже. Не доверяет он подчиненным, все сам да сам. А это опасно. Ведь не случайно же Ватутин приказал, чтобы во всех частях были организованы группы из находчивых, отважных, умелых людей, которых можно будет забросить в дальние тылы противника. Им предстоит уничтожать штабы, подрывать мосты, наводить на дорогах панику, а для этого нужна самостоятельность, инициатива...

В ожидании наступления Коробов не знал ни минуты покоя. Он работал не смыкая глаз и не покладая рук и требовал такой же работы от своего штаба. И вот тут-то оказалось, что не все люди, которые окружали его в последнее время и которых он до сих пор считал деловыми и надежными, внушают ему одинаковую уверенность. Иной раз сомнения возникали, казалось бы, из пустяка.

Так, например, он заметил, что оперативные сводки перепечатываются машинистками по несколько раз, специально для того, чтобы командарм, член Военного совета и начальник штаба получали их не в копии, а в первом машинописном экземпляре. Коробов удивился:

— Это чье же распоряжение? — спросил он у начальника своего штаба генерал-майора Бельшева, очень решительного на вид человека с круглой бритой головой и резкими чертами лица. В глубине души Коробов надеялся, что это причуды чересчур старательного начальника канцелярии.

— Мое, товарищ командующий,— не без самодовольства ответил Бельшев.

— А зачем это вам нужно?

Бельшев стал длинно и не совсем вразумительно

распространяться о стиле работы и авторитете командования.

Коробов сердито прервал его:

— Делать вам, что ли, нечего, товарищ Бельшев. К чему эта лишняя возня? Авторитет укрепляют другими способами. Давайте мне из-под копирки третий экземпляр, лишь бы он был четко напечатан, не тратьте время зря.

Бельшев молча склонил бритую голову. Очевидно, он гордился заведенным порядком и считал, что командарм недооценивает его административных дарований. Коробов продолжал получать сводки в первом экземпляре и больше не поднимал этого разговора, но Бельшев перестал казаться ему умным и заслуживающим полного доверия человеком.

Зато с Дружининым, членом армейского Военного совета, ему стало все лучше и легче работать.

Правда, трудно было найти человека, который бы так не походил на Коробова, как Дружинин. Вспыльчивый, резкий, чрезвычайно откровенный в мыслях, чувствах, симпатиях и антипатиях, он частенько сталкивался с Коробовым, спорил с ним азартно, пылко и запальчиво. Командарм посмеивался:

— Ну еще бы, Андрей Лукич, ты, конечно, прав. Ты же у нас святой. Я могу ошибаться, а ты — нет, ни в какую! Вот что я тебе скажу: ты, должно быть, романов начитался. Там как только политработник, так обязательно непогрешим и учит уму-разуму командира. Вот и ты меня хочешь учить. Только ученик тебе попался упрямый. Такая, подумаешь, незадача!..

Дружинин знал, что он нетерпелив и способен взрываться даже при самом незначительном накале. Знал, старался сдерживаться и все-таки почти никогда не мог удержаться вовремя. Штабные остряки говорили про него, что это не человек, а «феерия со взрывами», но тем не менее уважали за честность, прямоту и воинствующую ненависть ко всякому — откровенному и скрытому — подхалимству. Однажды с ним произошел такой случай.

Во время бомбежки был тяжело ранен секретарь Военного совета майор Ершов, исполнительный, скромный и добросовестный человек. На его место нужно было назначить другого. Дружинин приказал начальнику отдела кадров подобрать подходящую кандидатуру.

На следующее утро начальник отдела кадров доложил, что подходящий человек найден в резерве. Через полчаса перед Дружининым уже стоял молодой капитан, удивительно вежливый, державшийся с каким-то особенным строевым лоском. Шинель на капитане была тщательно подогнана, сапоги начищены до блеска, ни к чему не придерешься — все на месте и все достойно всяческого поощрения. Однако было что-то очень неприятное в напряженно-угодливом выражении лица, в глазах, которые смотрели не мигая, как бы угадывая желание начальства, в рыжеватых, тщательно подстриженных усиках.

— Так, — сказал Дружинин, исподлобья поглядывая на капитана. — Значит, это о вас докладывал мне полковник?

Капитан вежливо улыбнулся:

— Обо мне, товарищ бригадный комиссар.

— Какая же у вас специальность?

— Я — адъютант, — ответил капитан с достоинством.

Дружинин усмехнулся:

— Что-то я такой специальности в армии не знаю.

Капитан как-то неловко пожал плечами и отвел в сторону глаза. Он привык к тому, что у начальства шутки бывают грубоватыми, но нужно иметь выдержку.

— А у вас есть военное образование? — спросил Дружинин.

— Пехотное училище, товарищ бригадный комиссар.

— И давно вы работаете адъютантом?

— С начала войны.

— Где и у кого?

— На Брянском фронте, — сказал капитан. — При командующем армией. То есть сначала я был адъютантом у начальника тыла, а уж потом меня взял к себе командарм. — Капитан старался отвечать как можно точнее. Он понимал, что этот допрос совершенно законен. Каждый начальник хочет иметь адъютантом удобного, подходящего человека и поэтому должен знать его прошлое.

— А почему откомандированы? — спросил Дружинин.

Ответ капитана был обдуманно туманен:

— В связи с изменившимися обстоятельствами...

— Так, так... — Дружинин с интересом рассматривал этого профессионального адъютанта. — Ну, а теперь что вы собираетесь делать?

— К кому назначат! — вежливо ответил капитан и, заметив, что Дружинин вынул папиросу, машинальным и привычным движением достал из кармана коробок спичек.

Но зажечь спичку он не успел. Дружинин в ярости обрушил на стол всю тяжесть своего пудового кулака. (Когда-то, еще до окончания Военно-политической академии, он был хорошим — классным — спортсменом и до сих пор поднимал двухпудовую гирю, словно она была сделана из картона.) Капитан вздрогнул всем телом, выронил коробок и, в один миг растеряв всю свою завидную выправку, побледнел и попятился к двери.

— От войны прячешься, бездельник! — громовым голосом крикнул Дружинин. — В холуях любишь ходить! Так вот: пойдешь на передовую. Вон, чтобы духу твоего тут не было!..

Через час капитан был уже на пути в полк.

Последствия этой вспышки были для Дружинина совершенно неожиданными. Его собственный адъютант, батальонный комиссар Колесников, человек самолюбивый и обидчивый, услышав этот диалог, тут же подал рапорт с просьбой немедленно направить его на передний край. Дружинин долго уговаривал Колесникова остаться, убеждая, что все высказанное им капитану ни к кому, кроме капитана, больше не относится. Но Колесников стоял на своем, и через два дня Дружинин вынужден был его отпустить.

Секретарем Военного совета стал майор Куликов, добродушный и спокойный человек, попавший в резерв из госпиталя. Куликов упорно хотел возвратиться в свою часть. Но Дружинин настоял, чтоб он остался в штабе армии. А вот адъютанта себе по душе он нашел не скоро.

— Забавно! — сказал Коробов. Узнав об этой истории, он стал гораздо лучше относиться к Дружинину. Относиться лучше значило для Коробова, во-первых, возлагать на человека по-настоящему ответственные дела; во-вторых, говорить с ним попросту, без холодной уклончивой вежливости; в-третьих, открыть для него

запас своего собственного большого опыта и умения обращаться с людьми.

Для Дружинина коробовское отношение к делу было интересно и поучительно. Он был еще молод, ему недавно исполнилось тридцать пять лет, а решать ему приходилось вопросы сложные, тонкие, не предусмотренные никакими инструкциями. Вот, например, случилось ему присутствовать на партийном собрании в одном из полков. Принимали в партию. Очередь дошла до одного солдата — храброго разведчика, который привел в плен пять гитлеровцев и уже успел получить два ордена. И вот с места встает молодой парень, красивый, статный. Ему говорят: «Расскажи свою биографию!» Боец топчется и молчит. Потом говорит: «Я, товарищи, ошибку сделал, что в партию заявление подал. Прощу меня не разбирать». Ему кричат: «Петров, брось глупости болтать! Расскажи о себе!» — «А что мне говорить, у меня судимость — пять лет». — «За что?» — «За хулиганство. Я человеку голову разбил... И вообще я не Петров, а Козлов. Я из лагеря сбежал». Собрание притихло. Все смотрят на члена Военного совета — что он скажет. Дружинин нашелся: «Надо, товарищи, прежде всего снять с него судимость, а уж потом решать». Так и постановили. А на другое утро из дивизии сообщили: Петров опять отличился в разведке, подорвал вражеский броневик, сам ранен. Спрашивают, награждать ли его орденом? Конечно, наградить. Человек заслужил его кровью. А вот принимать ли в партию? Дружинин колебался — случай исключительный. Он решил рассказать о нем командарму.

Коробов молча выслушал его.

— А сколько ему лет, этому Петрову — Козлову?

— Двадцать три.

— Так. Стало быть, если не убьют, проживет еще верных пятьдесят — шестьдесят лет. Неужели же ему всю жизнь носить такое тавро? Хулиган, преступник... Ведь он великолепнейшим образом мог обо всем умолчать. Однако не умолчал. Дело свое делает блестяще. Все время на переднем крае... А что из лагеря сбежал... Ну, так ведь не в Ташкент, а на фронт. Да и что там такое натворил, чуть ли не в детстве? Подрался, говорят... Жил, верно, где-нибудь в общежитии. Никому до них дела не было. Ну вот он и сбился с панталыку... Вам, конечно, и книги в руки, но если бы меня спросили, как

старого партийца, я бы сказал — принять... только, конечно, под настоящей фамилией... А судимость надо снять немедленно!

Дружинин мрачно кивнул:

— Вот это вы правильно советуете. А я, вместо того чтобы твердо сказать «да» или «нет», попросту нашел удобную форму, чтобы прекратить обсуждение и отложить дело. Хорошего мало...

— И плохого немного. Лучше отложить дело и подумать, чем напороть какой-нибудь ерунды.

2

Уже третий день продолжались учения в ближнем тылу дивизии Чураева. На холмах и на склонах оврагов были построены укрепления, которые представляли как бы оборонительную полосу противника. Место выбрали удобное для обороны и трудное для наступления. Снова и снова подрывали саперы воображаемое минное поле, и в открытые ими проходы устремлялись танки. Танки с ревом мчались вперед, прикрывая пехоту, взламывая оборону противника. Стараясь не отстать от машин, вслед за ними, стреляя на бегу, бежали пехотинцы. Достигнув намеченных рубежей, кидались в атаку и, сломив сопротивление противника, устремлялись вперед, туда, где их ждали новые препятствия.

Вооружившись ножницами и соломенными матами, они ползком пробирались по минному полю вслед за саперами. Учились, как надо находить заминированные места и обезвреживать мины, как перебираться через густые — в три ряда — проволочные заграждения, то перекидывая через них маты, то перекусывая ножницами толстую железную проволоку, колючки которой рвут одежду и глубоко впиваются в тело.

Эти учения были несравнимо труднее любых самых сложных маневров мирного времени.

Солдаты и офицеры устали, но Коробов требовал от своих комдивов, чтобы они ставили перед частями все более сложные задачи. Временами командиры полков, батальонов и рот должны были действовать так, словно всякая связь со штабом потеряна.

По долговому боевому опыту Коробов знал, как мучительно труден прорыв укрепленной полосы, как много коварных неожиданностей таит каждая складка

местности. Пехота прорвется через один рубеж, и кажется, что за ним уже полный простор, иди куда хочешь, но вдруг опять начинается канонада, опять минные поля, опять ряды проволочных заграждений, опять дзоты. Люди устали, изнурены, сосед справа ранен, сосед слева убит, а надо идти, бежать, ползти, боем отвоевывая каждый шаг, непрерывно стремясь вперед. Да, для такого испытания нужна тренировка, нужен опыт, нужно исключительное напряжение всех сил, а главное, нужна вера в то, что жертвы не будут бесполезны, тогда ты победишь.

Но как ни трудны, ни утомительны были учения, никто не роптал. Каждый солдат и офицер понимал и чувствовал, что сейчас на этих холмах и в этих оврагах решается не только успех общего дела, но и вопрос жизни и смерти любого из них. Поэтому все трудились изо всех сил.

В этой большой напряженной работе главная цель была развить самостоятельность, инициативу и сметку у каждого солдата, офицера и генерала. Привычка то и дело оглядываться назад, на начальство, вдруг сделалась опасной привычкой. Начальство могло и не погладить за нее по головке.

В начале октября был упразднен институт комиссаров. Командирам, в том числе и майору Дзюбе, было приятно такое доверие. Но если раньше Дзюба делил с Жигаловым ответственность, то теперь все надо было решать самому, на свой страх. Правда, в Чураеве он чувствовал крепкого начальника, который держит в руках все нити и думает за него, Дзюбу. Иногда это даже было удобно, иногда — досадно. Но в конце концов ко всему привыкаешь. И теперь, во время учения, он часто обращался к Чураеву за указаниями, даже тогда, когда это совсем не так уж было необходимо.

Чураев для вида журил Дзюбу за недостаток самостоятельности, однако же подсказывал нужное решение не только с удовольствием, но почти что с торжеством.

Из всех людей дивизии он один оставался на этих учениях холодным и предубежденным.

Настоятельные напоминания Коробова о том, что надо предоставить командирам побольше инициативы и свободы, он принимал как личное оскорбление, и каждый запрос подчиненного казался ему доказательством собственной правоты и неправоты начальства.

И, скрывая это от самого себя, он тревожно и жадно ждал очередной ошибки подчиненного или смущенного, полного смятения и неуверенности вопроса по телефону: «Как быть?»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Когда Марьям наконец добралась до госпиталя, где должен был находиться Федя, ее ждало горькое разочарование. Оказалось, что как раз в те часы, когда она брела по дороге вместе с батальонным комиссаром Силантьевым, Федя был выписан и направлен обратно в свою часть.

Марьям чуть не заплакала. Где она будет искать эту самую часть? Кто, наконец, пустит ее на передовую? До сих пор ей положительно везло. В штабе армии к ней отнеслись чудесно. Начальник политотдела Шибаетов сам позвонил в санитарный отдел, все выяснил, дал ей машину, приказал даже выдать полушубок и шапку, и она стала совсем похожа на солдата. Но что же делать теперь? Возвращаться назад? В штаб фронта? Так ничего и не узнав?..

Совершенно непонятно...

Шофер утешал ее как мог:

— Ничего, девушка! Отвезу в штаб армии к Шибаетову, попроси его как следует. Дело житейское! Неужто не разрешат тебе с дружкой повидаться!

Поехали. Ночь застала их в небольшой заброшенной деревушке. Шофер сказал, что в такой тьме по дороге ехать опасно, да и нет в этом особой нужды. Они здесь остановятся отдохнуть, а с рассветом двинутся дальше.

— Часа за полтора будем дома, на рысях вас доставлю к Шибаетову, девушка,— заверил ее шофер и повернул машину к ближайшей хате.

В это время по той же дороге, но с другой стороны в деревню вошла какая-то воинская часть, судя по виду людей проделавшая длинный и изнурительный марш. Дойдя до середины деревни, колонна остановилась и вдруг рассыпалась. Очевидно, командир дал приказ разойтись по хатам.

Тот, кто побывал в многодневных боях, кто привык

короткие и тревожные ночи проводить в полудремоте у тлеющего на снегу костра, знает, чего стоят крыша над головой и сухое тепло сияющей жаром пылающих углей печки. Но Марьям еще не вполне научилась ценить эти простые радости. Изба, в которую она вошла, показалась ей мрачной и словно дышащей горем.

В ней было пусто, грязно и холодно. На стенах ключьями висели обои. В углу стоял большой старинный комод. Сохранились лавка в углу и несколько табуреток. Да на одной из стен высоко, под самым карнизом, висела поблекшая семейная фотография. Почти половину избы занимала большая русская печь, закоптелая и полная золы. Должно быть, давно уже не касались ее хозяйские руки.

Дом был брошен, люди из него ушли. И никто не мог бы сказать, куда они делись. Может, погибли от бомбежки или немцы угнали их в тыл. А то, может, переехали жить в соседнюю деревню... Кто знает? Изба теперь служила местом отдыха для проходящих войск. И хозяевами на короткое время становились в ней те, кто ее занимал.

Теперь черед хозяйничать тут был для тех, кто сюда пришел.

Марьям и Воробьев уже стали было соображать, как устроиться здесь на короткий отдых, когда дверь с грохотом распахнулась и в избу ввалился добрый десяток бойцов.

— Смотри ты! — закричал один белобрысый и краснолицый, должно быть, присяжный весельчак. — Да сюда уже, никак, квартиранты въехали! Кавалер и дамочка! Разрешите обратиться, гражданка. А не бросите ли вам вашего хахалю, уж больно он рябой да тощий. Я, к слову сказать, не в пример лучше буду...

Марьям ничего не успела ответить. Воробьев шагнул вперед и, нахмутив брови, сделав значительное и серьезное лицо, что-то громко зашептал старшему из солдат, пожилому, усатому, длиннорукому сержанту.

До Марьям донеслось всего несколько слов: «С делегацией рабочей... с самого Урала... Жениха раненого ищет...»

Выражения лиц сразу изменились. На мгновение в избе стало тихо.

Потом краснолицый, которого, видимо, не так-то легко было выбить из седла, просто сказал:

— Я, конечно, извиняюсь. Не знал. Вот мы сейчас затопим, и пуцай гражданка греется.— Его тяжелые сапоги загрохотали по ступенькам крыльца. Через несколько минут в печке уже трещали дрова, озаряя красными отблесками заросшие щетиной лица.

Пожилой сержант, который, очевидно, всюду чувствовал себя как дома, заткнул какими-то тряпками щели в дверях и окнах. В пустой кладовке он нашел деревянные козлы, втащил в комнату и положил на них дверцу от полеманного шкафа. Глядя на него, все захотели устроиться поудобнее. Один из солдат залез на чердак и скоро вернулся оттуда с куском пестрого рядна в руках. Накрыл им лежащую в углу охапку пыльной соломой, и получилась постель — лучше не надо!

На полке стоял графин, разрисованный большими красными цветами. Раньше его, наверное, ставили на стол только в торжественных случаях. Сержант воткнул в горлышко графина свечку. Огонек был маленький, он дрожал от каждого движения, но старательно освещал комнату. Прозрачные ручейки воска стекали по стеклу графина и, твердея, закрывали понемногу красные цветы.

Передовая была уже совсем близко — в расстоянии одного перехода.

В эту ночь дальнобойная артиллерия грохотала без умолку. Временами казалось, что на деревню налетел свирепый шквал. И когда рвался ответный снаряд, изба вздрагивала, как от подземного толчка, и пламя свечи начинало трепетать и чадить.

И все-таки солдаты быстро заснули, прижавшись друг к другу, положив рядом автоматы и подсунув под голоеы вещевые мешки. Только один дневальный сел перед печкой на лавку и стал подбрасывать в топку полешко за полешком.

Марьям не спалось. Она примостилась на другом конце той же лавочки, глядела на бушующий в печке огонь и думала о том, как ей быть дальше. Как исполнить то заветное, давно замысленное — найти Федю и остаться с ним? А мать? Что будет с ней? Как трудно все решать самой. А надо!.. Огонь в печи стал замирать. Запас дров кончался. Дневальный лениво поднялся с места и вышел во двор. За окном стояла глухая, холодная ночь без единой звезды. В избе было почти совсем темно.

Марьям вдруг стало нестерпимо грустно и даже, пожалуй, страшно. Нет, все-таки лучше вернуться.

Вдруг в сенях раздались шаги. Вслед за этим кто-то с силой дернул дверь.

— Кто там? — тихо спросил дневальный.

— Хозяин, — ответили из-за двери. — Отворите.

— Какой там хозяин?

— Обыкновенно какой, здешний, — сказал тот же голос. — Открывайте. Смерз совсем.

— Проходи, у нас и так битком набито, — ответил дневальный и подмигнул Марьям. Он, видимо, решил, что кто-то пустился на хитрость, чтобы забраться в теплую избу.

Человек за дверями потоптался немного, и через секунду стук раздался с новой силой.

— Да говорят тебе, хозяин я...

Марьям испугалась, что он разбудит всех, и тихонько сказала:

— Отворите.

Дневальный покачал головой и отодвинул засов.

На самом пороге, закрывая собой чуть не весь пролет двери, стоял большой, широкоплечий человек. От него несло холодом.

— Ишь ты! Не пускает! — зло сказал он. — Это моя изба. Я домой пришел...

Он решительно переступил через порог, закрыл за собой дверь, огляделся и спросил осторожно:

— А вы кто такие будете? На постоянно здесь или как?

В темноте Марьям не видела его, но по тому, как человек быстро и привычно стукнул засовом, как нащупал возле двери гвоздь и повесил на него одежду, поняла, что он долго прожил в этом доме. И ей захотелось как-то успокоить его.

— Что вы! Мы здесь только переночуем, — ответила она, — а утром — дальше!.. Кто куда...

Он помолчал немного, потом снова спросил:

— Из моих здесь никого не видели?

— Нет, изба была пустая...

— А там кто — на лежанке?

— Да тоже наши бойцы, — сказал дневальный. — Ко-му же еще?

Человек, назвавший себя хозяином, кивнул головой и присел около печи, потирая озябшие руки. Несколько

минут он молча глядел на огонь, потом поднялся, пошарил за печью и вытащил оттуда кочергу. Он пошуровал в топке, подбросил дров и снова уселся рядом с Марьям. Она искоса поглядывала на него. Кто он? Откуда пришел? Одет в солдатское. Но теперь столько людей ходят в солдатском. Наверное, демобилизованный, наверное, ранен был сильно, вот его и отпустили, как Колмийцева.

Должно быть, о том же думал и дневальный.

— Колхозник? — спросил он, свертывая козью ножку.

— Колхозник.

— А звать как?

— Дикий Петр Петрович...

— Раненый, что ли?

Тот слегка пожал плечами.

— И это бывало...

Ему не сиделось на месте. Свеча уже погасла, и только пламя печи слабо освещало комнату. Он прошелся взад и вперед, поднял опрокинутую табуретку, поставил ее возле окна, там, вероятно, было ее постоянное место, взял в руки графин и ногтем очистил залепивший его воск, подошел к комоду и один за другим выдвинул ящики. При этом котелки, стоявшие на комоду, загромыхали.

— А это вы, товарищи, неладно сделали. Зачем комод портить. Он лаком крыт, поцарапается.

Марьям поспешно составила котелки на пол.

Дойдя до того угла, где спали бойцы, он остановился. Постоял, к чему-то приглядываясь, и потрогал край домотканого покрывала, которым было прикрыто сено.

— Так... Стало быть, Марийка воротилась, — тихо сказал он.

— Кто? — переспросила Марьям.

— Это рядом я дочке дал, когда замуж выходила. Она верст за сорок отсюда жила...

Он махнул рукой и опять подсел к печке.

Втроем, по очереди, они подбрасывали в печь дрова, когда пламя в ней опадало и топка наполнялась золотым жаром. Хозяин негромко говорил о своей семье, о деревне, от которой теперь после бомбежек осталось только несколько одиноких домов, о соседях. Расспрашивал дневального, из каких он мест и давно ли на

фронте. Марьям он не задавал никаких вопросов, должно быть, из деликатности.

На рассвете в дверь постучали. В избу вошел молодой боец.

— Дикий, ты чего здесь застрял? — громко сказал он с порога. — Рота скоро уходит. Давай быстрее!

«Вот оно, значит, как», — подумала Марьям.

Солдат молча поднялся, накиннул на себя шинель и в последний раз прошелся по своему дому, хозяйской рукой прикасаясь к вещам. Эти вещи были полны для него особого смысла и значения. Он старался найти в них ответ на все возникавшие в его сердце вопросы, пытаясь угадать по ним, как жили здесь без него его близкие, куда угнал их жестокий ветер войны.

Он не вздыхал и не жаловался, хотя потерял все. У него не было больше семьи, и сам он в своем доме был прохожим.

Бойцы по-прежнему крепко спали. Хозяин постоял немного у двери. Потом словно какая-то неожиданная мысль пришла в голову. Он поставил винтовку в угол, взял лопату и вышел из избы. Через минуту он вернулся, неся большой котел картошки. Поставил его в печь, оглянулся, снял со стены выцветшую фотографию, обтер с нее пыль и бережно положил в карман. Потом надел ушанку и накиннул на плечи вещевой мешок.

— Если кто из моих придет, а вы еще тут будете, — строго сказал он, поглядев на Марьям, а потом на дневального, — передайте, что я тут был, живой, здоровый... А за картошкой присмотрите, чтобы не сгорела. Ребятам скажете — от хозяина...

Он вышел из избы, и вскоре Марьям увидела в окно, как мимо прошел отряд. В строю среди других бойцов она узнала хозяина. И вдруг решение, которое так долго и так мучительно в ней созревало, сложилось окончательно. Она глубоко и облегченно вздохнула и провела руками по волосам.

Через полчаса бойцы поднялись. Она вместе с ними поела хозяйского угощения — рассыпчатой крупной картошки, простилась, и затем шофер, как обещал, «на рысях» повез ее в штаб армии.

Он поглядывал на нее и удивлялся. Ночь не спала, а лицо свежее, глаза блестят, и на губах улыбка, которой вчера он ни разу не видел.

Когда Марьям вернулась в штаб армии, Шибаев уже знал, что она ищет разведчика Яковенко, того самого Яковенко, о котором нелестно писалось в политдонесениях.

Конечно, этот Яковенко не так уж плох, как о нем говорили, но все же он был виноват. А на строгость взыскания в армии жаловаться не положено. Это каждый новичок знает. Тем более что и прорабатывали-то его в товарищеской среде. Шибаев тут же, при Марьям, позвонил Кудрявцеву, и вдруг дело приняло совершенно неожиданный оборот.

— Но это же замечательно! — закричал Шибаев в трубку, и на его длинном лице появилось удивленно-восторженное выражение. — Ну, не ожидал... Признаться, не ожидал, что Яковенко может этакое отколоть!..

Марьям насторожилась: «Что такое отколол Федор?»

— И когда же это произошло? — продолжал допрашивать Шибаев. — Всего час назад? Так... Коробову уже доложили? Как, говорите, зовут пленного? Майор Штеммерлинг? Что показал? Молчит? Ну еще заговорит... А Яковенко вы теперь обязательно примите в партию! С нашей стороны возражений больше нет... Когда вы направите к нам Штеммерлинга? Сегодня!.. Пошлите конвоиром Яковенко. Да, да, обязательно. Тут его сюрприз ожидает... Прощай, товарищ Кудрявцев!

Марьям сидела взволнованная, не зная, что ей делать, как благодарить Шибаева.

— Спасибо, — горячо сказала она. — Это замечательно получилось!

— Ну что вы, — махнул рукой Шибаев, — это просто стечение обстоятельств. Тут неприятность, понимаете ли, одна с Яковенко вышла.

И Шибаев бегло рассказал о случае с танками. Только теперь Марьям поняла, почему помрачнел Силантьев, когда она упомянула фамилию Феде. Так он, оказывается, все знал. И не сказал ни слова. Удивительный человек! И как хорошо, что с Федей все уладилось. Но как он, наверное, намучился, с его-то самолюбием! И как правильно, что она приехала сюда именно сейчас. Увидеть бы его поскорей! Когда он будет здесь? Через два часа? Как это долго!

Зеленоватые глаза Шибаева смотрели на нее со сдержанным нетерпением.

Марьям поняла его взгляд и встала.

— А скажите, товарищ Шибаев, — вдруг спросила она, уже взявшись за ручку двери, — очень трудно остаться здесь?

— То есть... как это здесь? — удивленно спросил он.

— Ну... Поступить в армию.

— Кому?

— Мне, например.

— Шутите?..

— Нет, совершенно серьезно.

— А кем же вы можете быть?

— Я окончила санитарные курсы.

Шибаев смущенно развел руками:

— Почему это вдруг пришло вам в голову?

— Мне не сейчас это пришло в голову. Я думаю об этом очень давно.

— А сейчас решили?

— Решила.

— Твердо?

— Совершенно твердо.

Шибаев поднялся и почесал узкий подбритый затылок.

— Уж не знаю, что вам и посоветовать. Вы здесь, так сказать, на положении гостыи. Член рабочей делегации. У вас свое начальство. Да и к штабу фронта вы ближе. Решайте там. А место мы вам всегда подыщем.

Едва Марьям вышла на улицу, как увидела Силантьева, вылезающего из знакомого вездехода, за рулем которого по-прежнему сидел Воробьев.

— Ну вот. Все в порядке, товарищ начальник. Машину, как видите, поправили, — улыбаясь, сказал ей Силантьев. — А я за вами. Делегация волнуется, начальник Политуправления приказал мне срочно доставить вас живой или мертвой... Ну как, виделись со своим Яковенко? — Он продолжал представлять себе его аморальным субъектом, о котором можно говорить только иронически.

Марьям рассказала о своих неудачах и тут же добавила, что сейчас все уже обстоит замечательно. Яковенко сам, один (она пристально поглядела прямо в глаза Силантьеву) взял в плен офицера и с минуты на минуту должен доставить его сюда, в штаб армии.

— Так уж и один,— с сомнением сказал Силантьев,— наверняка в разведку целая группа ходила...

— Но пленного захватил он сам,— убежденно сказала Марьям.

Силантьев вежливо помолчал, потом сказал, что у него в Политотделе есть дела, но ровно через час он будет ждать ее на этом месте. И пошел к дому.

На смену ему, спрыгнув с верхней ступеньки крыльца на землю, из дома выбежал какой-то веселый парень, кажется, политрук, удивительно моложавый, с маленькими черными усиками, которые, очевидно, по его замыслу, должны были придавать ему солидный вид.

— Пойдемте,— сказал он Марьям,— я провожу вас к разведотделу. Машина подойдет туда.

Через несколько минут они остановились около небольшой хаты, недалеко от поворота дороги, где стоял регулировщик.

— Будем ждать здесь,— сказал политрук, с интересом разглядывая Марьям.

Ему недавно исполнилось двадцать три года, и по складу своему он был романтик. Он мечтал о том, чтобы и к нему на фронт приехала девушка, которую он любит. Но такая девушка жила пока только в его воображении. В жизни он ее еще не встретил. И он немного завидовал неведомому разведчику Яковенко, которого, наверное, сильно любит вот эта статная и красивая девушка.

Штаб армии занимал много домов, поменьше, чем штаб фронта, но все-таки много. Вдали на дороге то и дело появлялись машины. Большинство из них останавливалось на другом конце деревни, и прибывшие шли оттуда пешком.

Марьям почему-то казалось, что пленного обязательно должны доставить на вездеходе, она сразу узнает Федю, который будет сидеть рядом с человеком в немецкой форме. Но уже три вездехода проскочило мимо. В одном она заметила какого-то генерала, осанистого, седого.

— Это наш командующий армией, генерал Коровов,— доверительно сказал политрук, заметив вопросительный взгляд Марьям,— строгий ужасно. Такого перцу дает, другой раз не захочешь...

Марьям кивнула головой. Если говорить по правде, она даже не слыхала, что говорит политрук.

— А вот и приехали!— вдруг воскликнул тот.— Смотрите же! Видите?

— Где, где? — спрашивала Марьям, быстро оглядываясь по сторонам. Ни одного вездехода на улице не было.

— Да вот же, в грузовике!

Марьям увидела полуторку, на которую прежде не обратила никакого внимания, и тихо охнула. Над бортом виднелась голова в немецкой эсэсовской фуражке. Немец, должно быть, сидел на дне кузова. По сторонам от него, опираясь на заднюю стенку кабины, стояли конвоиры, два автоматчика.

Один из конвоиров был уже пожилой усатый солдат, другой — высокий, поджарый, молодой, в туго подпоясанном стеганом ватнике, с автоматом, который он небрежно держал в левой руке, очевидно чувствуя себя героем. «Значит, вот он какой, Яковенко!» — ревниво подумал политрук. До сих пор он никогда особенно не задумывался над тем, как живет и что делает, собирал информацию, составляя политдонесения, которые потом подписывал Шибаев, и ему казалось, что он находится в самой гуще событий. Только сегодня утром на основании материалов, полученных от Кудрявцева, он включил в очередное политдонесение один абзац о подвиге группы разведчиков, упомянул и о Яковенко. Но сейчас ему вдруг подумалось, что подлинная жизнь проходит мимо него и что так больше нельзя. Может быть, уйти из Политотдела, попроситься на передовую?..

Машина, переваливаясь на рытвинах, пофыркивая мотором, медленно проползла мимо. Яковенко даже не взглянул в их сторону.

И вдруг Марьям, выйдя из охватившего ее оцепенения, бросилась вперед и, почти догнав машину, крикнула громко, звонко — на всю улицу:

— Феденька!.. Федя!..

Яковенко вздрогнул, порывисто обернулся, по его худому скуластому лицу волной пробежали испуг, смущение, радость. Он кинулся к заднему борту, да так и замер, вцепившись в него руками. А машина катила все вперед, вперед и, наконец, фырча, повернула за угол.

— Что же это?! — закричала Марьям и в отчаянии повернулась к своему спутнику: — Куда же он? Где его теперь искать?!

— Ничего, ничего,— сказал политрук.— Пойдемте, девушка.

И, грустно понурившись, веселый политрук зашагал впереди нее.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Танки! Куда ни кинешь взгляд— всюду танки. Они стоят в балках, покрытые маскировочными сетками, они притаились в небольших рощицах, их полным-полно в деревнях. Они спрятаны за избами, сараями, амбарами, там, где их не видно, но откуда легко выйти в поле. Их мощная, надежная броня выкрашена темно-зеленой краской, уже обветрившейся от долгих походов: КВ и Т-34. Между машинами расхаживают танкисты в комбинезонах и черных шлемах, готовые хоть сейчас же двинуться в бой.

— Здравствуйте, товарищ Кравченко.— Ватутин пожимает широкую ладонь командира танкового корпуса.— Ну, докладывайте, как ваши дела.

— Товарищ командующий! Танковый корпус готов к бою!

Они стояли около низенькой белой хатки на длинной деревенской улице, покинутой жителями. Поодаль у плетня расположились на обед солдаты; прочно установив меж коленями походные котелки, они неторопливо хлебали суп, пахло капустой, салом. Из хаты, где разместился штаб батальона, с какими-то листками, должно быть, сводками Совинформбюро, выскочил и пробежал к себе в подразделение молодой политрук, одетый во все новенькое: видно, недавно из училища.

Танкист, сидевший на броне перед разобранным пулеметом, обернулся к проходившему мимо танка старшине, который нес в руках ведро, и озорно крикнул:

— Старшина, а по сто граммов сегодня будешь давать?

— Тебе дам двести,— ответил старшина, не оборачиваясь.

— Смотри! Ловлю на слове!

Ватутин невольно взглянул на танкиста:

— Парень, видать, шутник!..

Кравченко засмеялся:

— Да не без того... Это знаете кто? Сын нашего Рыкачева...

— Сын? — удивился Ватутин.— Кто же он?

— Командир танка.

— И хорошо воюет?

— В бою еще не был, но парень как будто неплохой...

Ватутин шагнул вперед.

— Ну, где вы тут расположились?..

— А вот здесь, в хате, товарищ командующий,— сказал Кравченко.— Прошу.— И он широко отворил низенькую скрипучую дверь.

В хате никого, кроме ординарца, не было. Ватутин сел на лавку у окна и огляделся. На него сразу пахнуло чем-то далеким, отодвинутым в самую глубь памяти. Детством... Да, и у них в избе был такой же плотно убитый земляной пол, так же степенно тянулись вдоль стен лавки. У входной двери, в углу, так же стояли тяжелые трехведерные чугуны. Дома, помнится, их было три, а здесь всего один. Нет, и здесь было столько же. Вон на скамье отпечатались еще два круга. Должно быть, два чугуна хозяева увезли, а третий бросили.

Он встал, подошел к чугуну и заглянул в него. Ну да, понятное дело: чугунок с трещиной.

Ватутин прошелся по хате из угла в угол. Потрогал приземистую, выбеленную известкой теплую печь, каким-то особенным мягким, задумчивым взглядом поглядел на вырезные зубцы бумажной шторки, на пожелтевшие полосы кружевных каемок, приклеенных вдоль полок. Вот такими же бумажными кружевами мать любила украшать всякую полочку. Она была мастерица вырезать из бумаги мудреные узоры.

Он несколько минут, прищурив глаза, глядел в одну точку, словно всматриваясь в прошлое.

Потом тряхнул головой и быстро подошел к столу. Не к тому, исцарапанному ножом, тяжелому, старому столу, за которым столько раз собиралась крестьянская семья, изгнанная войной из родимых мест, а к легкому переносному, походному столику, на котором лежали оперативные документы...

— Дайте-ка чаю, да покрепче и погорячее,— сказал он,— и поговорим о делах.

За стаканом крепкого чая Ватутин немного отдох-

нул. Надвигался вечер — один из последних вечеров перед сражением. И странное дело, чем ближе была решающая минута, тем спокойнее становилось у него на душе. Так успокаивается борец, который, ощутив свою силу в полной мере, испытал и проверив ее, знает, что противнику несдобровать. Эта спокойная уверенность в победе, передававшаяся сверху к нему, от него — командирам, командирам полков, проникала все глубже и глубже в сознание каждого бойца, овладевая всем фронтом, и, усиленная в миллионы раз, возвращалась обратно.

— Итак, товарищ Кравченко, — сказал Ватутин, отодвигая стакан, — вам надо выйти в район Калача не позднее чем к исходу двадцать третьего ноября...

2

Марьям стояла в ряду делегатов и слушала, что говорит Ватутин и как отвечают ему директор и другие заводские.

Супрун, Коломийцев... Слушала и почти ничего не слыхала. Стук собственного сердца мешал ей слушать.

Только сегодня утром получила она ответ на свою просьбу, направленную ею прямо к Ватутину.

Сбоку, в правом углу ее письма, стояли два слова, написанные острым красным карандашом отчетливо и тонко: «Просьбу удовлетворить».

Значит, все решено. Завтра утром делегация уедет обратно на Урал, а она останется здесь для новой жизни, которую она сама выбрала. А может, и не для жизни... Стоп! Об этом не надо думать. Надо просто делать свое дело как можно лучше.

Сквозь мягкий туман непрошенных слез (как хорошо, что дует такой холодный, резкий ветер, от которого у многих слезятся глаза!) Марьям исподволь оглядела своих товарищей. «Милые мои, дорогие мои, прощайте! Увидимся ли когда-нибудь?..»

Самое трудное — написать обо всем маме. Как она испугается, как будет плакать! Но что же делать, если ты твердо знаешь, что твое место здесь, а не там.

И Марьям почти увидела перед собой первые строчки этого страшного письма, написанные ее собственной рукой, крупным и не совсем ровным почерком.

«Мамочка, дорогая, прости меня, я не могла иначе! Чуть только я попала сюда, на фронт, сразу же поняла, что тут мне и надо остаться. Я должна быть здесь и делать то дело, которое сейчас нужнее всего...»

— Мы принимаем ваши машины и клянемся драться на них до последней капли крови и победить врага!..

Отчетливый и ясный голос Кравченко как будто разбудил ее и помешал дописать в мыслях начатое письмо.

— По машинам! — скомандовал тот же голос.

И несколько голосов раскатисто и дружно подхватили:

— По машина-ам!

Загremели моторы, и по сигналу, одна за другой, гуськом, машины двинулись к фронту.

Делегаты махали им вслед руками. А танки, гремя и лязгая гусеницами, уходили все дальше. Отсюда начинался их боевой путь, полный опасностей и героического труда.

На другой день, утром, делегация выехала с фронта обратно на Урал. Одним человеком в ней стало меньше. И этот человек был уже не делегатом уральских рабочих, а санинструктором взвода разведчиков в полку Дзюбы.

3

— Марьям!

Марьям оглянулась. Рядом с ней стояла Ольга Михайловна. Она казалась собранной, спокойной, даже в самой манере держаться у нее появилось что-то иное, твердое. Она совсем не напоминала ту женщину, которая предавалась тяжелому и одинокому раздумью в пустой и темной комнате.

Увидев ее, Марьям обрадовалась. Теперь ее и Ольгу Михайловну связывали новые узы. Как хотелось бы, чтоб они были вместе!

— Ольга Михайловна, я остаюсь! — сказала она.

— Где?

— Здесь! На фронте! Буду санинструктором!..

Ольга Михайловна покачала головой:

— Упорная ты. Ну как? Нашла своего Федю?

— Нашла.

— Где? В госпитале?..

— Нет! Он уже снова в разведку ходил. Взял пленного. Я сама видела,—быстро сказала Марьям, боясь, что Ольга Михайловна ей не поверит,—как он его в штаб привез. Говорят, офицер. И с важными бумагами.

Ольга Михайловна помолчала, посмотрела куда-то вдаль, на околицу станицы, где, тяжело переваливаясь на неровностях дороги, прошел бензозаправщик.

— А я ведь тоже в штаб фронта уже не вернусь,— сказала она.

— Куда же вы?

— Еду в штаб Коробова за назначением. Попросилась в полк.

— Хорошо бы туда, где и я,—сказала Марьям.

— Посмотрим... А хочешь, Марьям,—вдруг оживилась Ольга Михайловна,—взглянуть на моего сына?

— Где он?

— Здесь, неподалеку. Я уже у него была. Сейчас он возится с танком, а через полчаса будет свободен.

— Пойдем,—сказала Марьям.

Они медленно пошли через всю станицу. У Марьям еще не было шинели. Но как только все решилось и она перестала думать о возвращении, ей стало легче. Ольга Михайловна также перестала быть для нее просто знакомой, возникали новые связи, новые отношения.

— Теперь я буду уже звать вас не Ольга Михайловна, а товарищ майор,—улыбнувшись, сказала Марьям.

— Ну, это глупо,—сказала Ольга Михайловна.— Со мной эти формальности ни к чему. Они, конечно, нужны, но не между нами... Я постараюсь, чтобы ты была поближе ко мне.

— Как бы это было хорошо!

— Товарищ майор! Товарищ майор!..—крикнул совсем близко какой-то голос, и тотчас, выскочив из-за полуразвалившегося плетня, к ним со всех ног бросился молодой танкист.

— Вот и Валька,—сказала Ольга Михайловна.

Валентин держал в руках какой-то сверток. Расстегнутый шлемофон крепко облегал голову и щеки. В военной форме Валентин казался намного старше того юнца, который был изображен на фото. Это был невысокий крепыш с веселым взглядом небольших светлых глаз.

— А я достал тебе энзе, мать,—сказал он, протяги-

вая ей сверток.—Тут консервы, колбаса и даже шоколад...

— Зачем это мне?—сказала Ольга Михайловна, беря у него сверток. Ей была приятна эта забота.

— Ну, ну, не спорь

Он посмотрел на Марьям, и в его взгляде что-то дрогнуло. Марьям невольно опустила глаза.

— Познакомься! Это Марьям!.. Мы теперь с ней будем служить вместе... Да не смотри ты так на нее... Эта девушка ко про тебя.

— Почему?—засмеялся Валентин.—Ты, мать, заранее не решай... Правда, Марьям?

— Конечно,—сказала Марьям с веселым оживлением, которое заставляло отодвинуться куда-то в отдаленные уголки сердца то тревожное волнение, в котором она жила все эти дни.

Они присели в стороне от дороги на груды бревен. Ольга Михайловна посередине, а Марьям и Валентин по сторонам. Валентин весело рассказывал какую-то смешную историю о поваре, который заснул на танке и чуть не уехал от своей кухни. Марьям посматривала на него, на его открытое, совсем еще мальчишеское, лицо и невольно сравнивала с Федей. И ей было приятно, что Федя выходил победителем. Он и красивее, и выглядел старше сына Ольги Михайловны. Валентин еще и пороха не нюхал, а ее Федя уже получил два боевых ордена.

Потом вдруг, словно исчерпав запас всех смешных историй, Валентин замолчал. Марьям взглянула на Ольгу Михайловну, лицо ее было печально, в углу рта набежали морщинки. Она смотрела перед собой, но мысли ее были где-то далеко...

— Я пойду, Ольга Михайловна, узнаю насчет машины.

Валентин с сожалением посмотрел на нее.

— Успеется еще,—сказал он.—Посидите немного...

— Нет, нет,—возразила Ольга Михайловна.—Иди, Марьям... А потом скажи мне. Поедем вместе.

Марьям улыбнулась Валентину, который подавил вздох, и пошла по дороге.

— Хорошая девушка,—сказал он, когда она отошла подальше.

— Очень хорошая!.. Только у нее есть свой Федя...

— Мне, мать, всегда не везет.

— Повезет. Ты еще очень молод...

Валентин снял шлемофон и положил его рядом с собой. Спутанные светлые волосы упали на лоб, он встряхнул головой, чтобы отбросить их назад. Теперь он казался еще моложе, и Ольга Михайловна вдруг вспомнила, что в детстве он очень не любил, когда она куда-нибудь уходила. Садился на пол и начинал горько реветь...

— Как тебе живется? — спросила она. — Скучаешь?..

Валентин вздохнул.

— Бывает, и скучаю, особенно ночью. Лягу на плащ-палатку, закрою глаза и думаю... Вспоминаю тебя! Где-то ты сейчас!.. А вот отец совсем забыл меня...

— У него много работы.

— Мог бы хоть записку написать. А то даже на письме не ответил.

— Наверное, закрутился в делах... Знаешь, сколько у него сейчас забот... Валечка мой! Смотри, будь осторожен. Ты ведь у меня один.

На дорогу из дома напротив выбежал какой-то танкист и крикнул:

— Рыкачев, к командиру!.. Быстрее!

Валентин соскочил с бревен.

— Ну, до свидания, мама!

— До свидания, сын.

— Ты куда едешь?

— Сначала в штаб армии. А дальше — еще не знаю...

— Напиши...

— Обязательно напишу.

— Рыкачев, быстрее! — крикнул танкист.

Валентин торопливо поцеловал мать в щеку и бросился бежать по тропинке. Когда он скрылся за дверью дома, Ольга Михайловна повернулась и пошла вдоль деревни. Она шла и шла до тех пор, пока вдруг не заметила, что давно уже вышла в открытое поле...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Пятнадцатого ноября штаб Юго-Западного фронта переехал в город Серафимович и находился теперь всего лишь в десяти километрах от противника. По строго-

му приказу Ватутина рубежи южнее города были тщательно укреплены — так, чтобы не пропустить вражеских лазутчиков. Конечно, в таком приближении штаба командующего фронтом к переднему краю был известный риск, но на этот риск стоило пойти. В эти последние перед наступлением, самые напряженные дни близость командования фронта к войскам значительно облегчала управление.

Подготовка к наступлению заканчивалась.

Армии получили наконец долгожданный приказ фронта, первый боевой документ, подписанный Ватутиным за время подготовки к сражению.

Главным силам фронта, взаимодействуя с правым крылом Донского фронта, прорвать оборону 4-й румынской армии, разгромить ее и, наступая на юг, юго-восток, войти в связь с частями Сталинградского фронта на восточном берегу Дона, в районе города Калач, окружить совместно с ними сталинградскую группировку противника и уничтожить ее.

2

Штаб фронта занял почти целую улицу, а для командующего отвели каменное здание школы. После хатки в Филонове Ватутину это помещение показалось почти роскошным. В большой комнате, служившей кабинетом, поставили столы, тотчас же разложили карты, и комната сразу приняла привычный, по-своему обжитой вид, словно хозяин ее работает здесь давным-давно.

Командант штаба доложил, что неподалеку есть баня. Ватутин тотчас же отправился туда и долго мылся, отфыркиваясь и вздыхая от наслаждения. Какое блаженство полежать на верхней полке, окатить себя из ушата холодной водой, охнуть от тысячи иголок, вонзившихся в тело, и почувствовать наконец приятную, освежающую усталость.

Ватутин возвратился к себе с веселым блеском в глазах, ощущая во всем теле прилив бодрости. По дороге ему попадались офицеры и, приветствуя, уступали дорогу. «Откуда это так важно идет командующий фронтом? — не без озорства подумал Ватутин. — Командующий идет из бани!..» И беззвучно засмеялся.

В штабе его ожидало неприятное известие. Серьезно заболел начальник штаба Бобырев. Его уже увезли в госпиталь.

За себя он оставил Иванова. «Молод еще,— подумал Ватутин,— справится ли?» И вдруг усмехнулся. А сам он тоже ведь не старик. Ведь и Рыкачев тоже вот считает его слишком молодым, чтобы командовать фронтом...

Ватутин не стал вызывать к себе Иванова, чтобы ввести его в курс дел, а решил сам пойти к нему посмотреть, как работают офицеры оперативного отдела.

Иванова он застал в яростном споре с полковником Куниным.

Они стояли, разделенные широким письменным столом с наколотой во всю длину картой, и глядели друг на друга ненавидящими глазами.

Коротконогий, приземистый Кунин от гнева покраснел до того, что казалось, кровь вот-вот брызнет у него из щек. Потрясая пухлым кулаком, он что-то кричал, а что — разобрать было нельзя. Слышалось только: «Это ваша вина! Сами потакаете!.. Непростительно!.. Непозволительно!..»

— Что тут у вас случилось? — спросил Ватутин, подходя к столу.

— Разрешите доложить? — шагнул вперед Кунин. Он, видимо, очень хотел рассказать о причинах столкновения, прежде чем об этом расскажет Иванов.

— Докладывайте!

— Полчаса тому назад, товарищ командующий, захожу я в оперативный отдел. И что же вижу? Направленец армии Коробова майор Гришин вместе с подполковником Кравцовым работают над картой, и этот самый Гришин говорит: «В районе высоты «131,5» мы не выдержим, гитлеровцы надают нам по шее». Кравцов ему отвечает: «Ты прав. Оборона здесь никуда, и они нас непременно попрут». Одним словом, черт знает что! Пораженчество какое-то. Я решил вмешаться. Подхожу и говорю: «У вас, товарищи, вредные, упаднические настроения. Высота «131,5» укреплена хорошо»...

Ватутин не дал ему окончить:

— Позовите сюда Гришина и Кравцова. Я сам с ними поговорю.

Через несколько минут оба виновника баталии стоя-

ли перед Ватутиным, а Кунин, присев к столу, метал на них гневные взгляды.

— Товарищ Кравцов, каким делом вы сейчас заняты? — строго спросил Ватутин.

— Отрабатываем вопросы взаимодействия, товарищ командующий, — ответил подполковник и бросил беспокойный взгляд на Иванова, который мрачно молчал, уставясь в лежащую перед ним сводку.

Кравцов еще совсем молод, недавно — ускоренным порядком — выпущен из академии. Но Ватутин знал, что он человек способный и с боевым опытом.

Вот с Гришиным еще совсем не знаком. В штабе он, кажется, недавно, ничем себя пока не проявил и не бредет к тому же, отметил Ватутин, придирчиво оглядывая майора, который, как перешагнул через порог, так и остался стоять, нескладный, с испуганно-удивленным лицом. «Такой может и собственной тени испугаться, не то что противника, — зло подумал Ватутин. — Может быть, в словах Кунина есть доля правды...»

— Доложите, как вы оцениваете возможность противника на том участке, из-за которого у вас произошел спор с товарищем Куниным, — сухо сказал Ватутин, глядя через плечо Кравцова на взволнованное и напряженное лицо Гришина, — да перестаньте топтаться у двери... Подойдите к карте и доложите.

— Слушаюсь, товарищ командующий, — сказал Кравцов и шагнул к разложенной на столе карте.

— Нет, не вы! Пусть товарищ Гришин доложит. Где тут противник может нам по шее наложить?.. Ну, быстрее! Я слушаю!

Ватутин подошел к карте. Кунин вскочил с места.

— Посмотрите сюда, товарищ командующий. Вот эта высота — «131,5»! Она в наших руках и господствует над местностью. Зачем же переоценивать противника? — Он небрежно бросил карандаш на карту. — Вот и доложите, Гришин, свою доктрину товарищу командующему!

Гришин неловко одернул гимнастерку и взял карандаш.

— Это верно, товарищ командующий, — сказал он глухим голосом. — Высота эта сравнительно хорошо укреплена и командует над местностью. Но все дело в том, что противник, который здесь силен, может обойти ее вот по этим оврагам... А резервы, как видите, находятся

далеко. В эту сторону маневр не предусмотрен. — Он выжидательно взглянул на Ватутина.

Тот кивнул:

— Говорите дальше!

— Теперь при нашем наступлении... Опять же мы недостаточно используем эту высоту. Отсюда далеко проглядывается оборона противника. Можно бы нанести удар на всю ее глубину. А артиллерии здесь мало...

Он замолчал.

— Это все? — спросил Ватутин.

— Все, товарищ командующий! — Гришин опять одернул гимнастерку и отошел от карты.

— А вы что можете добавить, товарищ Кравцов?

— У меня дополнений нет, товарищ командующий, — ответил Кравцов. — Полагаю, что майор Гришин прав.

— Ну что ж, — сказал Ватутин, — недоразумение можно считать выясненным. У меня к вам больше вопросов нет. Соображения правильные, и я попрошу товарища Коробова обратить на них внимание. Идите, товарищи!

Кравцов со скрытой насмешкой посмотрел на Кунина, повернулся и незаметно подтолкнул Гришина к двери: «Выкатывайся, друг, поскорей. Чем дальше от начальства, тем лучше».

Но Гришин не успел дойти до порога. Ватутин остановил его:

— Бриться надо, товарищ майор! Увижу еще раз в таком виде, наложу взыскание. И вообще последите-ка за собой, выправка не строевая. Идите...

И, проводив командиров взглядом, в котором уже не было прежней строгости, Ватутин повернулся к Кунину.

Тот как-то весь обмяк, потускнел, съезжился и, потеряв свой прежний задор, молча ждал, что скажет ему командующий.

И дождался.

— Спасибо вам за бдительность, товарищ Кунин, — насмешливо проговорил Ватутин. — А ведь командиры совершенно правы. Они здраво оценили обстановку. Перед самой высотой у противника свежая дивизия. Она может нам всю обедню испортить. — Ватутин помолчал, оглядывая Кунина, который, не зная, куда ему деть руки, то прижимал их к бокам, то прятал за спину. —

И одинаково вредно, товарищ Кунин, как переоценивать силы и возможности противника, так и недооценивать их. Запомните это! Гришин и Кравцов думали, работали, соображали... А вы даже не дали себе труда разобратся в том, что они говорят, или, что вернее, попросту не смогли. Шапками, дескать, закидаем. Трудно, трудно вам будет работать. Можете быть свободны, товарищ Кунин.

Как-то отчаянно махнув рукой, Кунин выбежал из комнаты.

Еще некоторое время Ватутин находился в состоянии глухого раздражения. Конечно, Кунин тупица, и, чтобы скрыть это, он кричит, шумит, размахивает руками и мешает другим работать.

Но ведь сколько умных голов думало, сколько раз прикидывали и соображали, что и как... Да он и сам уже считал, что все в порядке, нигде не подкопаясь. А какой-то плохо побритый майор с растерянным лицом взял и подкопался... Молодчина все-таки! Задал задачу! Придется к этой чертовой высоте выдвинуть артполк. Сказать-то легко, а на деле это вам не фигуру на шахматной доске переставить: перекинул коня с места на место и будь доволен, что сделал верный ход. Нет, перевести целый полк на другой участок совсем не так просто. Надо переставить в другом порядке еще несколько частей, которые должны поддерживать друг друга в сложной системе взаимодействия. Надо подумать и о том, где разместить штабы, наблюдательные пункты, тылы, склады, — словом, думать и думать обо всем, начиная с боевой задачи, которую эта часть будет выполнять, до самой последней организационной и хозяйственной подробности.

Черт подери, а ведь он собирался просто поговорить с Ивановым по душам, ободрить его! И вот вместо этого приходится опять пересчитывать силы и средства, чтобы исправить просчет с этой проклятой высотой.

Но теперь уже необходимости в специальном разговоре с Ивановым, пожалуй, и не было. По осведомленности, которую проявил Иванов, по тем советам, какие он давал, было видно, что нити управления он держит крепко, что он памятливы, обладает необходимым воображением и ясно представляет себе, что получится, если произвести сложную перестановку частей.

Ну вот, Татьяна, ты скоро получишь ответ на свой вопрос. И вы — деды с переправы. Только знали бы вы, как напряжено его сердце в эту звенящую легким морозцем степную ночь.

Домик, стучащий движок. Полководца почему-то всегда изображают склонившимся над картой. А на самом деле все просторы, все леса, балки, изгибы Дона и даже мелких безымянных речушек он видит внутренним зрением, как шахматист, который удерживает в памяти расположение всех фигур, не глядя на доску.

Удивительно, как точно он чувствует упорную и беспокойную мысль Вейхса. Иногда кажется, что они уже давно знакомы и следят друг за другом с прищуром неторопливо целящихся стрелков.

Очевидно, не только поэтам необходимо одиночество, чтобы, оставшись наедине с собой, ощутить движение жизни и полет мысли. Это нужно всем, кто в непрерывном борении ищет свои пути.

Он полулежит на стонущей растянутыми пружинами железной кровати, которая почему-то полюбились коменданту. Он возит и возит ее из одной деревни в другую, вместо того чтобы где-нибудь бросить. И подушка жесткая, вся в куриных перьях, прокалывающих наволочку.

Ну и натопил же ординарец, чтоб его взяла нелегкая! От такой заботы можно угореть.

А форточки в этом деревенском доме нет. Хотя выставь целиком раму.

Какая сложная вязь мыслей. Где-то в ночи медленно поворачивается маховик войны.

Была когда-то юность... Полтавская военная школа... Фрунзе. Вот он идет мимо строя курсантов. Специально приехал на выпуск... Необъятное поле. Говорят, на этом поле когда-то гремела Полтавская битва... О чем говорил Фрунзе?..

Не вспомнить. Ведь минуло почти двадцать лет! Целая жизнь... Нет, он правильно сделал, что поддержал Берегового. Жизнь сильно побила этого человека, но не пригнула, не сломила. Конечно, самым легким было бы от него избавиться, как это хотел сделать Рыкачев.

Усталость берет свое. Мысли то текут лениво, то начинают торопиться, обгоняя друг друга. Но где-то в

подсознании то главное, что он должен понять. Рыкачев!.. Не в нем ли дело? Чего хотел Рыкачев? Лишний раз подчеркнуть, что он, Ватутин, еще молод, что долгие годы провел на штабной работе и у него мало опыта командования. Что ж! В этом есть своя правда. Еще на Воронежском фронте, впервые приняв полную власть над войсками, он понял, как несоизмеримо повысилась его ответственность. Быть начальником штаба и труднее и легче, но не сравнимо с положением человека, за которым оставлено право решающего приказа...

В те далекие годы, когда он вместе с Береговым шагал в курсантской колонне по дорогам Полтавщины в поисках банды Беленького, все было гораздо проще. На плече висела винтовка, пояс оттягивал кожаный подсумок, набитый патронами, а за спиной, в вещевом мешке, в так мерным шагам постукивал котелок.

Мысли уносятся в давнее прошлое, вновь возвращаются к заботам дня. Он снова вспоминает свой последний приезд в Москву, темные улицы, большую квартиру, грустные глаза Татьяны.

Нет, себя не обмануть. Тревожное чувство не оставляет его. Да, черт побери. Рыкачев прав — он молод, и у него есть ошибки. Но что ж теперь делать?.. Звонить в Ставку, просить, чтобы в последний момент его отстранили и назначили на его место другого, более опытного... Хватит ли сил, ума, опыта, воли, чтобы выйти победителем из тех испытаний, которые ему предстоят? Не переоценивает ли он свои силы?

Возможно, спор с Рыкачевым и есть проверка всей его жизни? Еще есть время понять. Выигрыш или проигрыш? Таковы ставки в их споре. Выигрывается сражение — успех, проигрывается — гибель десятков тысяч жизней, новая затяжка войны.

Риск!.. Что было бы на Северо-Западном, если бы он растянул войска? Немцы прошли бы, как вода сквозь решето. Но он боролся, доказывал, убеждал — «везде сие не будешь». Надо нанести удары, чтобы противник считал, что у тебя больше сил, чем на самом деле.

Своя земля!.. Она помогает, как стены родного дома. Победа нужна! Но не менее важна и цена, которая за нее заплачена. Так ли уж важно Рыкачеву, какой ценой он победит?

Может быть, это и есть главное в их споре!

Почему он тогда не спросил Ольгу Михайловну?.. Она умная, помогла бы разобраться в Рыкачеве. Впрочем, жены всегда пристрастны...

Доверие!.. Вспомнил... Именно о доверии говорил Фрунзе.

Береговой, несомненно, поднимется... А Рыкачев?.. Он-то старается заглянуть далеко-далеко — в историю. Какое крылатое выражение: «История рассудит». Нет, их рассудит сражение...

Темная, беззвездная ночь за окном... Чирская! Почему там оказалась танковая дивизия СС? А что, если Вейхс соберет именно в районе Чирской свои резервы? Это вполне возможно. Ведь Паулюс наверняка считает, что со Сталинградом покончено.

Как он устал, как дьявольски устал и не может сосредоточиться на чем-нибудь одном. Заснуть! Нужно заснуть... Обязательно заснуть...

Когда же наконец он напишет письмо Виктору?..

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утро последнего дня перед наступлением Ватутина провел в штабе Коробова. Надо было в последний раз проверить, все ли командиры частей армии, наносящей главный удар, уяснили свою боевую задачу, договорились ли о полном взаимодействии, обеспечены ли части боеприпасами.

Коробов вел совещание командиров и замполитов деловито: коротко, не тратя лишних слов, спрашивая каждого о том, как подготовились к наступлению его части.

Ватутин с напряженным вниманием слушал доклады комдивов, иногда одним-двумя меткими вопросами определял, что и у кого не вполне додумано, не доделано, не уточнено.

Сидя рядом с Коробовым и слушая доклады, то подробные и витиеватые, то суховатые и лаконичные, он оглядывал расположившихся вокруг командиров. Это были уже немолодые люди, за плечами у них были и гражданская война, и долгие годы партийной работы в армии, и Халхин-Гол, и тяготы первого года этой суровой войны.

Но сейчас с каким-то особенным вниманием он смотрел

на каждого из них, подолгу задерживал взгляд то на одном, то на другом лице.

Вот, склонившись над планшетом, что-то быстро записывает полковник Яковлев — командир артбригады. Иногда он вскидывает вверх свое острое, отмеченное редкими крупными рябинками лицо и сосредоточенно глядит на Коробова немигающим взглядом. Рядом с ним удобно расположился на скамейке командир кавалерийского корпуса генерал Свирцевский. Он откинул полы расстегнутой шинели, разложил перед собой на табуретке карту и каждый раз, когда Коробов называет тот или иной населенный пункт, наклоняется над ней, не спеша постукивая карандашом. Весь его облик выражает спокойствие и неторопливость.

Ватутин вспомнил, как однажды на маневрах под Минском Свирцевский попал в трудное положение. Ну и горячился же он тогда — сердился, волновался, весь кипел!.. А теперь и не узнаешь человека, видно, научился сдержанности!

Ближе к дверям сидят два полковника — командиры стрелковых дивизий Чураев и Федоров. Федоров еще недавно командовал полком в Сталинграде, а сейчас во главе новой сформированной дивизии только что прибыл на Юго-Западный фронт. Ну, ну, посмотрим, как-то покажет он себя на новом месте. Ну, а Чураев, этот Чураев... Впрочем, Коробов уверяет, будто он здорово подтянулся и прекрасно провел последние учения. Предположим... Во всяком случае, если не на Чураева, то на Коробова положиться можно.

В самом углу блиндажа, откинувшись к стенке, сидит Береговой. Лицо у него напряженное, озабоченное; он часто искоса поглядывает на Ватутина и сразу же отворачивается, как будто боится встретиться с ним глазами.

Ватутин уже несколько раз наталкивался на его беспокойный вопросительный взгляд. «Вот такое же было у него лицо, — думает он, невольно улыбаясь, — в Полтавской школе, на занятиях по тактике». И чтобы успокоить Берегового, он издала одобрительно кивает ему головой и круто поворачивается к Коробову.

Коробов дает командирам последние указания. Его крупная изжелта-седая голова и широкие костистые плечи склонились над картой, большие руки движутся уверенно и деловито. Когда, обсуждая что-то с полков-

ником Чураевым, он закрывает своей тяжелой ладонью какой-то участок карты, кажется, что вот точно так же — неторопливо, обдуманно и прочно — займет он те километры земли, которые сейчас сеткой условных обозначений лежат у него под рукой.

За недолгое время совместной работы Ватутин оценил в Коробове трезвый ум, спокойствие и твердость, умение рисковать, его готовность просто и щедро отдавать делу все свои силы без остатка.

— Нет ли у вас еще замечаний, товарищ командующий? — обращается Коробов к Ватутину.

— Нет, — отвечает Ватутин, подымаясь с места. — Все уже как будто сказано, Михаил Иванович. Я добавлю всего несколько слов.

Он поднялся и обвел взглядом командиров. В блиндаже стало тихо. Каждый ждал последнего, напутственного слова командующего фронтом.

— Я, товарищи, не буду вас агитировать, — с легкой усмешкой сказал Ватутин. — Вы все здесь люди опытные, сами большие начальники. Я буду следить за успехами каждого из вас. Если будет трудно, сделаю все, чтобы помочь. Но помните: нам много дано, с нас много и спросится.

Коробов отпустил командиров. Блиндаж на минуту наполнился шумом отодвигаемых скамеек, прощальным говором, скрипом сколоченной из сырых досок двери — и все стихло.

— Разрешите закурить, товарищ командующий, — сказал Коробов, доставая папиросы.

В каких бы чинах и званиях ни были военнослужащие, но это неизменное «разрешите закурить» произносится солдатом перед сержантом, капитаном перед майором, генералом перед генералом еще более высокого звания — это неизменный долг воинской вежливости.

— Курите, курите, Михаил Иванович, — сказал Ватутин лукаво. — Но ведь вы, кажется, бросили курить?

— Было такое дело, товарищ командующий, — сокрушенно ответил Коробов, разминая в пальцах папиросу.

— И клялись, что никогда и в рот не возьмете этого проклятого курева! Так ведь?

— Так точно! Этими самыми словами клялся... Но

как начали готовить наступление, так сразу опять и закурил.

— Волнуетесь, стало быть?

— Волнуюсь, товарищ командующий, очень волнуясь. Да и как не волноваться?.. Я примерно подсчитал — мы должны поймать в мешок и запереть несколько сот тысяч гитлеровцев. В истории войн такого еще не бывало.

— Да, в истории войн такого еще не бывало, — повторил Ватутин, прохаживаясь по блиндажу. — Вот ты и представь себе, Михаил Иванович, — усмехнулся он. — В академиях-то наверняка после войны будут изучать, какие решения принимал командарм Коробов, армия которого наступала на направлении главного удара. Смотри, как бы не пропесочили...

Коробов засмеялся.

— И еще как пропесочат. Скажут: опоздал старик ввести в прорыв танки, не использовал такую-то балку для скопления пехоты, замедлил темп, растянул коммуникации... Ну, это все шуточки, товарищ командующий. — Коробов потушил недокуренную папиросу о край медной гильзы от снаряда, заменяющей пепельницу, и поднял на Ватутина усталые серьезные глаза. — А все-таки...

— Что все-таки, Михаил Иванович? — Ватутин подошел к столу и, подвинув стул, сел рядом с Коробовым. — Что все-таки?.. Ты знаешь, сегодня я говорил со Ставкой... Мы не можем не выиграть этого сражения.

— Да. Не можем, — тихо повторил Коробов и, придвинув к себе карту, взял в руки карандаш.

— Скажи, Михаил Иванович, — вдруг спросил Ватутин, — ты хорошо знаешь Берегового?

Коробов насторожился:

— Да, в общем, знаю, конечно... А что, Николай Федорович?

Ватутин постучал пальцами по столу.

— Назначили мы его к тебе, — медленно ответил он. — Боюсь, что ты не очень этим доволен. Но иначе нельзя. Нельзя человека так просто скинуть со счета. — Коробов хотел что-то возразить, но Ватутин предупредил его: — Знаю, знаю! Все недостатки его давно мне известны. Есть в нем недоверие к собственным силам, медлительность, нерасторопность... Надо преодолеть это в нем. Да он и сам к этому стремится. Я ведь его еще с

тех пор помню, когда мы с ним оба курсантами Полтавской пехотной школы были. И вот, поверишь ли, Михаил Иванович, встретил я его через двадцать лет. Смотрю: изменился, вырос, многому научился. Широкие плечи, уверенная поступь, но неуверенный взгляд... Ты, Михаил Иванович, почаще бывай у него в хозяйстве. Ладно?

— Слушаюсь. — Коробов повертел в руках коробку спичек и, положив ее плашмя на стол, сказал, сдерживая недовольство: — А все-таки, Николай Федорович, не могу я на него полностью положиться.

— Поручиться, что он не будет делать ошибок, нельзя, — сказал Ватутин. — Но что он готов отвечать за них жизнью, не бежит от трудностей, не уклончив, не хитер, честен, — в этом я уверен. — Ватутин усмехнулся. — А хочешь, Михаил Иванович, я тебе сделаю одно признание? Я сегодня ночью тоже чуть не закурил. Кажется, третий раз в жизни!

Коробов засмеялся:

— Ах вот как! Значит, и вы, товарищ командующий, волнуетесь?

Ватутин кивнул головой:

— Еще как, Михаил Иванович!

* * *

Группировка войск на всех трех фронтах закончена. От обороны нужно перейти в контрнаступление. От Сталинграда должно начаться изгнание врага...

Гитлеровцы до сих пор не разгадали того, что здесь, в бескрайних степях, собрана мощная группировка войск, на южном берегу Дона и среди озер южнее Сталинграда подготовлены плацдармы для наступления. Теперь оно уже не захлебнется, не остановится. Нацупаны слабые места в обороне противника, на этих направлениях сосредоточены могучие танковые и механизированные силы...

Близок, близок час, когда на рассвете сполохи орудейных вспышек озарят низкие тучи. На фронте все придет в движение. Тогда он, Ватутин, будет прикован на время к столу, телефонам, сводкам, донесениям. Он будет видеть то тревожные, взволнованные, то улыбающиеся, счастливые глаза людей, которые будут входить

к нему, прибыв прямо с переднего края или придя с телеграфа с последней сводкой в руках. И по одному виду этих людей, по выражению их лиц, раньше чем они произнесут лаконичные слова доклада, он поймет, с чем они пришли, с радостной или плохой вестью.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Румынский солдат в короткой шинели и в старой овчинной шапке, натянутой глубоко на уши, сидел посреди землянки на табуретке и с испуганной улыбкой на заросшем черной щетиной лице старательно отвечал на вопросы переводчика, капитана из штаба армии. Капитан переводил каждый ответ румына стоявшему рядом полковнику Дробышеву, который заметно нервничал и просил переводить как можно точнее.

В стороне, у стены блиндажа, за Дзюбой, который тоже присутствовал при допросе, стоял разведчик Зайцев, важно покуривая папиросу (папиросой угостил его сам командир полка) и с улыбкой поглядывая на румына.

Час тому назад он захватил этого солдата невдалеке от переднего края. По правде говоря, эта операция не доставила ему особых трудностей. Когда бойцы из охранения заметили впереди тень человека и уже изготовились было стрелять, Зайцев выругал их на чем свет стоит и, схватив автомат, бросился в темноту. Он решил взять непрошеного гостя живым и, догнав, осторожно стал красться, чтобы напасть внезапно. Но под ногой у него что-то хрустнуло. Человек обернулся на шум и, к удивлению Зайцева, не только не стал стрелять, а тут же бросил оружие, поднял руки и закричал: «Рус, сдаюсь!» Зайцев, конечно, сразу смекнул, что имеет дело с перебежчиком. Но привести перебежчика после всех хлопот — не такое уж геройское дело. Он выстрелил два раза в воздух, а потом, подняв с земли автомат румына, свирепо крикнул:

— Шнель!..

Румын покорно пошел впереди. Зайцев так изобразил дело, что бойцы раскрыли рты, слушая рассказ, как

смело и решительно он действовал, прежде чем этот солдат наконец бросил автомат и поднял руки.

По пути к командному пункту полка Зайцев остановился у землянки, в которой жили разведчики, громко доложил командир взвода о том, что задержал румына, и дал полную возможность попавшемуся на пути Яковенко полюбоваться делом своих рук. Пусть Федор не думает, что он один такой храбрый, есть, может, и другие не хуже его.

Пока Зайцев дошел до блиндажа Дзюбы, он уже сам убедил себя, что, несомненно, совершил выдающийся геройский поступок. До сих пор он ничем не выделялся. А вот теперь налицо его личный пленный, первый пленный, которого он захватил сам... Когда Дзюба объявил ему благодарность, Зайцев принял ее как должную оценку своего подвига. И в самом деле, ведь не рванись он вовремя вперед, румын мог запросто напороться на наши пули.

Дзюба сразу же доложил о захвате пленного командиву Чураеву, тот сообщил командарму Коробову, и через час в землянке Дзюбы уже появились начальник разведки Дробышев и переводчик.

Захват пленного перед началом сражения — дело большой важности. Последняя, самая свежая информация могла помочь правильной оценке обстановки. Дробышева не на шутку тревожил вопрос, кто этот солдат. Почему он оказался у переднего края? С какой целью? Судя по докладу Дзюбы, он оказал сопротивление и был обезоружен. Можно ли доверять его показаниям? Дробышев тщательно взвешивал каждое слово румына. Пленный утверждает, что у них ничего не известно о том, что хотят делать русские. Он слышал, как офицеры между собой говорили, что в обороне придется просидеть всю зиму. Вот он подробно и как будто охотно рассказывает о составе полка, называет населенные пункты, где находится штаб и где стоит артиллерия. Знать это, конечно, весьма важно. Дзюба даже оживился и тут же поставил на карте несколько значков синим карандашом. Но известно ли пленному о более широких передвижениях войск? Не подводятся ли к переднему краю новые части?

— Нет, об этом ему ничего неизвестно, — переводит капитан.

— Пусть теперь подробнее расскажет о себе.

Дробышев внимательно слушает, капитан переводит:

— Его зовут Ион Лука. Он часовщик из Бухареста. Три месяца назад он еще надеялся, что война пройдет мимо него. Но потом он получил повестку: явиться на призывной пункт. Отправили в казарму. Месяц обучали. Потом — эшелон. Восточный фронт. У него трое детей. Он говорит, что ему надо жить ради них. Гитлеровцы заварили эту кашу, вошли в стовор с Антонеску. Но при чем тут он, часовщик из Бухареста? Да провались они к дьяволу — Антонеску и Гитлер! Он, Ион Лука, отец троих детей, проклинает их. Конечно, было страшно перебираться через линию фронта, могли убить ваши и свои, но, слава богу, он остался жив...

Дробышев удивленно развел руками. Почему такое противоречие? Решил сдаться в плен, а сам сопротивлялся? Черт знает, как все запутано! Можно ли ему вообще верить? По опыту Дробышев знал, что пленные, опасаясь расстрела, часто готовы плести невесть что, лишь бы завоевать доверие. Другое дело перебежчики. Их показания более надежны и объективны.

— Спросите-ка у него, — раздраженно сказал Дробышев капитану, — почему он оказал сопротивление, когда его задержали?

Капитан перевел солдату вопрос. Тот испуганно взмахнул руками и быстро заговорил, указывая в сторону Зайцева и как бы призывая его в свидетели.

Переводчик повернулся к Дробышеву:

— Он категорически утверждает, что сдался без всякого сопротивления!

Дробышев стукнул карандашом по бумаге.

— Так кто же тут врет, дьявол их разбери! — крикнул он. — Товарищ Дзюба, кто задержал румына?

— А вот он здесь! Разведчик Зайцев! — сказал Дзюба.

Зайцев стоял ни жив ни мертв. Вот уж он совсем не ожидал, что полковник начнет добираться до истины. Дробышев взглянул на него колким взглядом и сердито спросил:

— Это вы задержали солдата?

— Я, товарищ полковник! — пролепетал Зайцев.

— При каких обстоятельствах?

По тому, с какой настороженной пытливостью смотрел на него полковник, Зайцев понял, что всякое запырательство бесполезно. И вообще, очевидно, знать

правду полковнику нужно для дела, иначе бы он не прицепился так, что руками не оторвешь. Запинаясь и проглатывая слова, Зайцев рассказал все как было.

— Ну вот, наконец-то! — вздохнул Дробышев. — Добрались-таки до истины! Недаром говорят, — повернулся он к полковнику, — что нигде так не врут, как на войне да на охоте!..

— Идите к себе, товарищ Зайцев, — сказал Дзюба, презрительно оглядывая разведчика, — благодарность я снимаю. А вас лишаю своего доверия! И разведчиком вы больше не будете. Ступайте!..

Зайцев, которому недавно исполнилось двадцать лет, совсем по-мальчишески всхлипнул и выскочил из землянки.

Через четверть часа Дробышев и капитан, захватив с собой перебежчика, уехали в штаб армии, а еще через полчаса начались события, которые заставили Дзюбу забыть на время Зайцева и тем спасли его от окончательного бесчестия.

Чураев вызвал к себе командиров частей и предупредил их, что до начала наступления остались считанные часы. Артподготовка начнется по сигналу «Лебедь». Нужно еще раз проверить связь. Телефонисты должны все время держать трубку возле уха...

После этого полковой комиссар Кудрявцев разослал замполитам пахнущие свежей типографской краской пачки. Это было обращение Военного совета фронта ко всем бойцам и командирам. Оно гласило:

«Товарищи бойцы и командиры!

Пробил долгожданный час, сегодня мы вновь идем вперед, в наступление.

Мы честно выполнили приказ Родины — «Ни шагу назад!».

Мы стойко удерживали порученные нам рубежи. Мы не пропустили врага через Дон.

Теперь приказ Родины — «Вперед!». Мы должны его выполнить с честью и самоотверженно».

2

Яковенко, одетый в новый стеганный ватник, вышел из землянки, держа в руках автомат, и остановился в тяжелом раздумье.

Он был не из тех, кто легко падает духом. Он не пал духом и тогда, когда произошла неприятная история с танками, после которой его как паникера стали прорабатывать на всех собраниях.

А история эта, о которой говорили во всей армии, была, пожалуй, не так проста, как это казалось с первого взгляда.

Недели две назад группа разведчиков, в которой был и Яковенко, проникла ночью за передний край противника. Требовалось выяснить, где стоят две тщательно замаскированные батареи, которые вот уже несколько дней стреляют откуда-то из-за укрытия и так хорошо замаскированы, что ни один фотоснимок, сделанный с самолета-разведчика, не обнаружил пока что их расположения.

К концу поиска батареи были обнаружены. Оказывается, гитлеровцы выкопали в холмах ячейки, куда всякий раз после стрельбы откатывали орудия.

Вот тут-то и произошла у Яковенко неприятность, которая ему так дорого обошлась. На пути разведчиков оказался большой и глубокий овраг, незаметный издали, так как края его почти сливались. Из глубины оврага доносился грохотдвигающихся танков. Терентьев приказал всем залечь в небольшой выемке, а Яковенко послал вперед выяснить, что делают в овраге танки.

До оврага было метров триста, вокруг открытое поле, подстрелить могли с любой стороны. Однако Федор перебежками благополучно достиг края оврага и залег. Оказывается, на дне его гитлеровцы устроили нечто вроде танкодрома. Там были выкопаны окопы, натянуты проволочные заграждения, установлены учебные минные поля. Появляясь из-за крутого поворота, танки один за другим бросались на штурм этих препятствий, а затем, преодолев их, устремлялись вдоль оврага и снова скрывались за поворотом. Очевидно, их недавно привезли откуда-то из Африки: они были окрашены в ярко-желтый цвет, с темными разводами на броне и башнях.

Когда первые два танка проскочили мимо и скрылись, случилось несчастье, едва не стоившее Федору жизни. Он лег слишком близко к краю, тонкий пласт земли под тяжестью его тела, а также от сотрясения, вызванного танками, вдруг осел и обрушился. Федор кубарем полетел вниз и, к счастью, свалился в один из

окопов. Оглушенный, он силился подняться на ноги, но в это самое мгновение над его головой возник танк и со скрежетом и шумом, обдавая его зловонным запахом перегоревшего масла, стал переползать с одного края на другой, срезая гусеницами большие комья земли. Федор прикрыл голову руками и весь вдавился в глину окопа, а комья все сыпались и сыпались, больно колотя его по спине и рукам. Едва прошел этот танк, как сразу же появился другой. О том, чтобы выбраться наверх, нечего было и думать. Единственное спасение — сидеть, тесно прижавшись к передней стенке окопа, чтобы не дать себя заметить в смотровую щель. А танки наползали и наползали, гусеницы гремели, земля падала, и каждый раз Федору казалось, что его голова будет сплюснута, как орех между дверьми. С небольшими промежутками проползло двадцать танков... Казалось, не было уже никаких сил вытерпеть все это. И вдруг наступила пауза. Очевидно, колонна кончилась... Новые танки не появлялись, хотя шум их моторов доносился откуда-то издалека. Воспользовавшись этим затишьем, Яковенко выполз из ямы, вскарабкался по склону оврага и бросился назад, не веря самому себе, что он и впрямь вышел живым из этой передрапуги.

Пережитые потрясения, недавняя близость к смерти, волнение — все это, вместе взятое, сделало его доклад сбивчивым и неуверенным.

Командир группы разведчиков старший лейтенант Терентьев взглянул Федору в глаза, пожевал крупными сизыми губами, и на его иссеченном мелкими морщинами лице возникло выражение недоверия. Двадцать танков!.. Это дело нешуточное. Такого количества танков на этом участке еще не было. Двадцать уже прошли, а судя по шуму, они идут и идут! Сколько же их там еще? И он решил лично проверить донесение Яковенко.

Когда минут через сорок он приполз обратно, разведчики сразу поняли, что Федору не поправится. И в самом деле, Яковенко получил сполна все, что ему причиталось. Оказывается, по дну оврага, в который он свалился, ходили всего три средних танка... Правда, когда они, без перерыва, сменяя друг друга, проходят над вашей головой, не так легко пересчитать их. Однако суровый Терентьев отнюдь не склонен был принимать во внимание смягчающие вину обстоятельства. По его

мнению, Яковенко, поскольку остался в живых, не должен был уходить от края оврага, пока до конца не выяснит обстановку. По-своему он был прав.

Несмотря на свою украинскую фамилию, Федор был коренной уралец. И отец и дед его родились здесь, в Заводском поселке.

Отец любил говорить: «Мы, Яковенко, мастера по булату, да и сами того же закона. Огонь и воду пройдем и только крепче станем».

В самом деле, и дед, и отец, и братья Федора были одной приметной породы — высокие, поджарые, горбоносые, с бровями, низко сросшимися на переносице, и глазами ястребиной зоркости. Они были похожи друг на друга и все вместе — на прадеда. Все были одного склада и нрава: жили, не жалуясь, умирали не от болезней, а больше от непредвиденных случаев, в работе и охоте были неутомимы до жадности, в любви и дружбе — суровы и ревнивы.

Младший Яковенко, Федор, ничем не отличался от своей родни. Правда, он первый из всей семьи окончил школу и за год до войны даже поступил на вечернее отделение геологоразведочного института. Однако же школа и начатки вузовской науки, прибавив ему ума, ничего не отняли из примет яковенковской породы. Он был такой же своенравный, как отец, дед и братья, такой же истовый, суровый и жесткий.

Недешево досталась Марьям требовательная дружба и ревнивая любовь Федора. Сколько раз ссорились они и мирились! Как часто приходилось ей, вооружившись настойчивостью, которой у нее было много, и терпением, которого у нее было мало, пробиваться сквозь его угрюмое молчание, отыскивая очередную причину раздора.

Чаще всего причина бывала совершенно ничтожной, а следствие стоило им обоим много тревог, огорчений и бессонных ночей.

Уходя на фронт, он поклялся, что будет помнить ее, верить ей, а когда вернется, они поженятся. Но почему-то одно время от нее долго не было писем, и он со свойственной ему ревливой подозрительностью сразу решил, что она его забыла, любит другого, может быть, даже вышла замуж, и в сердцах написал ей, что больше не желает ничего о ней знать, пусть она живет как хочет.

Это было месяца полтора-два назад, а неделю назад Марьям вдруг появилась на передовой.

— Так уж случилось,— ответила она Федору, смеясь, когда он спросил у нее, что все это значит.

Он отлично понимал, что ее решение не может быть случайным, и это сознание наполняло его счастьем и гордостью. Но он старался не показывать виду и, встречаясь с Марьям, ворчал:

— Половину храбрости ты у меня отняла. Я теперь постоянно буду думать, как бы тебя не убили... Думаешь, это легко?

— А ты думаешь, мне легко постоянно думать, как бы тебя не убили? — отвечала Марьям.

И Федор, смиряясь, умолкал, растроганный, виноватый и неловкий.

Эта мысль поселилась среди всех его прочих мыслей, не вытесняя их, но и никогда не уступая им своего места: «Как хорошо, что Марьям здесь, рядом, и как хорошо было бы, если б ее здесь не было...»

3

Пробираясь по окопу, Павел Ватутин наткнулся на солдата, который одиноко сидел на земляном выступе и угрюмо курил.

— Ты чего здесь страдаешь?

Солдат поднял голову и мрачно взглянул на него.

— Так, ничего!

— Зайцев! — удивился Павел. — Сообщение, что ль, получил? Умер кто?..

— Да нет,— проронил Зайцев,— все живы.

Павел хорошо знал Зайцева. Они были из соседних деревень и всякий раз, встречаясь, вступали в беседу. Неравенство между ними в возрасте здесь, на передовой, не имело сколько-нибудь серьезного значения. Как-никак, а приятно все же увидеть своего человека.

Зайцев сидел сгорбившись, с посеревшим лицом и прокуренными пальцами бесцельно ломал веточку на мелкие щепки. Павел, хотя и торопился на склад за снаряжением, все же решил выяснить, что произошло с парнем.

Беседа долго не клеилась, следовательно Павел был никудышным, а Зайцев петлял и отмалчивался, но все же вскоре Павел понял, что накуролесил его приятель.

— И из-за этого ты сопли распустил? — сказал он, похлопывая его по плечу.

Вдруг Зайцева прорвало.

— Да ты пойми, Павел Федорович, теперь мне недоверие выражено. Как это все пережить!..

— Переживешь! Три к носу!.. А в следующий раз будь умней.

— Вот именно! — согласился Зайцев. — Стрелять — и никаких пленных.

Павел легонько стукнул его по лбу:

— А тут, парень, у тебя что-нибудь есть?

— Полный котелок! — зло ответил Зайцев.

— Дерьма! — буркнул Павел и, небрежно махнув рукой, пошел по траншее дальше.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Три фронта готовы начать беспримерное в истории сражение. Пока здесь, в степи, еще сравнительно тихо. И только под Сталинградом идет тяжелый непрерывный бой. Сталинградцы контратаками сдерживают противника, не дают Паулюсу оттянуть войска, заставляют его бросать в бой все новые и новые резервы.

В штаб непрерывно звонят по телефону из Ставки, из Генерального штаба, от Василевского. У всех один вопрос: «Ну как, готовы?»

Да, все готовы, от солдата до командующего, связь с Рокоссовским и Еременко налажена.

Итак, решающий момент наступил. Ватутин приглашает к себе члена Военного совета и начальника штаба. Дивизии, корпуса, армии Юго-Западного фронта ждут его сигнала.

Несколько минут в ожидании Иванова и Соломатина Ватутин сидит в комнате один. Тихо, только где-то звучно и явственно тикают часы. Нет, это не часы... Это кровь постукивает в висках.

Сдержанный по натуре, Ватутин с юношеских лет научился глубоко прятать тревоги, сомнения, усталость. Чем труднее дело, тем больше требует оно терпения, уравновешенности, спокойствия. Сейчас он должен быть уравновешенным и спокойным.

Судьба предстоящего сражения — его собственная судьба. Он думал не об орденах и славе, просто он вложил в свою работу все, что было им накоплено за целую жизнь, весь запас ума, чувств, знаний и сил.

К смерти Ватутин относился по-солдатски просто. Когда в Новгороде бомба упала рядом с домом, где находился штаб, он даже не прекратил разговора по телефону. На Северо-Западном фронте ему не раз случилось быть метрах в ста от наступающего противника, но и тогда он не терялся.

Не раз он видел: его спокойствие передавалось другим. Даже в бою, на передовой, если он бывал там, солдаты и офицеры старались держаться к нему поближе, должно быть, подсознательно считая, что там, где находится генерал, безопаснее, словно он неуязвим.

Иванов и Соломатин уже знали, зачем их вызывает командующий. Один за другим они вошли в комнату. Ватутин пересказал им разговор со Ставкой и взглянул на часы.

— Ну, товарищи, медлить больше нельзя, — сказал он спокойно и буднично. — Приказ о начале наступления нужно передать сейчас, чтобы командармы успели довести его до солдат...

Взбираясь на высокую гору, люди поднимаются на отвесные кручи, преодолевают пропасти, стремясь все выше, вверх, и не оглядываются, думают только о том, как бы скорее достичь вершины. Лишь в минуту короткого отдыха, перед новым броском вперед, они смотрят в сторону пройденного пути и видят у ног своих необъятные просторы и с удивлением по-новому ощущают величие природы и силу своей воли и своих мышц... Но вершина еще не покорена. К ней надо идти и идти...

Ватутин придвинул к себе блокнот, взял карандаш и написал на толстой серой, в клетку, бумаге: «Артподготовку начать в 7.30, атака пехоты, артиллерии и танков — в 8.50 завтра, 19 ноября».

Он подписал приказ первым, за ним коротким движением руки поставил свою подпись Соломатин; Иванов нагнулся, придвинул приказ, перечитал и тоже подписал мелкими круглыми буквами, каждая из которых стояла в отдельности.

Все помолчали. Ватутин вырвал листок из блокнота и протянул Иванову:

— Немедленно пошлите командармам.

— Ну вот дело и сделано, Николай Федорович! — сказал Соломатин, когда Иванов вышел из комнаты.

— А по-моему, оно только начинается, — усмехнулся Ватутин, и Соломатину показалось, что на лицо Ватутина упала тень усталости и заботы.

Вошел Василевский. Ватутин поднялся ему навстречу.

— Долго же вы добирались, Александр Михайлович, — сказал он шутливо. — Я уже хотел команду послать на розыски.

— А за этой командой пришлось бы посылать другую, — ответил Василевский, сбрасывая шинель и подсаживаясь к столу. — Туман, мгла, хоть глаз выколи... Ехали ощупью... Спасибо, водитель опытный, не заблудился... Как у вас тут дела?

— У нас, можно сказать, в порядке, — ответил Ватутин. — Сейчас сообщил командармам время начала артподготовки и перехода в атаку.

Василевский молча кивнул головой и нагнулся над картой.

Во взгляде Ватутина появилась настороженность.

Они с Василевским давно знали друг друга, много работали вместе, но связывала их не только служба, а прочное взаимное доверие и укоренившаяся с годами симпатия друг к другу. Однако сейчас Василевский, представляя Ставку, имел право — и должен был — проверять и судить то, над чем Ватутин трудился все эти напряженные дни и ночи, не зная отдыха сам и не давая его другим. И вот теперь, когда Василевский закончил объезд частей ударной группировки, побывал на переднем крае, в штабах полков, дивизий и армий, Ватутин ждал, что он скажет о проделанной им работе в целом и в частностях. Он не был тщеславен, и ему нужна была не похвала, хотя она и была бы ему приятна, ему нужно было трезвое, свежее мнение человека, который мог бы заметить и поправить то, что упустил он в потоке больших и малых дел.

Но Василевский молчал, внимательно разглядывая карту, и это молчание стало тревожить Ватутина.

Как бы угадав его настроение, Василевский отодвинул карту, встал и прошелся по комнате.

— Так вот, Николай Федорович, — сказал он, оста-

навливаясь перед Ватутиным,—приказ отдан, и хорошо, что отдан. Теперь за дело! Из танковой армии я уже звонил в Москву и доложил, что фронт к наступлению готов. Сказал, что будем начинать при любой погоде... Однако нам нужно еще подумать насчет того участка, на котором будут введены в прорыв танкисты.—И оба они опять склонились над картой.

Работая, Ватутин чувствовал, что на душе у него становится легче и спокойнее. Хорошо, что Василевский приехал, он не будет один все те бесконечно длинные и в то же время необычайно короткие двенадцать часов, которые остались до первого оружейного залпа артиллерийской подготовки.

Принесли последнюю метеосводку. Ватутин взял ее и недовольно крикнул.

— Вот безобразие! Со второй половины ночи снег!.. Видимость менее километра.—Он протянул сводку Василевскому.—А впрочем, нет худа без добра. Туман поможет достигнуть большей скрытности.

— Вы убеждены, что в таком тумане артиллерия накроет цели? А как будет с авиацией?

Ватутин подумал. Он понимал, что от его ответа зависит многое.

— Я убежден, Александр Михайлович,—проговорил он твердо,—артподготовка удастся. Вся система обороны противника нами основательно изучена. А что касается авиации, так ведь и у них самолеты останутся на аэродромах.

Василевский с каким-то новым интересом поглядел на Ватутина. Он ясно ощутил, что именно теперь, когда идет проверка характера на излом, только теперь он узнает его до конца, хотя и раньше был в нем уверен.

Конечно, при всей своей выдержке Ватутин не так уж внутренне спокоен, как старается показать. Он и не может быть спокоен, потому что противник силен и опытен, и кто знает, что предпримет он в каждую следующую минуту.

— Решение принято, и решение правильное,—сказал Василевский медленно и раздумчиво.—Откладывать дальше невозможно. Есть все признаки того, что гитлеровское командование намерено перейти под Сталинградом к обороне...

— И признаки явные. Уже две дивизии они оттянули в резерв,—сказал Ватутин, радуясь, что мысли

Василевского совпали с тем, о чем думает он сам.—Со дня на день они начнут строительство новых укреплений, и тогда обстановка крайне усложнится. Словом, «промедление смерти подобно».

— Да, да,—живо отозвался Василевский,—сейчас мы находимся в выгодном положении. А потом каждый день будет работать против нас.

Они посмотрели друг на друга, и оба невольно улыбнулись. Каждый понял, что говорит все это не столько для себя, сколько для того, чтобы поддержать и ободрить своего собеседника.

2

Узкий луч фонаря не достигает стены сарая в десяти метрах. Скверная штука. Ватутин прошелся по тропинке, несколько раз мигнул фонариком. Да, не воздух, а какая-то влажная вата.

И тишина поразительная... От такой тишины еще больше взвинчиваются нервы, так умолкает враг за мгновение до выстрела, чтобы вернее прицелиться, приглушив дыхание.

Прислонившись к выступу дома, Ватутин старался со всей отчетливостью представить себе еще раз все то, о чем так много размышлял последнее время. Конечно, многие продолжают считать его излишне дотошным и даже мелочно-придирчивым. Ну, а как поступить, если ветер кружит хлопья мокрого снега, кто знает, не покрыты ли гололедом высоты, по склонам которых начнут взбираться солдаты.

Туман и гололед! Они могут войти в союз с врагом, и это может стоить жизни тысячам его солдат. А время неумолимо, его не остановить, если бы даже все орудия мира одновременно ударили по нему залпом. Да и как его увидеть, как ощутить! Оно становится осязаемым, лишь отойдя в вечность, в морщинах, в седине, в разлуке с ближайшими друзьями.

— Больше выдержки, Николай! — прошептал Ватутин.— Больше выдержки! Время надо сделать союзником, а там уж будет видно.

Все приготовления закончены и на фронтах Рокоссовского и Еременко. Три фронта!.. Сотни тысяч солдат. И у каждого единственная жизнь, свое представление о счастье.

— Семенчук?!

На крыльце морозный скрип подошв.

— Слушаю, товарищ командующий!

— Тут неподалеку есть холм?

— Есть, товарищ командующий!

— Ты можешь отвечать потише? Взвали-ка на себя всю солдатскую выкладку да взберись на него. Ты взберешься — значит, и солдат взберется...

Ватутин толкнул дверь и вошел в дом. В небольшой, ярко освещенной комнате начальника связи фронта с виноватым видом давал Иванову какие-то объяснения.

— Что случилось?

Иванов досадливо пожал плечами:

— Да вот прервалась телефонная связь с Москвой! И мне объясняют, почему ее нельзя быстро наладить.

— Прервалась связь? — строго спросил Ватутин. У начальника связи лицо стало покрываться красными пятнами. — Да не надо мне никаких объяснений! Даю час времени! Слышите! Товарищ Иванов, возьмите это дело в свои руки.

Не хватало только того, чтобы в самый ответственный момент прервалась связь. Теперь, когда каждую минуту нужно ждать звонка из Ставки! Когда нужно все время докладывать о том, что происходит на фронте!

Начальник связи, как-то неловко сдвинув плечи, поспешно вышел из комнаты. Он мог убедительно доказать, что он ни в чем не виноват. Обрыв произошел где-то далеко за пределами фронта. Но его доказательств сейчас никому не нужны. Нужна связь. И он должен ее обеспечить любой ценой. Что касается армий, то с ними связь бесперебойна. Радиостанции включены на прием и ждут условного сигнала из штаба фронта.

Время перевалило далеко за полночь. Считанные часы остались до начала наступления.

Еще два раза посылал Ватутин Семенчука с приказом взобраться на холм. Семенчук бегом и ползком поднимался по крутому скату и, взмокнувший, усталый, докладывал, возвращаясь, что хотя и скользко, но подняться вполне возможно. И каждый раз Ватутин с волнением ожидал его прихода.

После того как Семенчук едва доплелся с холма в третий раз, Ватутин, повеселев, сказал:

— Ну и упорный ты мужик, Семенчук. После войны пойдешь в альпинисты.

Телефонную связь с Москвой восстановили лишь под утро. Василевский доложил Ставке, что, несмотря на сложные метеорологические условия, решение начинать остается неизменным.

Часы в руке Ватутина показали семь часов двадцать восемь минут. Грачев снял телефонную трубку и приказал соединить его с радиостанцией.

— Начнем, Александр Михайлович? — спокойно спросил Ватутин. Только блеск глаз выдал охватившее его волнение.

Василевский кивнул головой.

— «Лебедь»! — сорвавшимся голосом крикнул в трубку Грачев.

И тотчас по радио, по проводам, по всему фронту загремело: «Лебедь»! Это плавное, сказочное слово прозвучало стремительно и грозно. Его торопливо произносили в штабах армий, оттуда оно передавалось в штабы корпусов, дивизий, полков. В землянках на артиллерийских позициях его повторяли телефонисты.

Начальник связи фронта, усталый и счастливый, стоя в блиндаже среди стрекочущего шума аппаратов, платком вытирал со лба пот.

— Пойдем послушаем, — сказал Ватутин.

Все вышли на улицу. В белесой зыби тумана рождалось утро. Где-то в глубине смутно угадывались неясные очертания домов. А издали доносился гул канонады. Он все нарастал и нарастал, разливаясь по всему фронту.

На крыльцо выбежал Иванов и, остановившись перед Василевским, отчеканил радостно и торжественно:

— Донской фронт тоже приступил, товарищ генерал-полковник!

Василевский повернулся и пошел в дом — доложить в Ставку: «Битва началась!»

А Ватутин остался. Он стоял и слушал. Там, по ту сторону, у гитлеровцев все летит к чертям. «Генерал Вейхс, слышите вы нас? Мы говорим достаточно громко и определенно. Чем вы нам ответите?»

— Федя, я пойду с вами! — Марьям крепко сжала руку Яковенко.

Он сердито посмотрел на нее:

— Да ведь ты еще никогда не была в боях!

— Все равно. Я уже сказала командиру взвода. Когда-нибудь надо же пойти в первый раз...

Яковенко охнул:

— Вот несчастье на мою душу! Сидела бы на заводе. Так нет, думай теперь за тебя!..

Он повернулся и быстро пошел по тропинке. Его высокая фигура сразу растаяла в тумане. Марьям позвала: «Федор!» — но звук его шагов удалялся. Она осталась стоять на месте, чувствуя себя одинокой и несчастной, не замечая снега, который падал ей на лицо.

А Федор быстро шел привычной тропинкой к штабной землянке. Туда недавно зачем-то вызвали командира взвода: авось удастся убедить, что совсем незачем включать Марьям в группу, которая будет действовать самостоятельно в тылах врага. Ведь она же еще ни разу не была в настоящей операции. Одна обуза... В нем, как всегда, боролись противоречивые чувства. Он и гордился ею, и негодовал на нее. Все, что она делала, казалось ему просто-напросто безрассудным упрямством. И зачем он тогда написал ей это дурацкое письмо? Да кто же знал, что все так обернется? Он ожидал чего угодно, но только не приезда ее на фронт.

Вдруг из тумана вынырнул человек и с ходу налетел на него. Это оказался политрук Макеев.

— Ты, Яковенко? Беги скорей в блиндаж к Дзюбе, — быстро сказал он. — Ноги в руки и через минуту там!..

— А что случилось? — с волнением спросил Федор.

— Партийный билет тебе вручать будут. Вот что случилось! Беги быстрее!

Уже из тумана до Федора донеслось:

— А потом приходи в овраг, на митинг!

Он бросился бежать, по дороге чуть не сбил с ног нескольких человек, через полминуты загремел сапогами по ступенькам знакомой землянки.

Его вдруг охватило горячее волнение, глубокое и радостное, но вместе с тем совсем не похожее на то, какое

он испытал, когда получал первую боевую награду. Орденов можно получать много, а партийный билет дается один и на всю жизнь.

Обсуждение вопроса о приеме Яковенко Федора Константиновича в члены Коммунистической партии заняло всего несколько минут. Теперь уже ни у кого не было сомнения, что Федор Яковенко, кандидат с просроченным стажем, не только может, но и должен быть принят в партию. Командир разведчиков, старший лейтенант Терентьев, тот самый, кто прошлый раз первым проголосовал «против», сейчас первым же подал голос за его прием.

Федор стоял посреди землянки, держал в руках партийный билет и смотрел на него, не вполне веря, что наконец совершилось то, о чем он и мечтать не смел еще совсем недавно, в те горькие дни, когда его имя произносилось с насмешкой...

Крепко сжав в руке партийный билет, Яковенко быстро вышел из блиндажа и бросился искать Марьям. Он нашел ее на том же месте, где оставил, у входа в землянку.

— Марьям! — горячо сказал он. — Ты только посмотри, что я получил. Посмотри, Марьям!.. — Он сунул ей в руки билет и вытащил из кармана электрический фонарик.

Круглый яркий луч осветил развернутый билет и маленькую фотографическую карточку, с которой прямо на Марьям смотрело напряженно улыбающееся лицо Федора. Гимнастерка та самая, в которой он сейчас. Только волосы тщательно причесаны. Нет тех вихров, над которыми она все время смеется.

Он молча наблюдал за тем, как осторожно трогают края билета ее пальцы. Его плечо касалось ее плеча, головы их склонились рядом.

Издалека доносился голос Дзюбы. В овраге шел митинг. А они продолжали стоять у землянки, обжитой и теплой, которую совсем скоро покинут навсегда. Стояли, держась за руки, как дети, и молчали, уверенные, что уже никогда не расстанутся.

Так их и застал рев артиллерии, который вдруг громом загремел где-то в ближнем тылу и мгновенно заполнил собой все...

Дом вздрагивал, стекла звенели, казалось, огромная тяжесть навалилась на крышу и сейчас ее продавит. Коробов смотрит на часы. Канонада длится уже сорок минут. За окном сизые рассветные сумерки. Снег. Ту-ман.

Коробов прислушивается к непрерывному гулу ору-дийной стрельбы и, сдвинув рукав, поглядывает на ча-сы. Рука чуть дрожит от скрытого волнения. Мысли толпятся, выталкивают одна другую, лезут сразу все вместе.

Приближается решительный момент атаки. Теперь надо добиться, чтобы не было ни малейшего разрыва между артподготовкой и мгновением, когда подымется пехота.

О чем бы Коробов ни думал, он непрестанно чувст-вует, как движется время,— секунда за секундой, ми-нута за минутой.

Восемь пятьдесят!

Гудит телефон. Это Ватутин.

Голос у него напряженный, тихий, но по-особенно-му внятный.

— Ну, в добрый час! Действуй, Михаил Иванович!

Коробов приказывает начальнику штаба:

— Сигнал атаки!

И в небо взвиваются красные ракеты...

Пехота пошла...

Артиллерия продолжает бить по обороне противни-ка. Но привычное ухо уже слышит: разрывы отдалились куда-то в глубину.

Огромная сила поднялась по всему фронту. При-шли в движение корпуса и армии. Загремели гусени-цами танки. Устремив глаза в землю, пошли впереди пехоты саперы, держа перед собой миноискатели, не слыша ничего, кроме тонкого писка в мембране.

Битва гремит на всем протяжении ста двадцати ки-лометров Юго-Западного фронта и ста пятидесяти — Донского.

А в Сталинграде, собрав все свои силы, перешли в наступление армии Чуйкова и Жадова.

Марьям не услышала команды «Вперед!». Но когда вдруг откуда-то справа стал нарастать крик «ура» и бойцы стали перелезать через край окопа, она поняла: вот оно! Началось. Она тоже выпрыгнула из окопа и, придерживая бьющую по боку медицинскую сумку, бросилась бежать вслед за Терентьевым, широкая спи-на которого мелькала впереди. Иногда он оборачивал-ся и махал рукой — не отставать!

Но бойцы и так бежали изо всех сил, стреляли куда-то из автоматов, а куда, Марьям не видела.

Она не уловила мгновения, когда ее сбило с ног. Она лежала оглушенная, затем приподнялась, чувствуя, что цела. И вдруг увидела, что совсем рядом на снегу лежит боец. Он старается подняться, упиравшись правой рукой о снег, приподнимается и тут же бессильно пада-ет. Марьям подбежала к нему, перевернула на спину и быстро распахнула шинель у него на груди. Руки у нее тряслись от тяжести и от страха, что он сейчас ум-рет. Раненого она узнала сразу. Это тот самый солдат, который ночью пришел в свою избу. Хозяин! Петр Пет-рович Дикий! Боже мой, какой он тяжелый! Она разры-вает гимнастерку, а затем залитую кровью рубашку. Огромный осколок сидит у него в груди над сердцем. Что делать? Вынимать или нет? Она слышит вблизи топот чьих-то ног. Санитары!..

— Сюда, сюда! — кричит она.

Но в это мгновение голова Дикого вдруг бессильно падает набок. Умер!..

Мимо нее, лязгая гусеницами и стреляя на ходу, мчатся танки. Они появляются из тумана и уходят в туман. Но теперь уже видно дальше, чем ранним ут-ром. Вдалеке темнеют проволочные заграждения. Пе-хота уже достигла их и сейчас преодолевает первую линию обороны врага.

Марьям бежит вперед. Она знает, ей много раз объ-ясняли, что нужно бежать за танками. Через минуту она догоняет цепь. Где ее взвод, она не видит, но вокруг знакомые лица. А вот и командир роты Виктор.

— За танками! За танками! — кричит он и первым бросается через поваленные гусеницами проволочные заграждения; колючки вырывают у него полу шинели, но он и не замечает этого в горячке боя.

Вот из-под гусениц переднего танка метнулось пламя, полетела земля, взвихрилось облако белого дыма. Марьям показалось, что танк взорвался, но он только покачнулся и опять пошел дальше.

Стрельба усиливается. Впереди оживают как будто уже мертвые дзоты противника. Бьют пулеметы, и Марьям явственно слышит посвист пуль.

И вдруг, словно ударившись о невидимую стену, люди останавливаются. На землю упал один, другой, третий... Залегли. Марьям оказалась рядом с Викторовым. Его бьет озноб злости. Она видит его лицо и слышит, как он твердит самому себе: «Нельзя лежать! Нельзя лежать!» — но земля его словно держит.

Внезапно Виктор вскакивает во весь рост.

— За мной! — кричит он, бросаясь вперед.

Марьям с трудом отрывается от земли и послушно следует за ним, оглядывается и видит: бегут пять-шесть человек. В быстроте бега она не может разглядеть их лица. Но остальные лежат.

Викторов тоже оглядывается и вдруг голосом, который перекрывает шум боя, кричит зычно и властно:

— Коммунисты, вперед!..

В это мгновение Марьям вспоминает о Федоре. Где он? И сразу же видит его в двух шагах от себя. Крепко сжимая автомат, он промчался мимо и все-таки успел на бегу взглянуть на нее.

Возглас командира подымает роту. Она преодолевает последние сто метров и врывается в окопы противника. Яковенко прыгает прямо на пулеметчика в серо-зеленой шинели, который, откинувшись к стене окопа, пробует слабо защищаться. Рядом Зайцев стреляет вслед убегающим солдатам, которые, отстреливаясь, спускаются вниз по бутру. Над окопами стелется дым...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Куда направить следующий удар? Стрелы, стрелы... Красные, синие... Они то круто изгибаются, то, похожие на хищные клювы, стремятся вонзиться одна в другую.

И все в таком дьявольски сложном переплетении, что непосвященный взгляд сразу бы и не понял, добились ли войска успеха или понесли поражение.

— Товарищ командующий! Гапоненко просит помощь танками! У него наметился прорыв... — Иванов нависает над столом, держа в левой руке только что полученную шифровку, а правой сжимает остро оточенный карандаш, которым уточняет на карте изменения в обстановке.

Ватутин следит за острием карандаша и по торопливой тщательности, с которой Иванов прорисовывает совсем незначительное продвижение армии, угадывает, что тот на стороне Гапоненко.

— Нет, Иванов, пока танков ему не дам... Пусть не просит.

Карандаш дрогнул. Шея Иванова налилась краской.

— Но, товарищ командующий, если он прорвется, то поможет Коробову!

— А зачем Коробову его помощь? У него достаточно своих резервов.

Иванов молчит: он не согласен. Молчит и Ватутин.

Он знает, что если станет подчиняться обстоятельствам, которые кажутся то благоприятными, то могут привести в полное уныние, то превратится во флюгер, непрерывно вращающийся под ударами жестокого ветра войны, и тогда наверняка проиграет сражение.

Вот Рыкачев спорил, доказывал, раздражал, а сейчас вырвался вперед и добился большего успеха, чем соседние армии Коробова и Гапоненко. И только вот 14-я дивизия почему-то долго топчется на месте, никак не может продвинуться даже на километр.

— Семен Павлович, — Ватутин придвинулся к Иванову и, чтобы снять напряжение, дружески дотронулся до его плеча, — взгляни-ка лучше сюда. — Он провел тыльной частью карандаша по широкой у основания красной стреле, выдвинувшейся далеко вперед; сжатая с двух сторон синими стрелами, она казалась языком пламени. — Заметьте, что Вейхс в этом районе ослабил сопротивление!

— Но ведь Рыкачев действует на узком участке, у него и силы значительнее.

— Нет, Вейхс что-то задумал. Соедините-ка меня с Рыкачевым.

Кто-то сказал, что телефон — враг истории. В былые времена, когда не было телефонов, полководцы общались с командирами при помощи письменных приказов. Эти документы, сохранившиеся в архивах, подчас

несколько фраз или слов, объясняли потомкам причины и следствия того или иного решения.

А сказанное по телефону навсегда умирает. И попробуй через много лет разобраться, чья воля и какие обстоятельства изменили план сражения.

Ватутин перехватил из руки Иванова трубку и услышал сдержанный голос Рыкачева.

— Рыкачев слушает!

Его голос звучал подчеркнуто спокойно, и Ватутин, выдержав внимательный взгляд Иванова, крепче сжал трубку.

— Почему топчется 14-я? — спросил он, прищурившись и разглядывая карту, чтобы не ошибиться в деталях, если Рыкачев станет долго объяснять обстановку.

Но Рыкачев остался немногословен.

— Я прикрываю свой левый фланг, товарищ командующий. Соседи мне не помогают. — Он тактично не назвал ни Коробова, ни Гапоненко, но этим лишь подчеркнул свое превосходство перед ними.

— Как ведет себя противник?

— Продолжает отход.

Сдерживая раздражение, Ватутин положил трубку. Нет, Вейхс пока не раскрывает своих карт. С резервами следует повременить. Преждевременно бросать их вперед сейчас, когда оборона противника еще не прорвана и две армии из трех наступающих на главном направлении не имеют серьезных успехов.

А как дела у Рокоссовского? Иванов протягивает последнюю сводку. С Донского фронта тоже сообщения неутешительные. Армия, которая должна прикрывать от возможных ударов левый фланг наступающей группировки Юго-Западного фронта, продвинулась вперед от исходных рубежей в самой незначительной степени.

— Товарищ командующий, может быть, мы все же введем в прорыв кавалерийские корпуса? — говорит Иванов. — Они начнут громить тылы...

— Нет, не будем пока вводить!

— Какое ваше решение?

— Ждать.

— Но, товарищ командующий...

Ватутин резко поднялся, зашелестела карта, и Иванов крепко сжал ладонями щеки, вглядываясь в сумя-

тицу стрел. Ему казалось, что выжидание уже переходит в медлительность. Нельзя соглашаться с Рыкачевым, нужно действовать, развивать успех.

А Ватутин напряженно думал, что сейчас делают не только Вейхс, но также Паулюс, Гот и Штеккер. Они, конечно, принимают все меры, чтобы предотвратить отход своих войск.

Его взгляд прикован к станице Распопинская. Синие стрельы! Они обращены и в ее сторону. Но подтягиваются ли сюда основные резервы? Разведка подтверждает, что именно в Распопинской сосредоточиваются большие силы немцев.

А Клетская? Здесь есть продвижение, но это левый фланг армии Коробова.

Нанести удар на Клетскую?.. Это сразу отвлечет силы немцев от Распопинской, ослабит их сопротивление.

Хотя до Ватутина доносился лишь отдаленный гул артиллерийской канонады, он чувствует себя непосредственным участником боя, и при этом на всех участках фронта.

Каким-то краем сознания он понимал, что именно ради этих дней и часов прожил суровую, лишенную многих радостей жизнь. Помнится, прежние его командиры почти всегда бывали довольны тем, что им попался такой добросовестный, усидчивый, неутомимый начальник штаба. «Работяга!» — говорили они, не подозревая, что действиями этого сдержанного в проявлении своих чувств человека руководит талант, страстное увлечение своим делом. Его исполнительность была выражением упорства, а неутомимость — целеустремленности. Он учился твердо идти к своей цели начиная с самого детства. Еще с того времени, когда всю ночь проплакал в телеге, требуя, чтобы дед отправил его в земскую школу в Валуйки...

Клетская?! Через несколько минут вокруг Ватутина собрались все, кто может помочь советом: начальник оперативного отдела, командующие артиллерией и авиацией, начальник разведки, Соломатин.

Оживлены усталые лица. Конечно, все истомлены — нужен успех! Еще несколько часов топтания, у солдат угаснет порыв, и тогда вновь — оборона. Именно этого и добивается Вейхс. Он введет в бой свежие части.

И все же как трудно принимать решение!

Ватутин выслушивает всех, продумывает и сопоставляет самые противоречивые мнения. Да, оборона противника прорвана еще не везде, но ждать, пока пехота прорвет ее — это уже действительно смерти подобно.

Решено! Действовать немедленно! Наступать смело, даже, может быть, дерзко, но не терять при этом хладнокровия и осмотрительности.

От сильного нажима карандаш, которым писал Ватутин, сломался, оставив на карте красные лучики. Ватутин бросил карандаш и резко поднялся.

Иванов, который в эту минуту только что кончил говорить по телефону со штабом Донского фронта, понял, что Ватутин принял важное решение.

— Посмотрите-ка сюда, Иванов! — Ватутин коротким движением указал на карту. — Как ни верти, а ждать больше нельзя. Мы имеем значительный успех у Верхне-Фоминского и вот здесь, левее, у поселка Большой. Надо немедленно ввести в этих направлениях танковые корпуса Родина и Буткова, а со стороны Клетской — Кравченко. Танки завершат прорыв обороны, и мы проникнем в глубокие тылы. И сейчас же послать туда конницу и мотоциклетный полк! Необходимо парализовать противника! Поддержать дух солдат!.. Нам очень важен первый успех! Он решит многое...

Иванов на мгновение задумался:

— А не слишком ли дорого будет это нам стоить?

— В каком смысле?

— Танков много потеряем...

— Да, потери будут! Ну, а если мы втянемся в длительные бои, нам это обойдется гораздо дороже. Срочно готовьте приказ. Я посоветуюсь с Василевским.

Решение Ватутина одобрено. Василевский сразу же уехал в танковую армию, чтобы быть ближе к событиям, которые с этого момента стали нарастать со все большей стремительностью.

В двенадцать часов дня танковый корпус Родина вошел в прорыв. Через час загремели танки корпуса Буткова. Со стороны Клетской двинулись танкисты Кравченко.

Поднимая снежную пыль, танки разошлись по своим направлениям, а к линии фронта уже выдвигался конный корпус. Шли строем по шесть лошадей в ряд. Зем-

ля тряслась под мерными ударами копыт. Кони рвались вперед.

Холодный ветер мел колючую поземку, туман медленно расползался, открывая белый простор степи...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

Было около двух часов дня, когда дивизия Чураева наконец прорвалась через всю полосу укреплений, и сразу стало легче. Противник продолжал ожесточенно сопротивляться, контратаковать, но теперь он уже не имел недавних преимуществ. Его не защищали ни толстые стены дзотов, ни глубокие ходы траншей.

Поздно вечером, когда уже стало невозможно преследовать врага в прежнем темпе, решено было перегруппироваться и дать людям отдохнуть. И тут Чураев неожиданно вспомнил один свой разговор с Коробовым — разговор, который сильно задел его за живое,

Это случилось после очередного доклада о состоянии дивизии. Наученный горьким опытом, Чураев старался говорить как можно проще и точнее, избегая общих мест и гладких, обтекаемых формулировок, но зато подробно останавливаясь на самых даже как будто незначительных мелочах.

Командарм внимательно, но как-то хмуро выслушал его, а в заключение с неожиданной резкостью сказал, что все это очень хорошо, но он опять и опять напоминает полковнику, что следовало бы предоставить командирам полков побольше самостоятельности и поменьше опекать их. Дескать, по-настоящему руководить — вовсе не значит водить людей за ручку, утирать им носы и одергивать за каждый без спросу сделанный шаг.

После этого разговора Чураев два дня ходил мрачным. Он решил, что кто-то из командиров полков недоумен его руководством и довел об этом до сведения начальства.

Из всех, кто его окружал, он считался только со своим замполитом Кудрявцевым. Конечно, Профессор (как звал его командарм) — умный человек. Но в военных делах он еще слабават, слабават...

Как бы там ни было, этот неприятный разговор Чураев запомнил и, зная крутой нрав Коробова, несколько ослабил «вожжи», впрочем, отнюдь не выпуская их из рук.

Управлять частями в длительной обороне сравнительно не трудно. Все находятся на своих участках, связь налажена, штабы — в землянках, и каждую минуту можно вызвать к себе кого угодно. Но с первых же часов наступления, когда обстановка начинает непрерывно меняться, управлять становится все сложнее и сложнее.

И вот наступил момент, когда Чураев понял со всей отчетливостью, что потерял управление полками. Связь прервалась. Туман застилал все то, что делалось впереди. Где они там, что с ними происходит, удалось ли им прорвать укрепленную полосу, он не знал, не видел, даже не мог вообразить... Коробов требовал донесений, а Чураев увиливал от прямого ответа. Он докладывал, что одни части втягиваются в такую-то балку, а другие втягиваются в такие-то хутора. Он прибегал к этому туманному термину каждый раз, когда не мог ответить ничего определенного.

Эти часы стоили Чураеву нескольких лет жизни. Какое преступление на поле боя карается строже, чем потеря управления войсками?! Нет такого преступления! Он сам приговорил себя к высшей мере наказания и не находил никаких смягчающих вину обстоятельств...

И тут на КП пришел Кудрявцев. Он был ранен в руку, бледен от потери крови, но держался. Профессор принес первое радостное сообщение: Дзюба гонит противника, и тот отступает перед всем фронтом дивизии. Чураев, сдерживая радость, приказал спешно нанести обстановку на карту, подписал ее и с нарочным отправил в штаб армии.

Все обошлось. Но сейчас, в короткую минуту неожиданного отдыха, сидя в полуразрушенном амбаре на краю полевой дороги, он вдруг вспомнил прожитый день от начала до конца, и ему стало не по себе. Ведь его и в самом деле могли ожидать большие неприятности!

Как же все это случилось? И что, собственно, произошло? Ответ простой: он думал, что все пропало, и метался в бессильной тревоге, а его полки в это время

дрались. И между прочим, сделали свое дело как надо. Однако ведь это же азбучная истина: когда управление войсками потеряно, взаимодействие между частями нарушается, и на поле боя начинается форменный кавардак...

Но ведь не начался же! Отчего?

Очевидно, по двум причинам.

Во-первых, должно быть то задание, выполняя которое каждый полк начинает свое наступление. Если только задание поставлено верно, оно не так-то скоро теряет свое организующее и направляющее значение, нет надобности все время проверять исполнителей, подталкивать их и подсказывать им.

Во-вторых, если командир — человек с головой и знает свое дело, он способен и сам развивать ту мысль, которая заложена в его задании, способен перестраиваться в зависимости от сложившейся обстановки, командовать и вести за собой людей на свой страх и свою ответственность...

Так и вышло. Его командиры оказались настоящими командирами — теперь уже не на учениях, а в деле. Этому нужно было бы радоваться, но радости почему-то не было. Чураев прекрасно понимал, что на этот раз многим обязан своим подчиненным, и сознание это лежало у него на душе тяжелым упреком. Он так привык распоряжаться судьбами других, так привык считать себя лучше и умнее всех тех, кто стоит ниже его на ступеньках служебной лестницы... И это еще не все — он привык считать себя человеком железной воли и до сих пор был искренне убежден в этом. Но ведь, если не лгать самому себе, его нервы сдали, когда он увидел, что оторван от своей дивизии. Он оказался в смешном и нелепом положении кучера, от которого убежала лошадь...

Но ведь это же, в конце концов, и есть то самое, о чем говорил тогда Коробов... Командарм прав, обижаться было не на что. Быть хорошим руководителем — не значит ежеминутно напоминать подчиненным, что ты их начальник и что ты диктуешь им свою волю. Совсем наоборот, надо поставить себя так, чтобы подчиненные сами нашли в тебе опору и сами стремились — со всем интересом, со всей живостью — осуществить твой замысел, как если бы он был их собственным...

Да, сегодня он получил хороший урок. Он должен найти в себе силы работать иначе. Но как?... Этого он еще до конца не понимал. Однако в этот поздний час, оставшись наедине со своей совестью, он понял главное. Его дивизия выполнила свою задачу. Выполнили ее и Кудрявцев, и начальник штаба, и командиры полков, и солдаты, а он, Чураев, как человек, коммунист и командир ее не выполнил...

2

В это время на километр южнее того амбара, в котором Чураев расположил свой командный пункт, в другом полуразрушенном амбаре Дзюба, держа карандаш в стынущих от холода руках, при свете «летучей мыши» писал, склонившись над планшетом, отчет о действиях полка за минувший день.

На душе у Дзюбы было горько... Нынче в бою погиб замполит Жигалов. Пуля пробила ему голову. Жигалова похоронили на склоне безвестного холма, и снег уже, наверное, запылил могилу. Теперь замполитом стал Силантьев, батальонный комиссар, присланный сюда из Политуправления фронта. Человек как будто отважный. Он добрался до полка, хотя целый километр ему пришлось ползти под обстрелом. Но Дзюба так сроднился с Жигаловым, так привык видеть его каждый день и час, жить с ним в одной землянке, иногда ссориться, а через полчаса читать письма из дому от жены, от детей... Нет, он просто не мог представить его мертвым.

Пальцы с трудом выводили на бумаге слова. Дзюба тряхнул головой, отгоняя от себя печальные мысли. Дело остается делом. Так как же все-таки описать сегодняшний бой?..

Его полк действовал совместно с танковым батальоном. Около роты бойцов он усадил на танки и двинул на опорные пункты противника. Два батальона удачно пробрались через проходы в минных полях и сразу устремились вперед, но были остановлены внезапным огнем из минометов и пулеметов. Из обломков укрепления, дзотов, которые он считал разрушенными, выползли недобитые гитлеровцы и оказывали яростное сопротивление. Вражеская оборона «оживала». Она, правда, не была уже такой сплошной и могучей, как прежде,

но все-таки ее огонь нужно еще было подавлять артиллерией. Дзюба позвонил артиллеристам. Они быстро справились с минометной батареей противника.

Пока артиллерия доколачивала оборону врага, Дзюба решил не терять времени и отдал приказ своим батальонам и танкам двигаться вперед по другим направлениям. Подразделения резко свернули влево и ударили во фланг вражеского опорного пункта. Но в это время из-за высоты показались шесть гитлеровских танков, за которыми двигалось до батальона пехоты. Они выходили во фланг и тыл двум атакующим батальонам, угрожая командному пункту Дзюбы, который находился в районе третьего батальона. Противотанковая артиллерия этого батальона подбила два танка, но тут показались еще три танка противника. Дзюба выдвинул вперед бронейщиков, и минут двадцать весь полк ожесточенно стрелял по атакующему батальону. Гитлеровцы несли огромные потери, но не переставали рваться к его командному пункту. Тогда Дзюба поднял третий батальон в контратаку. Танки и батальон вражеской пехоты были уничтожены...

А потом возникали все новые и новые обстоятельства, все время менялась обстановка. Прочитав первые строчки, Дзюба задумался. Как же все это коротко описать? Как привести в порядок всю эту мешанину?... Одельные его батальоны несколько раз атаковали противника во фланг и тыл, и сами были контратакованы. Один его батальон около двух часов был окружен и дрался в окружении, затем Дзюба сам с двумя батальонами окружил до батальона противника, ходил в атаку всем полком, переходил к обороне, помогал соседям, ему помогали...

К чертям! Разве можно все это описать?! У него времени нет, дел по горло. Да и пальцы совсем онемели.

Он написал всего несколько сухих, коротких фраз: «Задача выполнена полностью. Как уже докладывал, убит замполит Жигалов. Уничтожено до двух батальонов противника, захвачено 100 пленных. Группа Терентьева ушла в тыл противника выполнять задание. Подробное донесение вышло к 6.00».

Через полчаса Чураев получил пакет с донесением Дзюбы... Как помогло бы ему это донесение разобраться в том, что сейчас больше всего тревожило его, если бы Дзюба не был так скуп на слова!

Для рейда в тыл противника Терентьев подобрал людей надежных, испытанных. Поступок Зайцева показался ему ребяческим, и он, подробно расспросив парня, решил все-таки взять его с собой. Пусть пойдет, злее будет. Впрочем, Дзюба и сам уже смягчился и не стал настаивать на той мере наказания, которую назначил вначале.

Когда начало смеркаться, Терентьев повел свою группу в сторону противника. Марьям шла рядом с Яковенко, который, казалось, еще больше похудел за этот день. Они почти не говорили. Но идя с ним рядом, Марьям чувствовала себя как-то спокойнее.

Скоро стало совсем темно. Одетые в белые маскировочные костюмы, разведчики почти сливались с белевой снежной мглой. Со своего места Марьям уже едва могла разглядеть Терентьева, шагавшего впереди всех. Позади него двигалась сутулая фигура Павла Ватутина, несшего на плечах миноискатель и еще какой-то сверток. Шли молча. О том, чтобы закурить, никто и не думал. Справа и слева стреляли орудия. В темноту летели трассирующие пули. Терентьев послал вперед дозор. В него попали Зайцев и Яковенко. Федор был назначен старшим, и это почему-то обидело Зайцева. Он, конечно, понимал, что после того случая с пленным румыном его старшим не назначат. И то хорошо, что в разведку взяли. Но почему непременно Яковенко? Оба они сержанты, а к тому же — ровесники. Назначили бы кого другого!

Когда приблизились к высотам, на которых засел противник, Терентьев приказал дозорным прощупать пролегавший между ними овраг. Нельзя ли, прячась в тени его крутых склонов, проникнуть во вражеский тыл? Это было бы очень важно. Над холмами то и дело взвивались осветительные ракеты.

Федор и Зайцев исчезли в темноте, а разведчики притаились за склоном холма. Здесь было сравнительно тихо. Толща холма смягчала грохот орудий.

И вдруг издали донесся приглушенный расстоянием звук громкоговорителя.

Чей-то голос на плохом русском языке кричал в пустоту степи:

— Солдаты Красной Армии, сдавайтесь! Вы окружены!.. Выбирайте между жизнью и смертью!..

Слова звучали так жалко и неубедительно, что диктор, повторив призыв два раза, умолк, а чтобы подбодрить своих солдат, включил джаз.

Что это, неужели вправду? Больше похоже на страшный сон. Стрельба, ночь, скользкий скат заснеженного холма, ракеты, точно на празднике, ветер и эти ноющие звуки...

Вернулся Зайцев и тихо доложил Терентьеву, что в овраге установлен пулемет, но что с правой стороны его можно обойти. Терентьев приказал всем рассредоточиться и ползти, не теряя друг друга из виду. Марьям ползла предпоследней. Было очень трудно, руки то и дело проваливались в свежий, еще рыхлый снег и натывались на острую, колючую траву. Но передний край уже совсем близко, надо ползти, напрячь все силы, но ползти. Медицинская сумка все время сбивается под бок, и ужасно трудно управляться с нею и с автоматом одновременно. Но надо ползти, ползти...

Вдруг по цепи передается тихая команда: «Залечь!» Что такое? Марьям тревожно вглядывается и видит, что там, впереди, несколько человек все же продолжают движение — Терентьев и кто-то еще... Не разобрать...

Разведчики лежат уже у самого края оврага, над которым то и дело одна за другой повисают ракеты, озаряющие все вокруг мертвенно-белым светом. Внезапно откуда-то из глубины начинает бить пулемет. Пули летят совсем низко. Неужели окружены? Марьям зарывается в снег и слышит, как часто-часто бьется ее сердце...

Стук пулемета прекратился так же внезапно, как и начался. А затем вновь томительное ожидание. Время тянется бесконечно. Может быть, прошло двадцать минут, а может быть — и час. Наконец впереди кто-то появился, что-то сказал, и разведчики цепочкой двинулись вдоль правого края оврага. Теперь уже можно идти нагнувшись. Это много легче. Вдруг из темноты появляется Терентьев. В своем балахоне он похож на большого белого медведя.

— Марьям, — говорит он тихо, — где ты?

— Здесь, — отвечает Марьям.

— Сумка с тобой?
— Со мной!
— Бинты есть? Давай!..
— Я сама перевяжу! Кого? — говорит она, с тревогой думая о Яковенко.

— Да нет... Тут у меня царапина. Справлюсь...

Но она не дает ему бинт, и он покорно расстегивает халат, шинель, гимнастерку и нагибает к ней плечо.

— Пулеметчиков сняли, — тихо говорит он. — Один хотел кинжалом ударить. Видишь, только скользнул... А пулемет наш!

Продвинулся еще метров на сто. И вдруг Марьям замерла. Сверху, по пологому скату, прямо на нее спускалось несколько человек. Передний посвечивал себе под ноги фонариком. Это был офицер, за ним шли трое солдат. Они поравнялись с Марьям, пересекли овраг и, о чем-то говоря между собой, стали взбираться по другому склону. Не заметили!.. Марьям перевела дух.

Когда гитлеровцы скрылись, Терентьев подозвал к себе Яковенко.

— Вот что, Федор, — быстро сказал он, — ты перетяни пулемет на край оврага. А мы пойдем за ними. По всей видимости, там штаб... Если нас обнаружат, будешь прикрывать отход группы... Зайцев останется с тобой. — Он помедлил и добавил: — И Марьям!.. А потом отходи сам туда, к лазу. Мы будем ждать за оврагом...

Федор с помощью Зайцева перетаскил пулемет из ячейки, где лежали убитые вражеские солдаты, на вершину оврага и установил его в кустах. Отсюда, оставаясь незамеченными, они могли обстрелять другой, более низкий, край оврага, и в то же время у них оставался путь к отходу.

Лежа на снегу рядом с Федором, Марьям видела, как по противоположному скату поползли вверх сероватые тени. Затем они растворились в темноте, и на некоторое время стало тихо. Она смотрела перед собой до боли в глазах, но ничего не видела...

Федор лежал за пулеметом, крепко сжав рукоятку. Сбоку вздыхал Зайцев. Марьям хотелось сказать Федору что-то очень хорошее, хотелось спросить, видел ли он ее утром, когда пробегал мимо, или только случайно обернулся в ее сторону. Нет, не может быть, что-

бы случайно! Какое все-таки счастье, что они здесь вместе, что вообще они встретились...

Вдруг по ту сторону оврага раздался взрыв, за ним другой, третий... Послышались крики. Где-то совсем рядом застучал пулемет. И почти тотчас вниз по скату оврага заскользили светлые тени.

— Бегут!.. Бегут!.. — засуетился Зайцев. — Стреляй, Федор! Стреляй!..

— Куда стрелять? — зло ответил Федор — По своим, что ли!

Марьям неудержимо хотелось вскочить и броситься вперед, лишь бы не лежать в кустах, из которых ничего толком не видно.

— Ага, вот они! — вдруг прошипел Федор, и пулемет затрясся, стреляя трассирующими очередями по темным фигурам, которые катились вниз по противоположному склону оврага, вслед за светлыми тенями.

Черные фигуры падали, ползли, вскакивали... Слышался крик, даже чей-то стон.

Зайцев вдруг привстал на коленях и бросил гранату.

Неудачно! Граната упала на дно оврага и там разорвалась.

— Марьям! Отползай в сторону, — хрипло сказал Федор, — они тоже будут кидать! Зайцев, еще гранату... Быстро!..

Но Зайцев уже исчез где-то в темноте. Федор, ругая Зайцева на чем свет стоит, толкнул пулемет в яму и крикнул Марьям, чтобы она скорее прыгала в овраг. Они прыгнули вместе. В это мгновение там, где они только что стояли, разорвалась граната. Федор метнул гранату снизу вверх, и кто-то тяжело покотился по склону.

— Марьям, бежим!..

Они побежали. А сзади уже разгоралась стрельба. Стреляли беспорядочно, в разные стороны. Очевидно, нападение на штаб всколыхнуло всю оборону.

Вдруг Марьям споткнулась обо что-то и упала.

— Ранена? — крикнул Федор.

Она поднялась со снега.

— Нет, не я. Это Зайцев!

Федор нагнулся над Зайцевым, который лежал, распластавшись на снегу.

— Вот! — сказал он сквозь зубы. — Бежилшь раньше

времени, а ведь не убежал. Оставить тебя тут, труса этакого, и все!

И вдруг в темноте раздался прерывистый шепот:

— Ради бога! Ради бога!.. Возьмите меня с собой, не оставляйте... Ради бога!..

— Ишь ты, бога вспомнил! Ну, вставай!..— Федор нагнулся над ним и помог встать на ноги. Марьям подерживала его с другой стороны.— Теперь помоги мне взвалить его на спину. Вот так... А ты беги, беги, Марьям, я сам его дотащу!..

Но Марьям не побежала. Она шла чуть позади.

Вскоре они достигли выхода из оврага. Здесь их ждали остальные. Окруженные разведчиками, понуро стояли пятеро захваченных в плен немецких солдат.

Рана, полученная Терентьевым, оказалась опаснее, чем это ему померещилось в горячке боя. Он потерял много крови и ослабел.

Федор вынул из мешка плащ-палатку, расстелил на снегу и почти силой заставил лечь на нее Терентьева. Затем знаками он приказал четырем немецким солдатам взять плащ-палатку за углы и тащить. Терентьев тихо постанывал, плечо и рука мучительно болели.

Рядом с палаткой брел, увязая в снегу, щуплый немец в очках. Это он нанес удар Терентьеву. Солдата бил мелкий озноб, он искал с каким-то затаенным отчаянием поглядывал на раненого и, очевидно, каждую секунду ждал, что ему пошлют пулю в голову.

— Посмотри, что ты наделал, гадина! — крикнул ему Федор и взмахнул перед его лицом автоматом.

Пленный остановился и, не понимая русского языка, решил, что его час настал. Закрыв лицо руками в черных рваных перчатках и судорожно зарыдал.

— Не надо его трогать, ребята, — сказал Терентьев, — пусть живет. Пусть знает душу русского человека...

— Слышишь? — прошептал Павел Ватутин, трогая за рукав ковылявшего по тропинке Зайцева. — Ты слышишь?..

Зайцев тяжело вздохнул, жалобно взглянул на Павла и заковылял дальше...

Верный своему предельно лаконичному стилю, Дзюба в очередном донесении посвятил этому ночному поиску всего две строчки: «Разведгруппа действовала

успешно. Уточнила обстановку и доставила на КП пять пленных. Потерь нет. Два ранения».

Но были еще и другие итоги этой небольшой операции. В эту ночь Яковенко наконец понял по-настоящему, что за человек Марьям, как они нужны друг другу.

2

— Товарищ командующий! Прошу не отбирать пять танковых полков. А без тяжелой танковой бригады я не могу продолжать наступление...

— Но поймите, товарищ Рыкачев, мы должны сегодня ночью овладеть Горбатовским. Там три вражеские дивизии против одной нашей кавалерийской и нескольких батальонов гвардейцев. Они же погибнут!..

— Мои люди тоже гибнут, товарищ командующий!

— Товарищ Рыкачев! Вы продвинулись на двадцать километров! Мы должны выровнять фронт!

— Я не виноват, что Гапоненко топчется.

Ватутин чувствует чрезмерную усталость. Волнения прошедших бессонных суток, душевное напряжение — это невыносимо выдержать.

— Товарищ Рыкачев, после освобождения Горбатовского танки вам будут возвращены, а пока выполняйте приказ!

Трубка положена. Глубокая ночь. Кончился первый день наступления.

Не все, не все сложилось так, как изображено на красиво вычерченных таблицах. Но основное сделано. Оборона врага прорвана во многих местах. Полностью разбиты две дивизии противника и нанесено поражение трем. Армия Коробова продвинулась на своем главном направлении на десять километров, а в армии Рыкачева одна дивизия вклинилась в оборону врага на все двадцать.

Как причудливо изломана линия фронта. Уже намечилось окружение распопинской группировки противника.

Фронт — в движении.

И все же ночь — это ночь. Надо дать хотя небольшой отдых войскам, подтянуть и собрать части...

Под утро, не раздеваясь, лишь расстегнув воротник

кителя, Ватутин прилег на койку. «На минутку», — подумал он и сразу же заснул, словно впал в небытие.

А через три часа он уже снова сидел за картой.

Битва разгоралась все сильнее...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1

Перед Ватутиным суровая пустота походного стола, двухцветный остро отточенный карандаш, карта, испещренная красными и синими значками, донесения из армий, телефонные аппараты... Уже обозначалась стрела, летящая навстречу его войскам. Это Сталинградский фронт, начавший наступление двадцатого ноября. Он так же успешно выполняет свою задачу.

Корпус Штеккера! Вот он, на карте точно указано место его расположения. По его тылам, разрушая линии связи, громя склады и обозы, сметая штабы и части охранения, движется советский кавалерийский корпус. Вся вражеская оборона прорвана. Правда, есть еще очаги сопротивления. Вот — в Распопинской, а вот и еще ближе — на участке Коробова, где наступает Береговой. И чего он застрял? Почему топчется на месте?..

Ватутин берет трубку, чтобы позвонить Коробову, но в эту минуту в блиндаж входит майор Гришин. В руках он держит телеграмму.

— Товарищ командующий, — взволнованно докладывает он. — Из армии Коробова сообщают, что дивизия Берегового значительно отстала. Противник оказывает ей сопротивление превосходящими силами...

— Черт побери! — не выдерживает Ватутин и бросает телеграмму на стол. — Не может там быть у немцев больших сил. — Он быстро берет телефонную трубку.

Но Коробова на месте нет. Ватутину докладывают, что он уже выехал к Береговому.

Дивизию Берегового остановила на пути какая-то вражеская группа, укрепившаяся в широкой балке. Враг удерживал также ближайшие высоты, с которых далеко простреливалась местность.

Выбить ее с ходу Береговому не удалось. Тогда он распорядился плотно обложить балку со всех сторон. По его подсчетам, там было сосредоточено много сил, и хотя бы итальянцы или румыны, а то немцы.

Гитлеровцы сначала хотели прорваться сквозь кольцо, но выходы из балки были заперты.

Попробовали перейти в контратаку. После короткой артподготовки двинулись было широкой цепью, но быстро отступили.

Зато всякую попытку Берегового ворваться в их расположение они встречали ожесточенным огнем.

Береговой предпринял уже четыре атаки, и все четыре были отбиты со значительными потерями.

Он с лютой ненавистью смотрел на это чертово логово. Ему и самому было ясно, что долго топтаться на месте, когда вся армия стремительно движется вперед, непростительно. А тут еще Коробов чуть ли не каждые полчаса звонит и спрашивает: «Ну что у вас? Когда же?» Он трижды заверял командарма, что вот-вот двинется дальше, и трижды оставался на месте.

Комдив разносил командиров полков и комбатов, грозил строгими наказаниями, даже штрафным батальоном и возвращался к себе на командный пункт еще более раздраженный.

Здесь он в сотый раз останавливался, глядел на степь и балку, ломая голову над тем, что же теперь делать.

2

По деревенской улице, подпрыгивая на рытвинах, промчался вездеход Коробова и с разгона затормозил у хаты, где находился командный пункт.

Увидев в окно машину командующего, Береговой быстро сбежал с крыльца.

Коробов стоял около машины, заложив руки за спину.

— Здравия желаю, товарищ командующий, — сказал Береговой громко и как будто спокойно.

Коробов, не здороваясь, кивнул ему головой и жестко спросил:

— Вы намерены сидеть тут до конца войны?

Береговой промолчал.

— Я спрашиваю, о чем вы думаете? — вдруг крикнул Коробов. — Вы, товарищ Береговой, трижды меня обманули! Трижды! Что мне с вами прикажете делать?

Береговой молчал. Глаза Коробова сузились и потемнели. Было что-то упрямое и вместе с тем нерешительное в плотной фигуре стоявшего перед ним человека, в его холодном, уклончивом взгляде. Да, Ватутин недаром предупреждал, что в этой дивизии надо бывать почаще!

— Товарищ командующий, разрешите доложить, — сказал наконец Береговой, облизывая сухие губы.

— Докладывайте!

— В балке большая группа противника. Если мы пройдем дальше, то они могут пойти по тылам армии... Я докладывал вам об этом!..

— Докладывали... Но ведь вы хвалились, что быстро сомнете их, а они еще сидят.

Береговой, не отвечая, склонил голову.

— Сидят и будут сидеть там черт знает сколько времени, пока лошадей не поедят. Так мы, что ж, год ждать их будем?!

— Что прикажете делать, товарищ командующий?

— Окружить балку полком Федоренко и принудить к капитуляции. Остальными силами идти дальше...

— Товарищ командующий, разрешите доложить, — стараясь сохранить самообладание, опять сказал Береговой, — Федоренко не удержит их в балке.

— Нет, удержит! Должен удержать! Где сказано, что надо обязательно иметь в пять раз больше сил, чтобы сковать врага? Ведь вот они же вас держат, а их меньше.

— Это связано с риском, товарищ командующий.

— А вы что ж, хотите без риска войну выиграть? — Коробов сел в машину и коротко бросил: — Полк будет поддержан артиллерией... Основные силы двигайте по указанному маршруту... Исполняйте!

И машина тронулась.

3

Ватутину не сиделось в штабе фронта, и он выехал на несколько часов в войска. По пути подъехал к месту, обведенному на карте красным карандашом. Это

была та самая балка, возле которой едва не застряла дивизия Берегового.

Гитлеровцы не пытались отходить. Они думали, что перед ними по-прежнему целая дивизия, и старались удержать ее на месте как можно дольше.

Хатка, где еще недавно находился командир дивизии, теперь служила командным пунктом для подполковника Федоренко.

Как только Ватутин увидел крепкую, высокую фигуру подполковника в ладно сшитой шинели, он сразу узнал его.

Им доводилось встречаться на Воронежском фронте — и даже не раз. В памяти мгновенно возник обрывистый берег Дона под Коротояком, Чижевка, горевшая на вершине холма... За Коротоякскую операцию Ватутин самолично произвел майора Федоренко в подполковники. Это была занятная история. По плану командования полк Федоренко должен был отвлечь на себя внимание противника и дать возможность другому войсковому соединению занять более выгодные позиции и улучшить плацдарм.

Но Федоренко действовал так стремительно, так смело и уверенно, что план пришлось перестроить на ходу. Молодой командир полка стремительно атаковал противника, смял его, сам занял выгодные позиции и улучшил плацдарм.

Под Чижевкой дело обстояло совсем по-другому. Там немцы наступали, гоня перед собой для прикрытия пленных русских, и Федоренко растерялся, позволил им обмануть себя, отдал Чижевку.

Если бы не вмешательство Ватутина, ему бы пришлось плохо. Но Ватутин понимал и чувствовал, что Федоренко стоит побережь, и разрешил ему предпринять новую атаку. Чижевку отбили.

Сколько времени прошло с тех пор? Около полугода, а кажется, много больше. Впрочем, Федоренко почти не изменился. Только лицо потемнело, обветрилось да голос стал хрипловатым от морозного ветра.

— А, старый знакомый! — приветливо сказал Ватутин, пожимая большую руку подполковника. — Ну, как дела?

Федоренко доложил, что дела, в общем, хороши, он старается ни на одну минуту не давать врагу покоя, непрерывно обстреливает его. Кроме того, он собрал

роту разведчиков и послал их на дороги, чтобы перехватывать вражеские машины и связиных, если такие обнаружатся.

— Я думаю, товарищ командующий, они не догадуются, что перед ними всего полк,— сказал Федоренко, широко улыбаясь. Он был радостно взволнован встречей с командующим.

— Очень хорошо, подполковник, очень хорошо!— сказал Ватутин, выслушав доклад.— Правильно действуете. Но не довольно ли нам тратить на них снаряды? Я думаю, они прекрасно поняли, что отрезаны, никакая помощь к ним не прорвется. Предложите им немедленно сложить оружие.

Федоренко приказал прекратить огонь. Вслед за этим над полем загремел голос, в тысячу раз усиленный радиорупором:

— Немецкие солдаты, сдавайтесь! Вы в глубоком тылу. Вас ничто не спасет!.. Ваше командование обрекло вас на гибель... В плену вам будет лучше... Немедленно вышлите парламентариев!..

Ответом было несколько артиллерийских залпов, заглушивших голос Федоренко.

— А что, снаряды для «катюш» у вас еще есть?— спросил Ватутин.

— Да, я их берег, товарищ командующий,— ответил Федоренко,— на три залпа хватит.

— Дать по ним два залпа. Посмотрим, что они заговорят.

Через некоторое время ударили «катюши», и над балкой поднялось кровавое зарево. Вражеская стрельба стала беспорядочной.

И опять голос Федоренко загремел над полем:

— Немецкие солдаты! К нам подходит еще дивизия, вы все будете истреблены!.. Сдавайтесь!..

Противник ответил стрельбой, но на этот раз не такой ожесточенной. Очевидно, часть артиллеристов была уничтожена, а другие колебались, не знали, что делать.

Федоренко решил истратить последний залп.

Ватутин одобрил:

— Давайте, давайте! Надо поднять у них настроение, чтобы они живее решали.

Огненный смерч промчался в воздухе над зимним полем. Раздался громовой удар.

— Немецкие солдаты, сдавайтесь!— крикнул в радиорупор Федоренко.— Быстрее, быстрее, а то поздно будет!

Через четверть часа в землянку пришли немецкие парламентарии. Один из них был полковник, высокий, сутулый, бледный, несмотря на мороз. В его воспаленных глазах таилась тревога, ненависть, стыд, мучительное сознание своей слабости. Полковника сопровождал майор. Он шел, вздернув плечи и подняв воротник; лицо его нельзя было разглядеть, видны были только квадратные стекла очков да кончики обледенелых усов.

Ватутин очень спешил, но все же задержался ненадолго, чтобы самому присутствовать при разговоре с парламентариями. Он сидел в стороне, предоставив распоряжаться Федоренко.

— Мы пришоль по приказаний герр генерал Кляйнберг. Мы согласен сложить оружий,— сказал полковник, с трудом подбирая и коверкая русские слова.

— Давно бы пора, господа,— сказал Федоренко.— Сколько вас там?

— Драй полк,— ответил полковник.— Три...

— Три полка? Так!— улыбнулся Федоренко.— А орудий сколько?

— Цванциг,— ответил полковник.

— Двадцать, хорошо,— сказал Федоренко.— Смотрите, чтобы ни одно не было испорчено. Отвечаете головой!.. Немедленно сложите оружие и выведите солдат из балки по дороге, которая идет на запад. Для наблюдения за порядком с вами пойдет рота автоматчиков.

— Зо. Так,— ответил полковник, покорно наклоняя голову.

— Скажите, полковник,— обращаясь к немецкому парламентарю, спросил Ватутин,— на что вы надеялись, оставаясь в балке? Ведь вы знали, что вам нашего наступления не остановить?!

Заметив генерала, который до сих пор не принимал участия в разговоре, парламентар вытнулся и козырнул.

— Генерал Кляйнберг,— ответил он,— думал так: он будет устроить советский войск. Советский войск будет бояться попадать. Попадать... как это... по-немецки кассель...

— А по-русски котел,— сказал Федоренко.
— Да, да... котел... — поправился полковник.
— А попали в него сами,— сказал Ватутин.
— Мы не думали, что вы имеете так много войск и что ваш генерал будет решаться обходить нас! — ответил парламентар.
— Плохо думает ваш генерал,— усмехнулся Ватутин.— Времена изменились. Пришлось ему самому посидеть в котле. Ну, Федоренко, доводите дело до конца...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Танки идут... Они идут по балкам, тяжело переваливаясь через обрывистые склоны, мчатся по снежной целине, ослепительно сияющей в солнечных лучах.

Проходит день, наступает ночь, а танкисты не выходят из танков. Все время — вперед, вперед! Леденящий ветер дует в смотровые щели. В танке холодно, даже сквозь меховой комбинезон пробивает мороз усталых танкистов. Уже двое суток без сна, без отдыха. Дороги слились в одну непрерывную цепь оврагов, полуразрушенных деревьев, разбитых и сожженных машин брошенных отступающим врагом.

Где-то уже недалеко полотно железной дороги Лихая — Сталинград; один переход — и танки выйдут на берег Дона близ Калача.

Гитлеровцы стремятся вывести свою технику из-под удара. По дорогам на юг и восток растянулись вражеские колонны. Идут машины, груженные снарядами, бронетранспортеры, грузовики с пехотой... Для прикрытия отхода гитлеровское командование оставляет заслоны. Но это смертники... И ценой жизни им не удержать стремительного наступления.

Одним из танков корпуса Кравченко командует старшина Рыкачев.

Приподняв крышку люка, Валентин смотрит вперед. Десятки танков, рассыпавшись по степи, мчатся, поднимая гусеницами снежные вихри. Ветер колючий, резкий, но Валентин нарочно подставляет его ударам лица. Он до того устал, что сон овладевает им, как только он закрывает глаза.

На вторые сутки наступления Валентину стало казаться, словно всю жизнь он только и стремился вперед

в непрерывном движении, в грохоте стрельбы; чувство постоянно подстерегающей опасности до крайности обострило нервы и в то же время как-то притупило их. Он осязал приближающуюся угрозу так, словно броня стала теперь его кожей, каждый удар по ней вызывал физическую боль. Он упрямо шел навстречу опасности, и это всякий раз была борьба не только с врагом, но и с самим собой.

Валентин еще так мало прожил на свете, так мало видел, что все свершавшееся вокруг него казалось ему временами удивительно сложным и непонятным. Он чувствовал себя маленьким, затерявшимся в огромных событиях человеком. Когда-то в пылу ссоры отец сказал ему, что из него не выйдет хорошего командира.

Рыкачев не любил в сыне щегольства его белых рубашек, которые так шли к густым каштановым волосам. Нет, не такого сына хотел он иметь. И почему в его военной семье рос юноша, который не выдержит тягот войны, если она начнется. Сам не уследил, а Ольга поощряла как раз то, что нужно было подавлять в самом зародыше. Рыкачев был убежден, что на войне выживают только сильнейшие. Когда он узнал, что Валентин поступил в танковую школу, в первый момент он протестовал. Валентин — и танк! В его представлении это не совмещалось. Но исправить что-либо было уже поздно. Конечно, он мог добиться, чтобы Валентина отчислили и перевели на какую-нибудь тыловую базу снабжения горючим или на какой-нибудь артиллерийский склад. Однако такое грубое вмешательство было не в его правилах. Парень уже взрослый, пусть сам определяет свою судьбу. А в сокровенных тайниках сердца он уже простился с ним. Может быть, Рыкачев даже не давал себе в этом сознательного отчета, но он не верил в то, что Валентин переживет даже первые дни сражения. Тяжкие испытания сломят его...

При их последней встрече, несколько месяцев назад, Валентин почувствовал на себе долгий, испытующий взгляд отца. В этом взгляде не было нежности, а лишь затаенная тревога и сожаление. Тогда их встреча была короткой. Отец по каким-то делам приехал в Горький и по пути заехал к нему в школу, привез почему-то несколько пачек папирос, хотя Валентин тогда еще не курил.

Конечно, сын не знал о думах и сомнениях отца, но

он любил его и гордился им. И ничто более не ранило его, как то, что отец ни разу не навестил его уже здесь, на фронте...

Танки начинают взбираться на холм. Валентин видит вершину холма, на ней вражеские пушки. Артиллеристы выкатывают их на открытые позиции. Еще полминуты — и снаряды рвутся среди танков. Теперь надо спешить ответить огнем на огонь. Совсем нелегко, не уменьшая хода, попасть во вражескую пушку. Еще труднее уничтожить ее первыми же выстрелами.

А встречный огонь все ожесточеннее, все гуще...

Вот загорелся командирский танк соседнего батальона. Закрутился на месте и вспыхнул танк капитана Веселова. Густые, черные струи дыма потянулись вверх, и ветер медленно стал разносить их над степью.

Танки штурмовали холм с разных сторон. Передние машины пустили дымовую завесу, белая пелена быстро расплзлась по земле и скрыла за собой наступающих.

Горьковатый дым проник в смотровые щели танка. Валентин напряженно смотрел вперед, но ничего не видел. Только яркие вспышки разрывов то справа, то слева пробивали едкую и густую пелену тумана.

— Давай быстрее! — скомандовал он водителю.

В шлемофоне ответно прогудел голос сержанта Рыжкова:

— На последней идем, командир!

И в это мгновение машина вдруг выскочила из дымных облаков. Ослепительно ударило в глаза солнце. Валентин невольно зажмурился, но сейчас же заставил себя разлепить веки. В каких-нибудь двадцати пяти метрах перед ним стояла вражеская автоматическая пушка. Она была обращена в другую сторону. Но артиллеристы в шинелях мышиного цвета уже засуетились возле нее, поворачивая пушку навстречу танку. Еще секунда, другая — и выстрел в упор разворотит броню машины. Это были драгоценные секунды. Потерять их — значило потерять жизнь! Валентин выстрелил первый. Черный столб дыма встал перед самым танком. И тотчас под гусеницами завизжала, закрипела сталь, танк приподнялся, подминая под себя орудие, и тяжело сполз, почти рухнул вниз.

Валентин сильно ударился головой о броню, даже шлем не предохранил от боли.

Искалеченная вражеская пушка, вдавленная в землю, осталась позади.

А танкисты были живы. Их машины шли дальше — вперед, вперед!..

И от этого сознания усталость, сковывавшая тело, разом исчезла. Валентин и думать забыл о сне, пристально всматриваясь в степь.

Танки уже перевалили через холм. Вражеская оборона была смята единым ударом. Но впереди, километрах в двух, и без бинокля можно было разглядеть танки, бронетранспортеры, орудия на прицепах.

От колонны отделились пятнадцать танков ярко-желтого цвета, с коричневыми разводами.

Валентин уже несколько раз встречался с такими машинами. Всякий раз ему в голову приходила одна и та же мысль: стало быть, не шибко дерутся в Африке англичане, если гитлеровцы снимают оттуда танки и пересылают к нам. С нашего фронта небось не снимут...

Но долго раздумывать ему не пришлось. Радио принесло приказ генерала Кравченко: «Атаковать вражескую колонну».

Один бой кончился, начинался другой, еще более жестокий. Желтые танки широкой цепью двинулись навстречу «тридцатьчетверкам». Но, очевидно, командир гитлеровского отряда не ожидал, что из-за холма будут появляться все новые и новые машины. Глухо урча моторами, желтые танки приостановились, а «тридцатьчетверки» и КВ уже обтекали колонну.

На дороге началось смятение. Бронетранспортеры и грузовые машины пятились, разворачивались то вправо, то влево, пытаясь проложить себе дорогу и выйти из зоны окружения, но на дороге было тесно, они мешали друг другу, сталкивались. Через несколько минут на шоссе образовалась пробка.

В голове шумело, но Валентин уже пришел в себя. Он заметил, что грузовиков двадцать с солдатами и военными материалами, оторвавшись от колонны, устремились вперед. Они уже были примерно в километре, и передние машины, спустившись в ложину, исчезли из поля зрения. Что делать? Неужели же дать им уйти?..

Но как раз в эту минуту в шлемофоне зазвучал голос командира батальона майора Кузнецова: Рыкачеву и еще двум командирам танков нагнать машины и задержать их.

Ватутин говорил по «бодó» с Коробовым и с Гапо-
ненко, а Рыкачев никак не мог найти. Начальник шта-
ба армии генерал Ермаков доложил, что с самого ранне-
го утра Рыкачев вместе с членом Военного совета
Карповым выехал в дивизию, которая, как бесстрастно
выстукивал аппарат, «по непонятым причинам» без-
действовала со вчерашнего вечера. Этот ответ не на
шутку встревожил Ватутина. Хотя войска Рыкачева
уже значительно продвинулись вперед, однако задачу
второго дня все еще не выполнили.

Присев на табуретку рядом с молоденькой телегра-
фисткой — младшим сержантом, которая с полным со-
знанием ответственности обеими руками быстро ударя-
ла по клавишам аппарата, словно печатая на пишущей
машинке, Ватутин стал с пристрастием допрашивать
начальника штаба о положении дел в армии.

Все оказывалось гораздо хуже, чем он предполагал.
Колочим, нетерпеливым взглядом прищуренных глаз
Ватутин срывал с ползущей ленты каждое появляюще-
еся слово. Начальник штаба обстоятельно и методично
докладывал, что приказ командующего фронтом пока
еще не выполнен. В соответствии с его распоряжением
создана группировка из нескольких соединений, кото-
рая должна помочь дивизии «Игла»¹ разбить противни-
ка в районе Усть-Медведицкого. Но так как артполки,
назначенные для участия в этой операции, опоздали,
одна из дивизий, входящих в группировку, только в
четырнадцать тридцать перешла в наступление, а в
первой половине дня боевых действий не вела; другая
же дивизия, скованная противником, до сих пор еще
не перешла к активным действиям.

Противник ввел в бой в районе Усть-Медведицкого
части танковой дивизии, атаковавшей позиции дивизии
«Ковер». Первый раз атаковало сорок танков, через час
еще тридцать семь. Атаки отбиты, и соединение двину-
лось на юг. Связь с ним поддерживается только по ра-

¹ Условное кодирование частей, применявшееся при теле-
графных переговорах по прямому проводу.

дио. Положение уточняется. Дать исчерпывающие све-
дения о расположении войск в настоящий момент
начальник штаба пока не может, так как и сам еще не
имеет донесений.

Аппарат стрекотал, с тихим шелестом текла на стол
белая лента. И все светлее от сдерживаемой ярости
становились глаза Ватутина. Телеграфистка на какое-то
мгновение подняла глаза и, увидев выражение лица
командующего, стала работать еще усерднее, но плечи
ее при этом как-то сжались. Офицеры оперативного
отдела, которые стояли тут же, примолкли. Начальник
связи медленно приблизился к аппарату и, делая вид,
что подкручивает в нем какой-то винтик, краем глаза
скользнул по ленте. Бог ты мой! Что было бы с этим
начальником штаба, если бы не спасительное рассто-
яние...

Ватутин медленными движениями коротких паль-
цев терпеливо складывал ленту гармошкой, а когда
ее накапливалось много, быстро отбрасывал в сторону
и начинал собирать вновь, зажимая складки в кулак.
Наконец телеграфист из армии передал «тчк», лента
замерла.

В блиндаже наступило молчание. Все смотрели на
Ватутина, а он, ни на кого не обращая внимания, ко-
ротко бросил телеграфистке:

— Передавайте! Ваше управление войсками совер-
шенно несостоятельно. Штаб работает плохо. Вы не ор-
ганизовали боя. С этим преступным безобразием я ми-
риться не буду.— Последние слова Ватутин произнес
таким тоном, словно виноватый стоял тут же, прямо
перед ним.— На будущее предупреждаю: за такую ра-
боту отдам под суд. Передайте это немедленно генералу
Рыкачеву. Кроме того, передайте ему следующее:
впредь находиться на КП и без моего разрешения не
отлучаться... тчк.

Ватутин встал и быстрым шагом пошел к двери.
Скрипнули под его сапогами ступени, и все смолкло.

...Он вернулся к себе до предела раздраженный, с
потемневшим от гнева лицом. Сроки, которые он поста-
вил армиям, нарушены. И о чем только думает Рыка-
чев? Все спорит, чтобы доказать независимость харак-
тера, и теоретизирует, чтобы доказать независимость
ума. Недаром его в насмешку называют «Молытке-

младший». А управление не налажено. Начальник штаба не знает, где войска.

Пора бы понять наконец, что ноябрь 1942 года — это не июнь 1941-го. Все изменилось. Только поспевая за этими переменами, не то время сметет тебя с дороги, как ненужный хлам!.. А ведь некоторые еще живут старыми представлениями и страхами...

Сколько сил и здоровья стоил ему, например, кавалерийский корпус, командир которого никак не мог решиться на смелое обходное движение. Городок, занятый немцами и оставшийся в тылу, внушал ему какой-то суеверный ужас. Из-за этой глупой переоценки возможностей противника получилась заминка, которая обошлась очень дорого. Весь день двадцатого ноября кавалеристы вели бесплодные бои, атакуя противника в лоб. И только после категорического приказа Ватутина и Коробова. Обнаружив, что его обошли, противник отступил на юго-восток. Ну, а Береговой? В конце концов — та же история...

Нет, надо кончать с боязнью обходов. Сколько лишних жертв стоит тактика лобовых ударов, как мешает она нарастанию темпов.

2

Начав двадцатого утром наступление, Сталинградский фронт продвигался успешно. Войскам Ватутина до района соединения надо было пройти по прямой километров сто сорок, войскам генерала Еременко — около ста. Но дело было не только в количестве километров. Разница во времени нанесения ударов в значительной степени помешала противнику быстро разобраться в обстановке и понять, чего хочет советское командование. Ватутин тщательно фиксирует в памяти и на карте самые незаметные изменения боевой обстановки на всех трех фронтах. Положение складывается так, что, несмотря на большие трудности, воля к сопротивлению противника с часу на час тает, а оборона теряет свою упругость, расчленяется, составные ее части изолируются одна от другой.

Стремительность, дерзость и смелость решают судьбу операции.

Но иногда возникают досадные задержки. Некоторые командиры теряют темп, начинают вдруг действовать с оглядкой. Конечно, Ватутин, сердясь и браня виновных, в то же время понимал, что это не столько их вина, сколько беда, инерция отступления, сложившаяся за первый жестокий год войны. Жизнь заставляет таких идти вперед, и они идут, но не могут еще полностью избавиться от боязни окружения. А уж если признаваться самому себе до конца, то разве он сам иногда не думает о том же?.. Сколько раз он взвешивал обстоятельства, сомневался, думал, передумывал и опять сомневался... Вот и теперь его тревожит Вейхс. Не исключено, что, сосредоточив резервы в районе Нижне-Чирской, он нанесет контрудар вдоль реки Дон на север, чтобы, отрезав армию Юго-Западного фронта, облегчить положение окруженных гитлеровцев. Конечно, надо предвидеть, предупредить...

Он вызвал к телефону Коробова и приказал немедленно перебросить на новое направление кавалерийский корпус, который действует сейчас на севере. Вывести его из боя и как можно скорее направить к станции Нижне-Чирская, чтобы овладеть ею и не допустить прорыва противника на север вдоль Дона. Другой сильный отряд выдвинуть из Термосин.

Ватутина лихорадило. Он понимал, что от быстроты его действий зависит многое. Закончив один разговор с Коробовым он тут же вызвал его вновь и напомнил, что, выводя кавалерийский корпус, надо принять меры, чтобы противник ни в коем случае не прорвался на участке Ново-Набатовского. Коробов прогудел в трубку, что примет меры.

Однако Ватутину показалось, что в голосе у него нет достаточной уверенности.

— Михаил Иванович, — сказал он в трубку тем раздраженным тоном, от которого весь день не мог избавиться, — вам все ясно? Хотя бы одну из кавдивизий надо сегодня же ночью вывести из боя и форсированным маршем перебросить на юг. Мы не можем медлить. Понятно?

— Понятно, товарищ командующий, — ответил Коробов. — Но разрешите доложить: сегодня ночью дивизию нам не вывести. Никак нельзя.

— Почему? — взорвался Ватутин. — Почему нельзя?!

Ну вот, теперь уже и Коробов его подводит. Что они, сговорились все, что ли?

Но Коробов продолжал докладывать тем невозмутимым тоном, которого сам Ватутин всегда старался придерживаться при разговорах со своими начальниками и который поэтому так возмущал его в подчиненных.

— Товарищ командующий! Да вы послушайте. Сейчас уже поздний вечер. Командир, которого я пошлю, доберется до дивизии часа через четыре, не раньше. Теперь прикиньте: пока он отдаст распоряжение командиру дивизии, пока тот соберет части — вот уже утро будет. Ну а выводить дивизию днем, на глазах у противника, нерасчетливо и опасно. Противник может это заметить и принять свои меры.

— Так что же прикажете делать? — зло спросил Ватутин.

— Ждать до следующего вечера. А пока на место кавдивизии я поставлю «композитора».

Под этим глубоко невоенным названием скрывалась стрелковая дивизия.

Ватутин вздохнул. Ругайся не ругайся, а Коробов прав.

— Вот вы всегда так, — ворчливо сказал Ватутин, понимая явную несправедливость своих слов и все-таки не находя в себе сил удержать раздражение. — Всегда тысячи причин, которые мешают... Как у вас с Распопинской?.. Все топчется!.. Попусту время тратите!..

И он с досадой положил трубку.

Но на этом неприятности не кончились. Иванов доложил, что Рыкачев отозвал в резерв армии мотоциклетный полк, который двинули в прорыв — громить тылы противника. Южнее хутора Блиновского полк ввязался в бой с вражеским отрядом, который его на время задержал. И вот вместо того чтобы помочь полку пробиться дальше, Рыкачев отводит его в тыл. А Ватутин возлагал на мотоциклистов такие большие надежды...

Ватутин потребовал, чтобы в двадцать два часа Рыкачев был у телефонного аппарата. Он сам будет говорить с командармом.

Получив строгий приказ Ватутина вызвать Рыкачева к аппарату, Ермаков стал запрашивать по радио все части, где мог находиться командарм. В одном штабе ему ответили, что командарм здесь был и уехал, в другом — что им о Рыкачеве ничего не известно. Ермаков стал беспокоиться. Уж не случилось ли что-нибудь с ним по дороге? Тянулись часы. Наконец, потеряв терпение, он вызвал двух офицеров связи, приказал им сесть на машины и отправиться в разные стороны: авось где-нибудь на дороге и встретят командарма.

Однако едва офицеры связи уехали, как у КП остановился вездеход.

Когда худощавая фигура Рыкачева появилась на пороге, Ермаков даже слегка привскочил на месте:

— Товарищ командующий, а вот и вы! Наконец-то!..

Рыкачев скинул шинель, усталым движением повесил ее на гвоздь и вопросительно взглянул на Ермакова: с чего это он так обрадовался? Рыкачев был не из тех начальников, отсутствие которых печалит подчиненных. А Ермаков и в самом деле был рад: целый день он работал один, и за себя и за командарма, выслушал за него неприятнейшую отповедь Ватутина и меньше всего хотел беседовать с ним сегодня вторично.

Синие бланки с аккуратно наклеенной лентой переговора уже лежали в папке на столе Рыкачева. Но докладывать о том, что говорил Ватутин, Ермакову не хотелось.

Но все получилось не так, как он рассчитывал. Пока он докладывал Рыкачеву обо всем, что случилось в его отсутствие, тот завладел папкой и, перелистывая сводки, наткнулся на синие бланки.

Ермаков заметил, как в глазах Рыкачева по мере чтения все больше нарастало выражение обиды и ярости.

— Черт знает что такое! Ватутин разносит нас, как мальчишек! Откуда это у вас?

— Это переговоры по «бодб» Ватутина со мной, — бледнея, проговорил Ермаков.

— Так что же вы молчите о самом главном?! С этого надо было и начинать!..

Пока Рыкачев читал ленту, по временам саркастически покашливая, Ермаков внимательно и напряженно

следил за выражением его лица. Но Рыкачев оставался спокойным, и только в углах его тонких губ пряталась злая и насмешливая улыбка. Дочитав до конца, он с неодованием отодвинул бланки на край стола.

— Ну что ж,— сказал он, пожимая плечами.— На это ведь и отвечать невозможно. Когда человек ничего не хочет замечать— он не замечает. Поэтому Ватутин не заметил, что наши соседи — командармы все еще копаются, едва справляясь со своими задачами, а мои танки уже прошли больше полпути к Калачу; не заметил, что свои пехотные дивизии я послал на помощь его хваленому Коробову и Гапоненко, который не может продвигаться дальше переднего края... Он заметил только, что я отозвал мотоциклетный полк, в то время как он, Ватутин, хотел, чтобы мотополк двигался вперед. А что полк наверняка застрянет в сугробах на это ему наплевать. Тем более что отвечать за это будет Рыкачев, а не кто-нибудь другой...

— Ну, а как же все-таки быть с мотоциклетным полком? — робко спросил Ермаков.— Решение о нем я еще не принимал. Ожидал вас...

Рыкачев вспыхнул:

— Не понимаю, о чем тут спрашивать! Делайте, как приказал командующий. Гоните полк вперед — хоть к черту на рога!

— Командующий хотел лично говорить с вами,— сказал Ермаков, не глядя на Рыкачева.— Просит ровно в двадцать два быть у аппарата...

Рыкачев криво усмехнулся:

— Просил? Ну что ж, я исполню его просьбу. А пока отдохнуть бы часок. День выдался трудный...

Рыкачев остался один. Он вошел было в соседнюю комнату, постоял над своей походной койкой, но не лег, а вернулся к столу и сел на прежнее место.

Так он и сидел, слегка притоптывая ногой и в такт постукивая по длинным желтым зубам костяшками пальцев. «Знает или не знает? — думал он.— Очевидно, знает. Отсюда и все последствия...»

Дело в том, что во время подготовки к Сталинградской операции Рыкачев послал в Ставку личное письмо. Так называл он эту бумагу. В письме говорилось о том, что операция обречена на безусловный провал, потому что вся подготовительная деятельность Ватутина с точ-

ки зрения военного искусства — это чудовищная авантюра, и ничего более. Ватутин не способен к самокритике и не желает прислушиваться к критике товарищей по оружию.

На это письмо Рыкачев не получил ответа.

Если бы письмо произвело положительное впечатление, был бы ответ. Если оно не понравилось, должны бы последовать какие-то организационные выводы. Но какие и когда?

При встрече с Василевским он всякий раз пытливо вглядывался в его лицо, стараясь угадать, что значит это молчание. Но лицо Василевского было непроницаемо.

В последние дни ему начало казаться, что Ватутин знает об этом письме.

У них с командующим никогда не было хороших отношений, но сейчас эти отношения со дня на день становились хуже. Очевидно, Ватутин, зная обо всем, молча вымещал на нем обиду и злость.

Что же делать? Как вести себя?

Лучше всего какой-нибудь крупной, настоящей удачей перекрыть всю эту муть и разом доказать Ставке, чего он стоит.

Но ведь нужен подходящий случай. И предоставят ли ему козырную роль? Сомнительно... С тех пор как Ватутин узнал о письме, он ему не то что действовать, дышать не дает...

А между тем Ватутин ровно ничего не знал о письме Рыкачева.

В Ставке письмо было прочитано, обсуждено и оставлено без последствий. Решено было ни слова не говорить о нем Ватутину, чтобы не тревожить его в такой ответственный момент и не усложнять отношений.

...До двадцати двух часов Рыкачев терпеливо сидел у стола и ждал. Но Ватутин к аппарату не подошел. С Рыкачевым связался Иванов и передал ему очередные распоряжения командующего.

Рыкачев ждал нового разноса. Но Иванов был деловито сдержан и скуп на слова. У Рыкачева отлегло от сердца. «А может быть, все-таки не знает?» — подумал он.

Третий день наступления. Если взглянуть на карту, трудно понять, где линия фронта. Да, собственно, линии фронта и нет. Все перемешано. Далеко вперед протянулись красные стрелы, а между ними зажаты синие круги, овалы, полудуги, обведенные жирными красными линиями. Это блокированные очаги сопротивления противника. А вот на карте прочерчен сложный путь танкистов, которые двинулись на юг, а затем повернули на восток и на юго-восток. Армия Коробова, которой Ватутин передал несколько соединений из резерва, все более теснит распопинскую группировку, которая уже совсем изолирована.

И только одному Гапоненко отчаянно и, если можно так сказать, устойчиво не везет. Правый фланг его скован превосходящими силами противника. На этом участке войскам до сих пор не удалось перейти от обороны к наступлению. Наступает только левый фланг, да и то без заметного успеха. С большим напряжением, с большими потерями войскам удалось продвинуться в глубину вражеской обороны не более чем на три километра. Ватутин усилил армию Гапоненко гвардейским артполком и пехотной дивизией. Он приказал командарму ввести в бой резервные дивизионы «катюш» и привлечь к непосредственному участию в деле всю артиллерию армии из резерва Главного командования. По распоряжению Ватутина на помощь Гапоненко выехал начальник артиллерии генерал Грачев. По его же указанию, несмотря на то что погода не благоприятствует полетам, одиночные самолеты то и дело поднимаются с аэродрома для разведки и бомбежки. Во что бы то ни стало надо усилить натиск армии Гапоненко и протолкнуть его войска на реку Приушу!

Впрочем, неудачи его армии уже не могут повлиять на общий благоприятный ход событий. С каждым часом сближаются войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов. С каждым часом увеличивает напор Рокоссовский, прикрывающий левый фланг Юго-Западного фронта.

В три часа дня Ватутин получил сообщение от Рыкачева, что его 26-й танковый корпус овладел хутором

Перелазовский, а в селе Перелазовка разгромлены тылы и штаб 5-го армейского корпуса противника. По сообщению разведки, Паулус оттягивает корпус Штеккера к Сталинграду. Генерал Гот и его штаб уже двенадцать часов не подают признаков жизни. Радиостанция Паулуса разыскивает и окликает его открыто, без всякого шифра, очевидно, там уже не до маскировки. Но штаб Гота по-прежнему не отвечает. Стало известно, что Паулус со своим штабом перебрался в Нижне-Чирскую. На что он решится? Оставит ли свои войска в кольце или попытается вывести их, пока еще есть возможность?

Управлять фронтом Ватутина становится все труднее и труднее. Одна общая большая задача раздробилась теперь на множество частных. Вот, например, танки. Они стремительно движутся на юг и в своем движении отрываются от пехоты. Вражеские части, бродящие по степи в поисках друг друга, начинают кое-где наносить удары по тылам вырвавшихся вперед соединений. Значит, надо как можно основательней наладить взаимодействие. Ведь чем дальше на юг продвигаются войска, тем более широкую площадь они занимают. А это, в свою очередь, означает, что плотность боевых порядков становится все реже и слабее.

Да, есть над чем поломать голову.

Особенно тревожила Ватутина распопинская группировка. Судя по всему, на этом участке противник все еще надеялся на то, что его выручат. И действительно, время от времени в сторону группировки прорывались немецкие транспортные самолеты. Конечно, полностью снабжать по воздуху такое большое количество войск длительное время невозможно. Рано или поздно должна наступить развязка. Но нельзя терять времени на топтание вокруг обреченной группировки, войска поза-рез нужны в других местах.

Пытаясь ликвидировать блокаду распопинской группировки, противник бросил в сторону станицы Распопинская две танковые дивизии. По распоряжению фронта навстречу им были направлены танковые части из армии Рыкачева.

Встреча произошла у хутора Усть-Медведицкий. Обе немецкие танковые дивизии были разбиты наголову. Направлявшаяся на соединение с ними пехотная дивизия частями Коробова была пропущена к распопинской

группировке и блокирована. Таким образом, среди окружающих частей на одну дивизию стало больше.

Ватутин улыбнулся, когда Коробов доложил ему о своем маневре, но на сердце у него было тревожно. Это еще далеко не конец. Будут новые и новые подобные обстоятельства.

После того как утром двадцать первого ноября большая группа противника пыталась прорваться в направлении хутора Перелазовский, Ватутин посоветовался с Соломатиным, а затем позвонил к Коробову.

— Вот что, Михаил Иванович,— сказал он,— располпинская группа обречена. Я убежден, что генерал, который там сидит, понимает это не хуже нас. Знаете что, пошлите-ка туда какого-нибудь толкового человека... Ну, да... Парламентера. Пусть он предложит им сдаться. Я думаю, что это самое правильное и самое гуманное решение.

Коробов положил трубку и задумался. Отправить парламентаря? Это и правильно, и в то же время очень рискованно. Где гарантия, что он вернется назад? Сколько раз за эту войну Коробов убеждался, что противник не выполняет освященные веками, писанные и неписанные правила ведения войны. Надо послать человека смелого, мужественного, находчивого, который бы сумел в этом трудном положении вести себя умно и с достоинством.

2

Очевидно, уроки последних дней не прошли для Чураева даром. Всегда любивший и умевший поговорить, он стал теперь молчаливее, угрюмее, сдержаннее. Распоряжения отдавал коротко, сухо, без начальственных модуляций в голосе. «Сердит! — говорили про него подчиненные. — Ходит этакой тучей. Того и гляди, гром грянет». Но гроза всякий раз проходила стороной. Чураев был не только угрюм и молчалив, он стал терпеливее, проще, больше, чем когда-либо, прислушивался к мнению своих командиров.

Когда Дзюба сказал Силантьеву, что его срочно вызывает к себе Чураев, Силантьев удивился. По какому делу его могут вызывать в штаб дивизии?

Через пятнадцать минут, одетый в свой продымлен-

ный полушубок, он уже сидел в вездеходе рядом с шофером. Дзюба вышел за порог избы и, прищурившись от яркой белизны снега, подошел к машине.

— Ну что ж, поезжай,— сказал он хмуро.— Смотри... долго не задерживайся.

— Ясно,— сказал Силантьев.— Постараюсь... Думаю, что скоро вернусь.

И вездеход двинулся.

Через полчаса Силантьев был уже недалеко от штаба дивизии, расположившегося в двух домах небольшого хутора. Часовой остановил машину метрах в двухстах от домов и заставил отвести ее в укрытие. Силантьев поворчал немного на такие строгости. Но тем не менее подчинился и пошел пешком, увязая по колена в снегу.

Уже в сенях дома Силантьев понял, что у Чураева находится какое-то большое начальство. Около дверей топтались автоматчики из охраны. В первой комнате незнакомый полковник что-то тихо, но внушительно говорил начальнику штаба дивизии, и тот послушно кивал головой всякий раз, когда полковник, очевидно, заканчивал одну мысль и, переходя к другой, энергичным движением руки в черной кожаной перчатке как бы рубил воздух.

Заметив Силантьева, начальник штаба что-то сказал полковнику, и тот быстро обернулся, рассматривая его с живым интересом... У полковника было круглое, румяное от мороза лицо, и сам он был такой же круглый, румяный и благополучный. Теперь, когда он обернулся, Силантьев узнал его — это Дробышев. Однажды они оба были назначены в одну комиссию — обследовали состояние кавалерийского корпуса.

— А! Вот и сам герой дня! — воскликнул Дробышев, как-то очень ловко и плавно поворачиваясь к нему всем корпусом. — Быстро и оперативно! — И он слегка похлопал Силантьева по рукаву полушубка.

Это обидело Силантьева. Он сухо пожал руку Дробышеву и спросил:

— Мне можно пройти к командиру дивизии?

— Он тебя ждет! Но имей в виду, здесь и командарм Коробов. Оба хотят с тобой говорить. — Дробышев доверительно нагнулся к его уху. — Это я твою кандидатуру подсказал. Будешь героем. — Он выразительно и

многозначительно подмигнул.— Помни! Ну, ступай, ступай...

— Да, Чураев приказал, как явишься, чтобы сразу к нему,—по-приятельски обращаясь к Силантьеву на «ты», сказал начальник штаба.— Только вот поясок подтяни.— Он поглядел на заросший подбородок Силантьева и с сожалением заметил: — Побриться бы тебе... Ну ладно, некогда.

Стараясь скрыть удивление, Силантьев искоса поглядывал на своих собеседников. Что бы все это значило?

Он поднялся по скрипучим ступенькам, открыл дверь и сразу лицом к лицу столкнулся с Кудрявцевым, который, застегивая на ходу шинель, торопился к выходу.

— А, это вы? — сказал Кудрявцев, поправив на носу очки.— Идите вот в эту дверь, там ждет вас Коробов.— Уже переступив порог, он обернулся: — Он, видимо, чем-то очень раздражен. Советую больше слушать, меньше говорить... Я скоро вернусь. Увидимся!..

Силантьев одернул полушубок, вдруг почувствовав какую-то робость, и сам этому удивился. Ведь еще недавно в штабе фронта он безбоязненно заходил к самому члену Военного совета. А тут вызывает командарм, и уже волнуешься, даже в груди что-то екает.

Он слегка постучал в фанерную дверь.

— Входите!

Силантьев шагнул в небольшую прокуренную комнату и, ощущая какое-то каменное спокойствие, представился по всей форме. Коробов молча указал ему на табуретку, а Чураев, который находился тут же, ободряюще кивнул и улыбнулся.

Коробов сидел за столом в кожаном пальто на меху и от этого казался еще больше и шире, чем был на самом деле. Некоторое время он, нахмурившись, смотрел на карту, которая лежала перед ним. Должно быть, он совсем забыл о присутствии Силантьева. Чураев поднялся с места и нетерпеливо прохаживался от стола к столу, при всяком повороте с пристальным вниманием вглядываясь в лицо Коробова.

«Для чего они меня вызвали?» — с досадой думал Силантьев. Злость прогнала последние остатки волнения.

— Можете курить,— вдруг сказал Коробов, окинув

Силантьева внимательным суровым взглядом, словно оценивая его.

Силантьев вынул пачку «гвоздиков», закурил.

— Хотите «Пальмиру»? — Коробов придвинул Силантьеву открытую коробку.

— Спасибо, товарищ командующий! Предпочитаю свои.

Ответ Силантьева на мгновение словно озадачил Коробова, по его лицу прошло нечто вроде улыбки, он поднялся и, обойдя стол, сел на табуретку напротив Силантьева. Чураев подошел поближе.

— Скажите, товарищ Силантьев,— спросил Коробов,— вы женаты?

Силантьев удивленно пожал плечами.

— Нет, товарищ командующий!

— У вас есть отец, мать?

— Отца нет. Давно умер... Мать жива — в Ленинграде. Я хочу сказать: была жива, когда я уходил на фронт. Жива ли сейчас, не знаю. Давно не получал писем.

— Так.— Коробов помолчал, о чем-то думая, потом встряхнул головой: — Мне о вас говорили много хорошего, товарищ Силантьев. Говорят, вы человек храбрый.

— Не знаю,— смутился Силантьев,— думаю, что есть и храбрее меня...

Коробов нахмурился:

— Вы знаете, зачем мы вас вызвали?

— Нет, товарищ командующий.

— Командование поручает вам, товарищ Силантьев, крайне ответственное задание. Мы хотим послать вас парламентаром к окруженному противнику. Вы должны передать их командиру предложение о немедленной капитуляции. Мы против ненужного кровопролития. Вручив ультиматум, вернетесь с ответом.

Силантьев поднял глаза и в упор взглянул в лицо Коробову. Хмурое лицо командарма как-то потеплело, в глазах появилось выражение пристального, участливого внимания. Силантьев понял, что в этот момент они думали об одном и том же — о том, что риск велик и вернуться с ответом удастся едва ли...

— Могу я оставить в штабе адрес моей матери?

— Да, конечно,— ответил Коробов.

— Партийный билет сдать?

— Да, партбилет с собой лучше не берите,— сказал Коробов.

— Ордена?

— Ордена наденьте.

— Когда идти?

— Через час-полтора... Как только произведем подготовку.

— Как мне назваться?

— Командиром, которого уполномочило командование Красной Армии.

— Я должен что-нибудь им вручить?

— Нет. Вы должны передать им наше предложение устно. Если вас будут оскорблять, держитесь с достоинством. Не отвечайте.

— Я могу иметь при себе оружие?

— Возьмите пистолет.

— А если они захотят его отобрать?

Коробов усмехнулся:

— Придется отдать. Ведь там — они хозяева. — Он помедлил. — Ну, еще какие у вас вопросы?.. Да, постарайтесь оставаться там не более двух часов и вернитесь засветло. Ведите себя так, чтобы они не могли заподозрить вас в шпионских или других злостных намерениях. Постарайтесь рассеять страхи, которые внушают солдатам гитлеровцы. Ведь они там думают, что в плену их ждут вечная ссылка, расстрелы, пытки. Скажите, что офицерам мы оставляем ордена и холодное оружие. Всех обеспечиваем продовольствием и медицинской помощью. Понятно?

Силантьев поднялся:

— Понятно, товарищ командарм.

Коробов также поднялся и вдруг крепко сжал руку Силантьева.

— Желаю вам удачи, товарищ Силантьев! Товарищ Чураев сам будет на участке, где вы будете переходить. В руках держите белый флаг. Огонь мы прекратим и этим заранее дадим знать противнику, что идет парламентар.

3

Чураев приказал Силантьеву побриться. Ему выдали со склада новый полушубок и новый хрустящий ремень. Ординарец притащил простыню, разорвал ее на

две части и, вооружившись дюжиной гвоздей, начал мастерить белый флаг.

Из оставшегося куска Силантьев вырвал широкую полосу и обернул ее вокруг правого рукава полушубка. Чураев самолично пришил болтающийся конец булавкой и, взглянув на Силантьева, остался очень доволен. У парламентаря был внушительный и в то же время миролюбивый вид.

— Мне так со знаменем и шагать? — спросил Силантьев, с невольным юмором представляя себе, как, сжимая в руках эту кривую жердь с белым полотнищем, он идет по кочкам один на позиции врага.

— Нет,— сказал Чураев, с удовлетворением наблюдая за тем, как ординарец заколачивает в жердинку последний гвоздь.— Мы сами поднимем его на том участке, где вы пойдете.

— Ну, а если они его не заметят?

— Заметят! Мы и через репродуктор их оповестим...

Теперь, когда Коробов уехал к себе на КП, Чураев почувствовал себя увереннее. За эти дни он как-то вновь обрел себя, и ему казалось, что никто не заметил его тревог и сомнений. Несколько раз он пытался прощупать Кудрявцева, но тот словно не понимал его намеков, и Чураев постепенно успокоился.

И вот теперь это новое задание Коробова. Чураев прятал от самого себя и все же не мог до конца подавить тщеславную мысль: если Силантьеву удастся заставить противника капитулировать, то это будет записано в актив его, чураевской, дивизии. Силантьева он не знал, но его так настойчиво рекомендовал Дробышев, что Чураев без долгих разговоров согласился. Он был не охотник спорить с работниками штаба армии, даже со второстепенными. К тому же Силантьев ему понравился. Он вел себя с Коробовым так, как Чураеву хотелось и не удавалось вести себя с начальством. А ведь парень еще совсем молодой и не занимает особого положения. Скажите пожалуйста: «Свои буду курить!» Молодец, молодец! Недаром Дробышев так его расхваливал!

В то время как Чураев думал о Силантьеве, сам Силантьев, примостившись в углу комнаты, не переставая курил тоненькие «гвоздики», глубоко затягиваясь едким, саднящим горло дымом. Только теперь, когда он сдал свой партбилет начальнику политотдела, по-настоящему понял, что ему предстоит.

Место для перехода Чураев выбрал на участке соседнего с полком Дзюбы саперного батальона. Здесь линия фронта вилась меж холмов, раскинувшихся на расстоянии примерно двухсот метров один от другого. Противник не мог не услышать голос из репродуктора, не мог не увидеть поднятый на вершине холма белый флаг.

И вот белый флаг взвился. Голос переводчика из штаба армии, сгущенный громкоговорителем, несколько раз прокричал в сторону противника: «Прекратите огонь! Прекратите огонь! Сейчас линию фронта перейдет парламентар».

Чтобы придать этому призыву больше убедительности, Чураев и сам приказал прекратить огонь на этом участке фронта. С тревожным напряжением вглядывался он в позиции противника. Что-то будет? Замолчат или нет?

Прошло минут пятнадцать, и вражеские орудия тоже утихли. Солдаты выходили из-за укрытий, с любопытством разглядывая белый флаг.

Силантьев стоял около Чураева, прижимая к глазам бинокль, и старался не замечать любопытно-внимательных взглядов, обращенных на него. Все уже знали, что он и есть тот самый человек, который один, без спутников, должен перейти линию фронта и передать предложение командования противнику.

А Силантьев вдруг почувствовал, что он ужасно голоден. В тревогах и волнениях сегодняшнего дня он совсем забыл поесть, а сейчас было уже поздно. «В самом деле,— подумал он, усмехнувшись,— ну как тут попросить, чтобы тебя перед уходом накормили, когда ты идешь выполнять историческую миссию и, может быть, уже не вернешься?.. Смешно, неловко! Да и кто знает, так ли уж необходимо заправляться борщом и тушенкой перед тем как сыграть в ящик?»

На вершине холма, за спиной у Чураева и Силантьева, ветер трепал белый флаг. До сих пор Силантьев только в книгах читал о том, что при перемирии выбрасывают белые флаги, а сейчас он увидел это своими глазами. Было очень странно ощущать себя в центре всей суеты, что происходила вокруг.

Чураев отдавал какие-то распоряжения, кто-то куда-то бежал, исполняя приказ, возвращался, докладывал,

но Силантьев уже совсем выключился из жизни, которая шла здесь, по эту сторону черты. Он смотрел перед собой на скат холма, по которому предстоит спуститься вниз, на узкое дно оврага и на крутой подъем вверх на другой холм, где темной изломанной полосой протянулись вражеские позиции.

Солдаты, находившиеся прямо перед ним, не стреляли. Очевидно, они получили такой приказ. Но когда он будет на самом дне оврага, то окажется в поле зрения снайперов, и его смогут подстрелить издалека. Впрочем, снайпер должен будет увидеть белую повязку у него на рукаве. Если только эта повязка имеет для них какое-нибудь значение.

Бледное, взволнованное лицо Чураева повернулось к нему, и Силантьев понял по его взгляду, что время наступило.

— Ну, Силантьев, иди! — сказал Чураев и вдруг, обняв его, крепко поцеловал в щеку. — Иди, друг! Мы будем ждать тебя...

Силантьев кивнул. «Попросить, что ли, чтобы, в случае чего, позаботились о матери? — подумал он. И тут же сам одернул себя: — Нет, не надо. А то выходит, что я и впрямь собрался умирать».

— Значит, так вот и пойдешь,— громким шепотом говорил Чураев, указывая вдаль рукой. — Выйдешь на бруствер, поднимай руку вверх, махни платком, а затем быстрым шагом вперед — самым кратчайшим путем. Понятно? Если начнут стрелять, забейся в какую-нибудь яму. Мы тебя прикроем огнем, а ночью вызволим... Понятно? Ну идем, я тебя провожу. — И, подхватив Силантьева под руку, Чураев первым выскочил на край окопа.

— Куда вы! Куда вы! Товарищ комдив! — закричало несколько голосов, но Чураев даже не обернулся.

Он дошел с Силантьевым до того места, где холм резко обрывался книзу. Здесь он еще раз крепко пожал Силантьеву руку и остановился на виду у противника, провожая его взглядом.

И Силантьев пошел. Он шел, мерно помахивая руками, словно собрался в длинный путь и решил как следует рассчитать свои силы. Помахать платком, как учил его Чураев, он забыл, а просто шел вперед и вперед, чувствуя, что какая-то тяжесть давит ему на серд-

це и каждый шаг дается с огромным трудом. Ему казалось, что тысячи ружей нацелены ему в грудь, в голову, в глаза. Он физически ощущал на себе прицел вражеского пулемета. Одна короткая очередь, и он ткнется лицом вот в эту белую кочку. Но нет, кочка хрустнула под его ногой, а он еще жив.

Он преодолевал лежащее перед ним пространство шаг за шагом, шаг за шагом. Воздух словно железный, так он плотен, жесток, так трудно прорезать его грудью. А за спиной до того просторно, свободно, что просто тянет повернуться и со всех ног броситься назад.

Но он идет вперед, глядя прямо перед собой и не позволяя себе обернуться. Здесь, у подножия холмов, ничейная земля. Здесь никто не ходит, снег белый, нетронутый. Он лежит волнистыми грядами, кое-где из-под него выбивается пожелтевшая трава.

Силантьев сам не заметил, когда и как чувство страха сменилось в нем полным спокойствием. «Раз не стреляли издалека, теперь уж и подавно стрелять не будут», — думал он, не спеша поднимаясь на другой холм и прикидывая на глаз, сколько еще осталось до позиций врага. Должно быть, метров сто, не больше. И вдруг новая мысль неожиданно пришла ему в голову: а что, если они захотят взять его в плен, добиться от него нужных им сведений? Что, если это их молчание — только ловушка? И сейчас злорадно ждут, видя, как нужный им «язык» идет к ним сам. Готов ли он к самому худшему?

Эта мысль была так внезапна и остра, что Силантьев даже приостановился, чтобы перевести дыхание. Все в нем напряглось. Но оставались уже считанные шаги, и он прошел их так же размеренно, как и весь путь, самый трудный в его жизни.

— Стой!

Из-за холма показался высокий усатый румынский офицер в ярко-зеленой шинели и высокой меховой шапке. Кажется, капитан. Он настороженно и строго смотрел на Силантьева, который хоть и был вполне подготовлен к малоприветливой встрече, все-таки чуть заметно вздрогнул, услышав этот резкий чужой голос. Он остановился почти у самого края окопа, из глубины которого на него с любопытством смотрело человек пять солдат, обросших черной щетиной и лиловых от холода.

— Кто вы такой? — спросил румын, довольно хорошо выговаривая русские слова.

— Я парламентар, — сказал Силантьев, выдерживая взгляд прищуренных и злых глаз офицера. — Проведите меня к вашему старшему командиру.

— А что вам надо?

— Это я скажу ему.

Офицер усмехнулся и о чем-то быстро заговорил с другим офицером, чином младше, который выбежал из блиндажа. Потом он знаком велел Силантьеву следовать за собой и зашагал к блиндажу, дверь которого виднелась в другом склоне холма. Перепрыгнув через окоп, Силантьев пошел по узкой тропинке туда, куда вел его усатый. Младший офицер замыкал шествие.

В маленькой, наскоро выкопанной землянке было холодно. На походном столе валялись пачки галет, патроны, револьвер, смятая карта. Тут же стояли два телефона. Усатый офицер куда-то позвонил и, неприязненно оглядывая Силантьева с ног до головы, стал, видимо, докладывать о его прибытии. Разговор продолжался довольно долго. Силантьев ни слова не понимал по-румынски, но внимательно слушал, стараясь по голосу офицера догадаться, что будет дальше. Куда его поведут?

Наконец офицер положил трубку и, повернувшись к Силантьеву, резко спросил:

— Оружие есть?

— Есть, — сказал Силантьев.

Офицер молча протянул руку. Силантьев расстегнул полушубок, вынул из кобуры ТТ и с сожалением вложил его в большую ладонь румына. Тот мельком взглянул на револьвер и небрежно бросил его на стол.

— Повернитесь, — сказал он.

Силантьев повернулся. Тотчас же он почувствовал, как его лицо и глаза плотно сжало холщовое полотенце. Он невольно рванулся, но румын с силой схватил его за локоть.

— Так генерал приказывает — доставить с завязанными глазами, — сердито сказал он. — А если не будете исполнять...

В голосе его послышалась явная угроза.

Силантьев глубоко вздохнул и промолчал. Теперь он ничего не видел. Полотенце мешало поворачивать голову, мешало дышать.

Румын взял его за правый рукав выше локтя и куда-то повел. Они спускались вниз, потом поднимались на какую-то горку. Силантьев слышал голоса многих людей. Затем его втолкнули в машину и куда-то повезли по тряской дороге.

Ехали минут тридцать. Силантьев никогда не думал, что туго стянутое полотенце может причинять человеку столько неприятностей. Болела голова. Лицо онемело. Временами ему хотелось сорвать к чертовой матери это проклятое полотенце. Но он помнил предупреждение Коробова. Он — парламентар, и противник не должен заподозрить в нем шпиона.

Однако до чего же раздражала его собственная беспомощность. С одной стороны, он представляет могучую силу, которая способна смять и, конечно, сомнет всех этих людей, и в то же время он здесь один и совершенно беззащитен. Тише, тише, брат, терпи! То ли еще будет...

Наконец машина остановилась.

Судя по тому, что он задел плечом какой-то столб, его провели в калитку, затем короткой дорожкой до крыльца. Никто не предупредил его, что впереди ступенька, но он сам обострившимся до предела чутьем ощутил ее и не споткнулся. Хлопнула дверь. Силантьева обдало теплом, спертым запахом табака и сырых шинелей.

С него сняли повязку, и словно свет зажегся. Силантьев открыл глаза и увидел обыкновенную маленькую хатку с большой русской печкой. У окна, за столом, сидело несколько офицеров. меховые воротники совсем почти скрывали погоны, и Силантьев не сразу понял, кто здесь старший. Однако, судя по тому, что офицеры выжидательно поглядывали на немолодого уже командира с крупными чертами угрюмого и умного лица, Силантьев решил, что это и есть старший начальник, очевидно, генерал.

Капитан по-румынски сказал генералу несколько слов, тот сдержанно улыбнулся и что-то ответил. Все остальные продолжали хранить полное и напряженное молчание. Капитан повернулся и резко сказал Силантьеву:

— Перед вами командир дивизии. Говорите, что вам надо!

Силантьев выпрямился.

— Я парламентар, — сказал он как можно более вежливо и спокойно. — Я пришел к вам предложить немедленную капитуляцию.

Капитан перевел его слова. Генерал и все остальные переглянулись. В комнате стало как будто еще тише. Затем, не глядя на Силантьева, генерал бросил какую-то отрывистую фразу, встал и вышел, хлопнув дверью.

— Здесь этот вопрос решить не могут, — сказал капитан, — мы повезем вас в другое место.

— Чего же вы сразу не повезли! — сердито проговорил Силантьев. — Давайте, да побыстрее!

В ответ капитан затянул узел на его затылке еще туже. Силантьев выругался про себя и вновь покорно пошел, как слепец, подчиняясь чужой и недоброй воле.

Опять машина запрыгала по разбитым колеям. В висках у Силантьева стучала кровь. Капитан и шофер о чем-то говорили между собой и посмеивались. Это показалось Силантьеву дурным предзнаменованием. А в то же время сознание, что его везут с обычными предосторожностями, успокаивало и придавало бодрости. Что ж, потерпим еще немного. Очевидно, его везут к какому-то очень большому начальнику, если генерал, командир дивизии, отказался взять на себя решение вопроса. Интересно, к кому он попадет, к командующему армией или, может, всей группировкой? Так или иначе, они, видно, и сами понимают, что их дела плохи. А то не стали бы его возить к такому начальству. Силантьев выпрямился и горделиво откинул назад стянутую полотенцем голову, стараясь ничем не выдавать своего волнения...

Когда его ввели в дом и сдернули повязку, он понял, что здесь и есть тот штаб, где произойдет решающий разговор. Его конвой вытянулся перед маленьким, тщедушным человеком с властными движениями, в генеральской форме, тщательно побритым и надушенным. Лицо у генерала было худощавое, черты лица мелкие, профиль острый. Он сидел, откинувшись на спинку стула, заложив ногу на ногу, и с любопытством рассматривал Силантьева, который, остановившись посередине комнаты, невольно расправил плечи, слегка расставил ноги и наклонил вперед голову, словно боксер на ринге перед началом схватки. Кроме этого маленького генерала Силантьев заметил и того генерала,

у которого он уже успел побывать. Тот генерал стоял у окна в напряженно-выжидательной позе и о чем-то тихо переговаривался с полковником; у полковника была перевязана голова, и казалось, что прямо из-под белого бинта торчат два длинных черных уса.

На этот раз офицер, сопровождавший Силантьева, отступил на несколько шагов и встал у него за спиной.

— Так вы парламентар? — по-русски спросил маленький генерал, не меняя позы и небрежно играя карандашом, который держал в руках.

— Парламентар, — коротко ответил Силантьев.

— У вас есть письменные полномочия?

— Нет. Мне приказано передать вам предложение нашего командования на словах. Вот оно: или капитулировать, или быть уничтоженными — всем до единого! — Он сказал это с неожиданной для самого себя резкостью, бессознательно мстя за все те унижения, которым его здесь подвергали. Пусть этот надушенный фашист убивает его на месте, но пусть знает, что ждет его самого, если он не согласится на капитуляцию.

Однако брошенные им слова заставили генерала как-то невольно повести узкими плечами.

Другой генерал, стоявший у окна, что-то глухо пробормотал, очевидно выругался, и Силантьев убедился, что он тоже понимает по-русски.

— Какие ваши условия? — помедлив, спросил старший из генералов.

— Мы оставляем всем офицерам ордена и холодное оружие. И командиров и солдат обеспечиваем питанием и медицинской помощью.

— Еще что?

— Больше ничего... Куда вести солдат и где сдавать оружие, будет указано дополнительно.

По тому, как с ним разговаривали, Силантьев понял, что будет смешно и нелепо пуститься сейчас в объяснения по поводу того, что о ссылке и пытках гитлеровцы все врут. Перед ним были матерые враги, они сами отлично знали правду, ведь ложь исходила именно от них. Эти люди сознательно и цинично ведут свою игру, и надо говорить так, чтоб они поняли, что игра эта ими уже проиграна.

— А вы уверены, что наше положение безнадежно? — спросил генерал, стараясь сохранить спокойствие и напряженно улыбаясь краями тонких губ.

— Уверены, — ответил Силантьев. — Мы против нужного кровопролития. Еще день, еще два, и вы сложите оружие.

Генерал развел руками:

— Но на войне иногда погибают одни, чтобы победили другие. Мы солдаты... — Он встал, отбросив ногой стул.

Сердце у Силантьева забилося.

«Примет предложение, — подумал он, — похоже, что примет».

В это мгновение в комнату вбежал, вернее, ворвался молодой, некстати нарядный офицер. В руках у него была какая-то бумага. Он был радостно взволнован и, не соблюдая никаких норм военной субординации, шагнул прямо к маленькому генералу, что-то прошептал ему на ухо и сунул в его дрогнувшие руки листок.

Генерал прочел, и лицо его слегка порозовело. Не говоря ни слова, он передал листок — очевидно, радиogramму — другому генералу, тот прочел и протянул полковнику. Словно не веря глазам, оба прочитали листок по нескольку раз и, перечитав, обменялись с командующим короткими, но красноречивыми взглядами.

Силантьев не понял, что случилось, но в груди у него тревожно заныло: уж не сумели ли враги где-то прорваться?..

Генерал помолчал, пожевал тонкими губами и взглянул на Силантьева глазами, в которых не было и намека на те колебания, которые, как показалось Силантьеву, прятались в глубине его небольших, бесцветных глаз во время их разговора.

— Так вот, господин парламентар, — сказал он жестко, хмуря брови, — передайте тем, кто вас послал, что мы будем драться до последнего снаряда, до последнего патрона, до последнего человека... Вам ясно?..

— Ясно, — сказал Силантьев.

Генерал повернулся к капитану:

— Доставьте его назад!

На этот раз проклятый капитан затянул узел так, что череп у Силантьева чуть не треснул. Он подавил стон и сам перешагнул через порог. Дверь не успела закрыться, как за спиной у него в комнате шумно и возбужденно заговорили.

Машина шла с большой скоростью. Капитан сидел рядом, но уже больше не говорил с водителем, а только

сердито посапывал. Силантьев старался припомнить, какое выражение лица было у генерала в ту минуту, когда его прервал вбежавший офицер. Нет, что ни говори, а они уже готовы были сдаться... Что же случилось? Что было в той радиограмме, которую они получили? Что их так приободрило или припугнуло?

Настроение у Силантьева безнадежно испортилось. Так бы хотелось после всего пережитого прийти и доложить Чураеву, что они сдались. Так нет же — все зря. Напрасные тревоги, напрасные унижения...

Наконец машина резко затормозила, Силантьева бросило вперед.

— Снимай повязку,— сказал над ухом капитан.

Силантьев сорвал и бросил полотенце на снег. Кровь хлынула в голову, и он пошатнулся от внезапной слабости.

Силантьев огляделся. Знакомое место. Изгиб холма, откуда он начал свой путь вместе с капитаном. А там вдалеке, напротив, ветер полощет белый флаг над холмом. Ну и заждался же его, наверное, Чураев.

— Иди,— сказал капитан и небрежно махнул рукой.

— Пистолет отдай,— сказал Силантьев.

— Он будет мне на память,— усмехнулся капитан.— Иди, иди и не поворачивайся.

Силантьев вновь перепрыгнул через окоп, в котором сидели солдаты, сделал несколько шагов вниз по склону и вдруг в ярости обернулся.

— Ну, погоди! — крикнул он капитану.

Однако капитан уже успел скрыться за выступом холма, иначе неизвестно, чем бы кончился для Силантьева этот заключительный разговор.

И вот он опять идет размеренным шагом, ощущая спиной, плечами, затылком, как в него целятся враги. Теперь-то уж ничто не мешает им убить его. Но он шел и шел. И может быть, это внешнее спокойствие спасло его. Гораздо легче и завлекательней стрелять в бегущего — сразу возникает охотничий азарт: а сумею ли я поймать его на мушку!.. Силантьев двигался, пожалуй, чересчур медленно, слегка переваливаясь с ноги на ногу.

Только в самом конце пути, когда оставалось всего каких-нибудь десять шагов, он вдруг сделал прыжок и буквально ввалился в окоп к Чураеву...

Ветер продолжал трепать на вершине холма забы-

тый белый флаг, а по всему участку уже начинала нехотя расползаться перестрелка.

Что же произошло в румынском штабе? Об этом стало известно лишь через несколько дней.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Пропади ты пропадом, эта балка! Сколько тяжелых часов пережил возле нее Береговой.

Так бывает только во сне: тебе кажется, что ты уже выбрался из какого-то заколдованного лабиринта, ты с облегчением переводишь дух. Глядь — оказывается, ты на том же самом месте, откуда двинулся в путь, и никакого выхода нет.

Неужели же эта новая неудача отбросит его назад к тем страшным месяцам начала войны, о которых и вспомнить нельзя без глухой душевной боли.

Береговой не мыслил себя без армии: тогда именно он отступал. Был однажды случай, когда рука его сама потянулась к револьверу. Это случилось в отчаянные дни окружения под Харьковом, когда, казалось, уже не было другого выхода, кроме плена или смерти. Почти все командиры его штаба были убиты. Полки превратились в роты неполного состава. Четверо суток Береговой сдерживал противника, но помощь не подходила. Кончались боеприпасы и продовольствие. Измученный до предела непрерывным напряжением и бессонными ночами, он в какую-то злую минуту совсем упал духом и потерял над собой контроль. Умереть, умереть и не видеть этого ужаса! Он очнулся от ощущения боли в виске — с такой силой вдавил он в него дуло пистолета. «Что ты делаешь?.. Что ты делаешь?.. — закричал в нем какой-то внутренний голос. — Ты же предаешь своих людей!.. Трус!»

Береговой сумел вывести остатки дивизии. При прорыве кольца окружения его тяжело ранило в бедро. И пять бойцов несли его на себе, грузного, потерявшего сознание. Очнулся он в госпитале, далеко в тылу.

После выздоровления для него начались дни и недели тягостных переживаний. Его вызвал к себе прокурор. Началось следствие о причинах, по которым дивизия оказалась в окружении.

Под суд Берегового не отдали, но месяца три про-

держали в резерве. Потом его послали с большим понижением на Урал — начальником обозно-вещевого снабжения.

Жизнь Береговому казалась конченной.

Однажды он через голову всех своих прямых и не-посредственных начальников написал письмо в генштаб с просьбой послать его на фронт в какой угодно должности — хотя бы солдата. Месяца два ему не отвечали. Тогда он послал второе письмо. После этого его вызвали в округ и сделали строгое внушение за обращение не по команде.

И все же он добился своего. О нем вспомнили, и еще через месяц управление кадров направило его в распоряжение командующего Юго-Западным фронтом.

Он воспрянул духом и через три дня уже был в штабе фронта. Однако радость его была преждевременна.

Рыкачев, под начальством которого он оказался, знал, что у Берегового в прошлом были крупные неприятности, что его снимали за плохое руководство дивизией, и потому принял его, что называется, в штыки. Если бы Ватутин не перевел Берегового к Коробову, он, несомненно, был бы опять отчислен в резерв, отправлен в тыл, уж на этот раз безвозвратно. Впрочем, и Коробов встретил нового командира дивизии холодно и не без предубеждения. Ему не внушал доверия этот тяжелый, малоподвижный человек, всегда хранивший на лице замкнутое и вместе с тем настороженное выражение.

Когда Береговой замедлил продвижение вперед всей армии, а потом застрял перед балкой, Коробов вышел из себя. Ему хотелось немедленно отстранить от должности этого нерасторопного человека. Он, пожалуй, так и сделал бы, если бы не был связан разговором с Ватутинным. Понять, что поведение Берегового — результат прежних ударов, лишивших его уверенности в себе, а вовсе не трусость и неумение, ему было некогда. Не до психологии, когда от стремительности темпа зависит весь успех наступления.

Но так или иначе, круто вмешавшись, Коробов помог Береговому преодолеть в себе нерешительность, с которой он, может быть, не совладал бы сам. Двинуть вперед дивизию, когда ее так легко отрезать, а затем и окружить? Как решиться на это? Но приказ дан, и надо

его выполнять. Береговой был похож сейчас на парашютиста, взглянувшего с огромной высоты на землю и вдруг испугавшегося последнего движения, которое должно оторвать его от самолета. Но тут рука инструктора толкает его в спину. Сердце екает и заходится. Мгновенное отчаяние, а затем потрясающее ощущение собственной смелости и широкого полета под куполом парашюта...

Оставив полк Федоренко у балки и выступая во главе дивизии в указанном направлении, Береговой еще думал, что совершает непоправимую ошибку. И вдруг случилось то, чего он меньше всего ожидал. Полк Федоренко заставил сдаться превосходящие силы врага.

Это было поражение Берегового и его победа... Получив донесение, он минут двадцать молчал, испытывая сильнейшее потрясение. В нем слились смутение и радость оттого, что он сумел переступить через черту, которая незримо отгораживала его от той подлинной смелости, без которой командир — не командир, а тряпка. Он вдруг понял, что нельзя жить привычной старой болью от нанесенных кем-то обид, нельзя все время бояться, что тебе нанесут их вновь. Тогда-то наверняка провал. Он уже не держал зла против Коробова и Федоренко. Даже то, что Коробов накричал на него, представлялось ему не таким уже обидным. Мало ли что бывает в жизни. Он и сам любитель покричать. Ему даже начало казаться, что именно по его инициативе Федоренко остался у балки и сделал все как нельзя лучше.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Ватутин внимательно слушал, что ему говорили по телефону из Москвы, изредка повторяя «да, да», и делал какие-то пометки на листке большого блокнота. Лицо его хранило серьезное и сосредоточенное выражение, и лишь где-то, на дне глаз, зажигались искорки за-таенного лукавства.

По мере того как разговор развивался, Соломатин, стоявший рядом, стал понимать, что речь идет о какой-то новой делегации, которую посылают из Москвы на фронт.

Он разозлился. Что это такое?! Как можно направлять сюда, где идут напряженные бои? Весь фронт в движении. Да и возиться с ней некому. Соломатин стал подавать Ватутину энергичные знаки: «Откажись», но Ватутин почему-то не только не отказывался, а, наоборот, проявил большую готовность: обещал принять гостей и обеспечить их всем необходимым.

— Ну что ты сделал, Николай Федорович! — сказал Соломатин, когда Ватутин положил трубку. — Скажи, пожалуйста, зачем ты пригласил делегацию? Ведь сейчас совсем не время...

Ватутин слегка усмехнулся.

— Наверно, Ферапонт Головатый хочет узнать, как дерется его танк? — зло спросил Соломатин. — Так, что ли? Угадал?

— Не угадал! К нам едет представитель американской военной миссии генерал Бильдинг. И с ним два лейтенанта. Хотят посмотреть, как воюют их союзники.

— Ну что ж, — сказал Соломатин. — Пожалуй, ты правильно сделал, Николай Федорович. Пусть едут. Пусть смотрят.

— Безусловно. Они же наши союзники как-никак.

— Союзники — это так, союзники, а наверняка будут задавать разные вопросы.

— Что ж, и мы зададим.

— О втором фронте? — Соломатин улыбнулся. — Ну, этот вопрос им столько раз задавали... Они наверняка научились отвечать.

— Наверняка, — согласился Ватутин. — Ну что ж... Примем их, и примем хорошо. Надо выделить машины, оборудовать блиндаж...

Соломатин помолчал минуту.

— Интересно, кто этот генерал?

— Участник первой мировой войны.

— Слушай-ка, Николай Федорович, — вдруг встретился Соломатин, — а ведь я никогда дипломатическими делами не занимался. Как же нам себя вести? Разработать церемонию встреч, что ли?

Ватутин махнул рукой:

— Да брось ты церемонии устраивать! По-моему, лучшая дипломатия — это когда нет никакой дипломатии. К нам в штаб приезжали иностранные представители. Так я с ними держался совершенно запросто.

И мне товарищи из Наркоминдела потом говорили: какой вы, товарищ Ватутин, хороший дипломат.

Ватутин засмеялся. Соломатин погрозил ему пальцем:

— Ну, ну, посмотрим, какой ты дипломат, Николай Федорович.

2

Генерал Джон Бильдинг, высокий, с красивой седой головой, холерный, розовощекий, моложавый для своих пятидесяти с лишним лет, в защитном френче с множеством орденских ленточек на груди, почтительно жмет Ватутину руку.

— Господин командующий фронтом, — говорит он по-русски с небольшим акцентом, — я передаю привет от армии Соединенных Штатов Америки вам и вашим солдатам.

Два лейтенанта-американца, один — высокий, с черными усиками, другой — коренастый, пожилой человек, в очках с квадратными стеклами, мало похожий на кадрового военного, стоя за спиной своего генерала, улыбаются сдержанной, приветливой улыбкой.

Бильдинг делает шаг в сторону и, повернувшись, указывает на них рукой.

— Разрешите, господин командующий, представить вам двух боевых офицеров — лейтенанта Гарри Хенчарда (при этих словах коренастый склонил голову) и лейтенанта Майкла Брауна!

Высокий лейтенант посмотрел на Ватутина с выражением подчеркнутой приветливости и почтения.

— Очень рад познакомиться, господа! — Ватутин пожал обоим лейтенантам руки и, обращаясь ко всем, произнес: — Мне очень приятно приветствовать вас на нашем фронте. Вы приехали к нам в тот момент, когда армия наша уже завершает операцию по окружению немцев. Я буду рад, если наша встреча и ваше пребывание здесь укрепят взаимопонимание союзных армий... Как вы чувствовали себя в пути, господин генерал?

— О, прекрасно! Мы летели на самолете в сопровождении истребителей, — ответил Джон Бильдинг.

И оба лейтенанта закивали головами.

— Вам уже показали, где вы будете жить?

— Все великолепно, господин генерал. Мы благодарим вас за гостеприимство.

— Здесь фронт,— сказал Ватутин.— Не взыщите, если встретятся трудности...

Джон Бильдинг развел руками:

— Мы будем делить с вашей армией все радости и невзгоды!

Ватутин улыбнулся:

— Что потребуется, господа, прошу вас, говорите попросту... Две машины в вашем постоянном распоряжении. К вашим услугам телеграф...

— Я бы попросил, господин командующий, ознакомить нас с обстановкой на фронте,— сказал Бильдинг.

Ватутин распорядился принести карту, на которую были нанесены последние данные. Американцы долго молча смотрели на стрелки, окружавшие Сталинград, и лица их становились все серьезнее.

— Скажите, господин генерал,— вежливо спросил Бильдинг,— это последние данные?

— Это самые последние данные,— подтвердил Ватутин.

Пока он разъяснял, как развивается операция, куда и какими силами наносятся удары, американцы молчали.

— Сегодня мы можем подвести итоги трехдневных боев,— сказал Ватутин, присматриваясь к своим гостям.— К началу наступления перед войсками нашего Юго-Западного фронта и правого фланга Донского фронта находилось тридцать пехотных дивизий противника, три танковые и две кавалерийские дивизии. За три дня наступления наш и Донской фронты полностью разгромили три дивизии противника и нанесли большие потери пяти его дивизиям...

Лицо генерала Бильдинга оживает.

— И насколько вы продвинулись?

Ватутин подошел к карте:

— Вот видите красные стрелы? Это движение наших войск. Мы продвинулись на разных участках по-разному. От десяти и до пятидесяти километров. У нас уже более трех тысяч пленных...

— А Сталинградский фронт?

— Он идет навстречу нам. Там тоже значительное продвижение... Теперь посмотрите вот сюда...— Ватутин показал на левое крыло фронта.— Здесь, в районе

Распопинской и Верхне-Фомихинского, окружено свыше двух пехотных дивизий противника, для пленения которых генералы Коробов и Рыкачев оставили часть своих сил. А главные силы этих армий наступают на юг и юго-запад...

Джон Бильдинг развел руками.

— Но говорят, что в Распопинской румыны,— сказал Бильдинг.

И Ватутина показалось, что насмешливая улыбка тронула края его губ.

— Да,— сказал он спокойно,— это правда. Главным образом румыны. Но что же из этого? Сегодня румыны, завтра немцы.

Бильдинг склонил голову. Очевидно, ответ Ватутина ему понравился.

— И мы сможем поехать по дорогам? Побывать в боях?— спросил он.

— Насчет боев— я не знаю,— улыбнулся Ватутин.— Ваша армия не столь уж многочисленна, чтобы вести наступление... (Бильдинг захлопал в ладоши, лейтенанты засмеялись.) Ну, а во всем остальном вы вполне свободны...

Американцы заняли хатку на краю Серафимовича. Они были приветливы и скромны. На другое утро с небольшой охраной они отправились вперед, на участок танкового корпуса, и побывали за Усть-Медведицким в его боевых порядках. Вернулись к вечеру, усталые и оживленные. Ватутин был занят и не мог уделить им много времени. Он только расспросил у них, где они были, и посоветовал завтра побывать на тех участках, где противник обороняется особенно стойко. Пусть видят, что победа, к которой идут советские войска,— это победа над противником большой силы и опыта.

На третий день вечером, за ужином, Бильдинг, пользуясь тем, что Соломатина вызвали на телеграф, спросил Ватутина в той уважительной и дружеской манере, которая позволяла ему задавать самые смелые вопросы:

— Скажите, господин генерал, мне хочется разобраться в том, что меня давно занимает, почему кроме вас фронтом командует военный комиссар?

— Вы о члене Военного совета?

Бильдинг кивнул головой.

Ватутин удивился:

— Но, во-первых, фронтом командую я, а не он!
А во-вторых...

Но американец сразу же прервал его:

— Простите! Разве комиссар вам подчинен?

— Нет, не подчинен.

— Значит, он с вами на одинаковых правах?

— Нет, не на одинаковых,— сказал Ватутин.

— Он может приказывать войскам?

— Нет, не может. Приказываю войскам только я.

— Значит, он действует через вас. Так я понимаю...

Ах, вот к чему он клонит! Ватутин усмехнулся:

— Вы, очевидно, хотите сказать, господин генерал, что на самом деле фронтом командует комиссар, а я лишь выполняю его желания...

Бильдинг опустил глаза:

— Но если есть командующий, ему подчиняются все.
Я так понимаю...

— И я так понимаю,— сказал Ватутин.— Но у нас, в нашей армии, исторически сложились свои особенности. Мы живем по русской пословице: один ум хорошо, а два лучше... Впрочем, даже три, потому что в Военном совете три человека.

— Вы хотите сказать, что комиссар—ваш советник?

— Это уже ближе к истине,— согласился Ватутин.— Хотя роль комиссара куда важнее роли советника.

— Но если он советник, зачем ему власть?

— Власть ему дана для того, чтобы помогать мне проводить в жизнь те решения, которые я принимаю.

Бильдинг отпил из рюмки вино и отодвинул ее в сторону. По выражению его лица Ватутин понял, что американец ему не верит.

— Вам непонятно, генерал?— спросил Ватутин, вновь наливая его рюмку до краев.

— А вы почему не пьете?

— Когда я работаю, я не пью,— сказал Ватутин,— а мне еще всю ночь работать...

Бильдинг улыбнулся и кивнул головой.

— Так вам еще не все понятно?— вернулся к разговору Ватутин. Ему хотелось, чтобы Бильдинг понял его до конца.

— Нет, не все,— сказал американец.— Скажите, какую военную академию кончил ваш комиссар?

— Он не кончал военной академии.

— Значит, он не имеет такого специального образования, какое имеете вы? Насколько я знаю, вы окончили военную школу, военную академию и потом Академию Генерального штаба?..

Ватутин невольно отметил, что Бильдинг хорошо осведомлен о его биографии.

— Да.

— Так чем же может помочь вам человек, который не окончил даже простой военной школы?

Бильдинг улыбнулся и откинулся к спинке стула. Ему показалось, что он завел Ватутина в тупик, из которого трудно выбраться.

— Видите ли, генерал,— сказал Ватутин серьезно,— вы коснулись самого существа вопроса. У нас была революция. Она вызвала к жизни огромные народные силы. Партия коммунистов, к которой принадлежу и я, воспитала государственных деятелей—мужественных, опытных, практичных. Они, может быть, не разбираются во всех тонкостях военного дела, но умеют верно оценить обстановку, умеют работать с людьми, умеют организовывать массы. Вот в чем сила этих людей, генерал... Надеюсь, теперь вы меня понимаете...

Бильдинг сокрушенно развел руками:

— Боюсь, что не совсем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Майора Медникова срочно вызвали в отдел тыла армии.

— Где вы пропадаете?— закричал на него начальник отдела полковник Светиков.— Мы два часа вас ищем!

Это был пожилой человек с лицом, изборожденным морщинами, их было так много, словно его нарочно мяти, чтобы их стало побольше. Он был сердит и чем-то очень взволнован.

Медников, которого с утра мучил прострел в боку, морщась от боли, доложил:

— Ходил в санитарную часть, товарищ полковник!

— Какого дьявола вы ходите по врачам, когда дело горит! Вы понимаете—горит! У танкистов кончается горючее!

— Понимаю, товарищ полковник. Если дело касается горючего, значит, и в самом деле горит.

Светиков с удивлением посмотрел на него из-под тяжелых от бессонницы век.

— Нашли время острить! Командарм Рыкачев приказал: лично вам... Понимаете, лично вам стать во главе колонны из шести цистерн и доставить их на хутор Еруслановский.

— Когда выезжать?

— Вы спрашиваете, когда выезжать? — еще больше обозлился полковник. — Вы спросили бы раньше, где взять горючее?

— Где, товарищ полковник? — спросил Медников, скрывая усмешку. Уж очень был забавен полковник, когда сердился.

— Эшелон пришел на Филоновскую. Теперь это у черта на рогах, — сказал полковник. — Цистерны туда уже направлены...

— А как охрана? Будет, товарищ полковник? — осторожно спросил Медников, стараясь незаметно потереть бок, который очень болел.

Полковник заметил это движение...

— Что вы все время держитесь за бок? Кроме вас, мне все равно послать некого! Поедете вы!.. Понятно? Вам будет придан взвод охраны и броневик... Если вы боитесь, что вас подстрелят, можете ехать хоть в башне...

Через три часа Медников был уже в Филоновской. За всю свою двадцатилетнюю интендантскую жизнь он ни разу не имел дела с горючим. Он был специалист по обозно-вещевому довольствию.

Но на войне иногда все идет кувырком.

Тот работник, который должен был заняться цистернами, сегодня утром подорвался на mine. Медникова не на шутку беспокоила мысль, сумеет ли он разобраться в качестве горючего, вдруг нальют что-нибудь не то. Его выручили шоферы. Они-то прекрасно разбирались во всех сложных вопросах, связанных с этим довольно темным для него делом.

Через час он уже доложил Светикову по телефону, что все в порядке, он отправляется к Еруслановскому. Светиков пробурчал нечто вроде «доброго пути», но тут же напомнил, что к вечеру горючее должно быть на месте.

И вот начался этот путь, который Медников запомнил на всю жизнь.

До линии фронта ехали в полном порядке. Шесть цистерн, налитые до краев, подрагивали на неровностях дороги, сохраняя дистанцию метров в сто — на случай налета бомбардировщиков.

Медников сидел в первой машине, рядом с шофером, тихонько охая при каждом толчке. В кабине было тепло, и если бы не боль, можно было бы недурно подремать.

По пути в одной из деревень к ним присоединилась охрана. На двух грузовиках — тридцать бойцов с винтовками, пулеметами и броневик. Броневик поехал впереди, а грузовики замыкали колонну.

Командир взвода охраны, молоденький лейтенант, явился к Медникову, чтобы доложить о том, что можно двигаться. Как-никак Медников начальник колонны, да и чином старше. И однако же Медников безошибочно угадал в тоне его голоса и в манере держаться некоторый оттенок пренебрежения. Еще бы! Ведь он лейтенант, строевой командир, а майор — интендант.

Медников не то чтобы обиделся. Он привык слышать не слишком острые шпильки по поводу того, что он-де начальник над полушубками, валенками и портянками. Но все-таки его слегка покорило. Как хотите, а неприятно, когда какой-то юнец всем своим видом выражает неуважение к вам — дескать, знай, сверчок, свой шесток... Что касается командира броневика, тот вел себя безупречно: и доложил как полагается, и разузнал все, что надо, о маршруте, и даже сам предложил Медникову перебраться под надежную защиту брони. Медников уже хотел было принять его приглашение, но вспомнил Светикова, поглядел искоса сквозь стекло кабины на самоуверенное лицо лейтенанта и остался в кабине цистерны. Ничего не поделаешь, приходится беречь честь мундира. Только залезь в броневик, непременно скажут: «Ясное дело, интенданты! Это ведь известные трусы!»

Колонна ехала со скоростью двадцать — двадцать пять километров в час. По разбитым дорогам ехать быстрее просто невозможно. Оттого что сидеть было неудобно, у Медникова свело ногу, вернулась тупая боль и расплзлась по всей левой стороне тела. Да, плохо, когда человеку уже за пятьдесят, а он должен трястись

по изрытым, ухабистым дорогам, а не лежать на диване с грелкой, которую подложили под бок заботливые руки жены.

Впрочем, Медников уже забыл о тех днях, когда жил дома. Все то, что было полтора года назад, казалось ему таким далеким, словно с тех пор он прожил несколько длинных жизней...

Мимо ветрового стекла тянулась все та же однообразная снежная степь. Серое небо вдалеке сливалось с холмами. Машина, пофыркивая, бежала все вперед и вперед, шофер молчал, и Медникову показалось, что тот дремлет. Он опасливо взглянул на худощавого паренька в промасленном комбинезоне, но все было в порядке. Шофер и не думал дремать. Просто он, должно быть, задумался о чем-то. По возрасту он годился Медникову в сыновья, и Медников невольно подумал, как, в общем, он глупо прожил жизнь. Поздно женился, детей нету... А как, должно быть, хорошо знать, что у тебя есть сын...

В штабе армии Медникова предупредили, что в дороге надо вести себя осторожно: по степи бродят отряды вражеских войск. Но какие меры предосторожности можно принять в такой поездке? Шесть цистерн с горючим в карман не спрячешь. Да и на охрану не расщедрились. К тому же достаточно издали обстрелять машину из крупнокалиберного пулемета — и все горючее вытечет...

Чем дальше продвигались машины, тем тревожнее становилось на душе у Медникова. Теперь на каждом шагу он видел следы недавнего сражения — подбитые танки, самолеты, по обочинам дороги в снегу лежали трупы.

Вдруг вдалеке показалась какая-то колонна. Медников увидел ее в то мгновение, когда броневику, объезжая воронку от бомбы, свернул к левой кромке дороги.

Медников насторожился, выпрямился... Это еще что такое? Он высунулся из окна кабины, тревожно вглядываясь вперед, но перед его цистерной, заслоняя дорогу, мерно и спокойно бежал броневику. И Медников даже немного рассердился. В конце концов, он здесь старший и головой отвечает за свою колонну, а зажат в этой чертовой кабине, как в клетке, и некому даже слово сказать, кроме шофера, которому словно дратвой рот зашили. Вот так командир! Не он ведет, а его везут!

Однако через несколько минут Медников понял, что у него нет никаких причин беспокоиться и сердиться. Машины ехали мимо длинной колонны пленных солдат. Пленные брели по дороге нестройной толпой, жалкие, оборванные, полузамерзшие. Медников даже почувствовал к ним некое подобие жалости. «Такой, — подумалось ему, — наверное, была наполеоновская армия при отступлении». В колонне шагало примерно пятьсот солдат, и Медников удивился, что нет конвоя. И вдруг, когда почти все пленные уже прошли, он заметил двух бойцов с винтовками. Замыкая колонну, они спокойно шагали, покуривая и о чем-то беседуя между собой, и, видимо, почти не обращали внимания на тех, кого им приказали вести на сборный пункт.

«Удивительное дело, — подумал Медников, — как меняется психология, когда между людьми нарушаются привычные связи, когда теряется вера в победу. Ведь этим пятистам солдатам ничего не стоит обезоружить двух бойцов, даже убить их, объединиться в отряд и попробовать пробиться к своим. Но сейчас, на чужой земле, обезоруженные, они сразу потеряли веру и стойкость, стали покорны и послушны...»

Так проехали еще километров десять. Теперь цистерны проходили мимо участка, на котором еще недавно шел танковый бой. Мелькали сожженные машины, уже кем-то сброшенные с дороги в кюветы. Безмолвно стояли ярко-желтые с темными разводами вражеские танки. Тут же с сорванными башнями стыли две «тридцатьчетверки».

Уже больше половины пути было пройдено, и Медников стал надеяться, что все обойдется без приключений. Колонна приближалась к хутору, раскинувшемуся на высоком берегу Дона.

И вдруг с околицы по броневику ударило орудие. снаряд разорвался в стороне, и цистерну, словно крупным градом, осыпало комьями земли. Они разбили ветровое стекло машины, в которой ехал Медников. Один осколок впился ему в щеку. Потекла кровь, но Медников этого даже не почувствовал.

Когда он выскочил из кабины на дорогу, бойцы уже рассыпались по полю в цепь. Лейтенант, весь бледный от возбуждения, кричал кому-то истощенным голосом:

— Миномет установите!.. Где миномет?

Мимо пробежали два бойца со станковым пулеметом.

Броневи́к открыл огонь из пушки по окраине хутора. Оттуда ответил крупнокалиберный пулемет.

Лейтенант, перебежавший с одной стороны дороги на другую, вдруг обернулся к Медникову и крикнул сердито:

— Товарищ майор! Распорядитесь — пусть цистерны дают задний ход! Отводите их в укрытие! Вон туда — в балку!

Сейчас, когда начался бой, лейтенант действовал так, словно был здесь старшим. Впрочем, ведь Медников никогда еще никем, кроме писарей, не командовал. Слова лейтенанта вывели его из оцепенения, и он побежал вдоль машин, крича шоферам, чтобы они по одной вели цистерны в балочку, видневшуюся в стороне.

А пулемет продолжал бить по дороге как бы с удвоенной силой. Медников осип от крика. Ему казалось, что шоферы удивительно медленно выполняют его приказание. На самом же деле им просто было очень трудно вести цистерны задним ходом, каждое мгновение ожидая пули.

Три машины уже сошли с дороги, а четвертая вдруг замерла, задержав пятую и шестую. Вот чертовщина! Ну что за шляпа этот шофер! Медников бросился к кабине, раскрыл ее, и прямо на него вывалился труп шофера. Медников оттащил его на край дороги. Раздумывать было некогда. Он вскочил в кабину и нажал на стартер, чтобы завести мотор. Он умел водить машину, и теперь это могло здорово пригодиться. Но мотор был поврежден. Ругаясь на чем свет стоит, Медников опять спустился из кабины на дорогу, и вдруг ноги его попали в какую-то жидкость.

Он не сразу понял, что это такое, а когда поднял глаза, то увидел, что цистерна разбита, осколок снаряда разворотил в ней огромную щель, из которой хлещет темная струя горючего.

Медников стащил с головы шапку и попытался заткнуть щель. Но это оказалось невозможно. Щель была так широка, а напор так силен, что шапку моментально вытолкнуло обратно. Надо было спасать другие машины. Но пока он возился с четвертой, пятая и шестая уже благополучно спустились в балку.

Теперь, когда дело было сделано, Медников позволил себе оглянуться по сторонам.

На дороге было пусто. Броневи́к мелькал вдалеке,

между домами хутора. Там суетились какие-то люди. Ветер донес крики, автоматные очереди. Затем все стихло...

Медников стоял посреди дороги один, размышляя о том, что же ему теперь делать. Но тут броневи́к вынырнул откуда-то из-за дома и помчался по дороге назад, к цистернам.

Не доезжая шагов десяти до Медникова, он остановился. Открылся люк, и командир броневи́ка, плотный человек в черном ребристом шлеме, высунулся оттуда.

— Все в порядке! — крикнул он. — Давайте трогайтесь...

— А сколько их там было? — спросил Медников.

— Да немного! Взвода два! Половина полегла. Остальных мы забрали...

— А у нас потери?

— Двое ранены! Лейтенанта — в грудь!

Вот несчастье! Медников приказал положить труп шофера в машину, чтобы похоронить по возвращении в штаб армии. Развороченную цистерну он решил бросить. Все равно в ней не осталось ни капли горючего.

Лейтенант без кровинки в лице, уже забинтованный санитаром, лежал на лавке в пустой, холодной хате. Тут же был и боец с простреленной левой рукой. Что делать с ранеными? Лейтенант наверняка не перенесет тряской дороги. Да и кто скажет, не ждет ли их колонну на следующем перегоне новая стычка... Оставить раненых здесь? Но ведь это тоже верная смерть!

Медников на цыпочках подошел к лавке и наклонился над раненым лейтенантом.

Тот, очевидно, слышал его шаги или, может быть, почувствовал теплоту дыхания. Веки у него дрогнули, и бескровные губы жалобно, по-детски, скривились.

Медников даже зажмурился от жалости.

— Ну ничего, ничего, голубчик! — сказал он, через силу глотая какой-то жесткий комок, застрявший в горле. — Ты только потерпи, а уж мы все устроим...

Но как и что тут можно было устроить, он решительно не знал.

В это время дверь хаты скрипнула и легонько приотворилась. Порог переступила немолодая женщина в старом ватнике и большом рваном платке. Она вошла робко и, стоя у притолки, оглядела хату, видимо не решаясь двинуться.

— Входи, входи, хозяйка,— оживился Медников.— Ты кто такая?

— Местная я,— сказала женщина, переступив через порог.

— А это чья хата?

— Моя будет!

— Ваша? Так чего ж вы сюда, как в гости, входите?

— Да ведь тут немцы на постое были. Они всех нас в землянки выгнали...— Женщина помедлила, а потом осторожно спросила:— А вы теперь что—насовсем пришли?

— Насовсем, насовсем, мамаша,— успокоил ее Медников.— Больше уже не уйдем!

Женщина, словно соображая, можно ли ему поверить, пристально и серьезно оглядела его с ног до головы. Ее узловатые пальцы непрерывно теребили край платка, а в глазах было нечто такое, что без всяких слов говорило о безмерной усталости и о простой радости возвращения в свой дом.

Обдумывая только что зародившийся у него в голове план, Медников и сам внимательно присматривался к женщине.

— Вы как будто не казачка,— сказал он.— Говор у вас не тот. А я-то думал, что здесь казаки живут...

— Живут и казаки,— сказала женщина.— А мы из иногородних.

— То-то... А где же весь ваш народ?

— Также по домам пошли. А кто с командиром вашим беседует, ну с тем—на машине... Заждались мы...

— А что, разве в этой станице еще не было наших?— спросил Медников.

— Танки вот вчера прошли стороной. А куда так и не заходили.

— Понятно,— сказал Медников и, вдруг решившись, подошел к женщине и взял ее за локоть.— Вот что мамаша,— сказал он,— мы оставим вам продукты. На вас и еще на двух человек. Вам на целую неделю хватит. Но вы поберегите лейтенанта до прихода наших. А потом сдадите его в госпиталь... Понятно?

Женщина деловито кивнула головой. Лицо у нее стало доброе, жалостливое. Она под села к лейтенанту и поправила сползшую повязку.

— Продуктов-то вы только на них оставьте,— ска-

зала она.— А я уж как-нибудь и сама перебьюсь. Не привыкать!

Медников махнул рукой: «Глупости!» Он приказал принести десять банок мясных консервов, большой кусок масла, несколько буханок хлеба и даже полтора десятка пачек гречневого и пшеничного концентрата—из того запаса, который он хозяйственно захватил с собой. Он увидел, как дрогнули руки женщины, когда она принимала все это богатство. «Изголодалась же ты!»— подумал он.

Ну, а что делать с пленными? Их оказалась целая дюжина. Одиннадцать солдат и офицер. Они сидели в запертом амбаре. Оставить их там? Сбегут. Расстрелять? Об этом Медников не мог даже подумать. Назначить людей для охраны? Но ведь это значит, что самому уменьшить свой и без того маленький отряд...

И Медников принял решение, которое показалось ему наиболее разумным. Он приказал отнести в амбар немного консервов из обнаруженного здесь же, на хуторе, небольшого продуктового склада, несколько буханок хлеба и поставить бочку с водой. Затем он распорядился накрепко забить двери амбара, а раненому бойцу дожидаться прихода какой-нибудь части, которая через день-два обязательно сюда подойдет, и тогда сдать пленных с рук на руки.

Он уже думал, что на этом его административная деятельность кончается, но в это время в хату ввалился старый казак в коротком и рваном зипунишке.

— Господин начальник!— сказал он, волнуясь, видимо, его сюда привело какое-то очень важное дело.— Господин начальник!

Медников рассердился:

— Ты что, отец, с ума сошел? Какой я тебе господин? С кем ты разговариваешь? С немцами, что ли?

Старик смутился и беспомощно развел руками:

— Ты уж прости, товарищ начальник. Не знаю, как с языка слетело... Привык!

— «Привык»? Отвыкать надо. Ну что тебе?..

— Да вот тут за околицей цельный курт скота топчется. Коровы режут! Двести голов! Немцы бросили...

— Взять на учет и раздать населению,— решительно распорядился Медников.— Пусть сейчас же разведут коров по дворам!— Никогда он не принимал так легко такие немаловажные решения.

Казак, даже не простившись, опрометью выбежал из хаты. Было слышно, как он скороговоркой передавал распоряжение. А Медников поправил в ногах у лейтенанта полушубок, простился и пошел к цистернам.

Когда он опять занял свое место рядом с шофером, уже почти совсем стемнело. Теперь колонна уменьшилась на одну цистерну. Две другие, получившие пробоины, удалось починить.

Машины двигались медленно, шоферы вели их с опаской, стараясь держаться наезженной колеи, чтобы ненароком не подорваться на mine.

Густые сумерки наплывали со всех сторон. Снег посинел. По сторонам дороги проплывали уже плохо различимые очертания брошенных и сгоревших машин, танков. Впереди по-прежнему ехал броневик, едва различимый в сгущавшейся темноте.

И вот колонна пересекла перекресток двух полевых дорог. Медников заметил, что слева по поперечной дороге к перекрестку приближается еще одна колонна из нескольких машин. По темным очертаниям это были грузовики. Он сосчитал. Их было пять. Тускло поблескивали синие надфарники.

Медников обрадовался. Появление машин, неторопливо двигавшихся по дороге, было верным признаком того, что они уже добрались до тылов ушедшего вперед корпуса...

На всякий случай он высунулся из кабины и подозрительно осмотрелся по сторонам.

Нет, все нормально. Как только замыкающая его колонну цистерна миновала перекресток, головная машина новой колонны свернула с боковой дороги и пошла вслед за ней. У Медникова отлегло от сердца. Как ни говори, а в колонне стало на пять машин больше. Судя по всему, на присоединившихся машинах едет не меньше роты. Он успел заметить, как полуприкрытые ладонями и рукавами в темноте мелькают огоньки папирос.

Теперь, когда он немного успокоился, ему вдруг неудержимо захотелось спать. В кабине было тепло. Он прижался к двери, подпер плечом голову так, чтобы ее поменьше встряхивало на ухабах, и закрыл глаза. Одно только мешало: боль, которая совсем было прошла во время всех передраг, опять стала потихоньку грызть его бок.

Вдруг шофер стал притормаживать.

— Что такое? — открыв глаза, спросил Медников.

— Броневику впереди остановился, товарищ начальник.

И действительно, Медников увидел, как из броневика вылезла темная фигура, в которой он узнал командира.

Медников опустил стекло, и в кабину ворвался холодный ветер.

— В чем дело?

— Надо уточнить направление, товарищ майор! — сказал, подходя, командир — в руках у него белела карта. — Сейчас развилка. Куда ехать — налево или направо?

Медников открыл дверцу:

— Давайте посмотрим!

Командир броневика зажег электрический фонарик и близко поднес его к карте. Яркий кружок света заскользил по сложному переплетению дорог, горизонталей, высот...

Чьи-то быстрые шаги послышались в темноте, и к машине подбежал старший сержант, который остался за лейтенанта.

— Товарищ начальник, — тихо сказал он, — там немцы!

— Где немцы? — спросил Медников, и в груди у него нехорошо сжалось.

— А на тех машинах, что за нами идут!

— Да откуда вы это взяли? — спросил командир броневика. Он был тоже убежден, что машины принадлежат танковому корпусу.

— Пойдите сами послушайте! По-немецки говорят!

Командир броневика потушил фонарь и быстро исчез в темноте. Медников тоже вышел из машины и, вынув из кобуры пистолет, зашагал вслед за ним. Он успел сделать не более десяти — пятнадцати шагов, как почти столкнулся с идущим назад командиром броневика.

— Да, немцы, — сказал тот тихо. — Там их более ста человек. Они вооружены! Видимо, сбились с дороги. Обстановки не знают. Решили, что наша колонна принадлежит какой-нибудь их части...

— Так, — сказал Медников. — А вы предупредили, чтобы на грузовиках бойцы примолкли?

— Шепнул!

Медников озадаченно почесал щеку. Что делать? Не вести же за собой немецкую колонну до самого штаба корпуса. Неизвестно, что еще случится по пути. Вдруг противник поймет, чьи машины идут впереди, и первый откроет огонь? Вражеских солдат больше, и они наверняка перебьют маленький отряд и подорвут бензозаправщики.

Действовать надо немедленно, но как? Как лучше? Командир броневика молчал, ожидая приказа. У него был иной характер, чем у лейтенанта. В Медникове он видел своего начальника.

— Вот что,— сказал Медников,— я успел разглядеть карту. На развилке надо свернуть налево... Цистерны мы двинем вперед на самой большой скорости. Когда они пройдут, вы развернете броневик назад. Подойдете вплотную к грузовикам и откроете огонь в упор. В это время бойцы начнут жарить по ним из автоматов и бросать гранаты. Но это надо сделать на полной внезапности. Вы поняли?

— Я понял,— ответил командир броневика.

— А вы, товарищ сержант?

— И я понял,— ответил старший сержант.

— Действуйте! Я все время буду у первой полуторки.

Медников вернулся к своему шоферу и, коротко объяснив, куда сворачивать у развилки, приказал как можно быстрее ехать вперед. Заработали двигатели, и автоцистерны одна за другой стали исчезать в темноте. Когда прошла последняя, броневик внезапно развернулся и на большой скорости двинулся к немецким грузовикам.

Медников побежал к полуторкам, на которых в напряженном молчании сидели бойцы. Вдруг оглушительный выстрел прогремел почти над его головой. И тотчас же с криком «ура» люди посыпались из полуторки на дорогу. Непрерывно стучал пулемет броневика, который, двигаясь быстро вдоль ряда немецких машин, обстреливал их на полном ходу. Тяжело бухала пушка. Крики «ура» смешались с испуганными возгласами немецких солдат.

Бой шел совсем рядом, но к полуторке, где Медников установил свой КП, никто не прибегал за распоряжениями. Каждый в темноте действовал так, как ему было лучше.

Наконец, не утерпев, Медников сам бросился вперед. На него, тяжело дыша и глухо ругаясь, бежал немецкий солдат. Медников выстрелил, и солдат упал.

Какой-то группе немцев все же удалось выскочить из грузовиков, и Медников увидел, как они бегут в поле. Вслед им летели гранаты. Они рвались с оглушительным звуком и яркими вспышками. Часто и прерывисто строчили автоматы.

Медников до хрипоты кричал:

— Вперед! Бей их! Бей!

Неизвестно, слышал ли его кто-нибудь...

Наконец перестрелка стала замирать. Те, кому удалось уйти, так и скрылись в степи. А солдат двадцать стоял под прицелом броневика, сбившись в кучу, бросив оружие и подняв руки.

— Старший сержант, ко мне! — крикнул Медников.

— Убили,— ответил кто-то из бойцов.

— Кто есть из младших командиров?

— Я,— ответили из темноты.

— Ваша фамилия? Звание?

— Якимов! Младший сержант!

— Осмотрите дорогу! Узнайте, кто ранен, кто убит...

Якимов вызвал несколько человек, и группа бойцов пошла вдоль машин, посвечивая под ноги электрическими фонариками.

Медников стоял посреди дороги, опустив руку с револьвером и тяжело дыша. Ишь ты, как получилось! Вот и он, оказывается, умеет командовать. Не знал, не знал он этого за собой.

Бойцы, окружившие пленных, вопросительно поглядывали на Медникова — что-то он скажет? Было ясно, что в полуторке пленные не поместятся. Да и, кроме того, куда их везти на ночь глядя...

А Медников, морща лоб, напряженно думал. Как поступить? Как выйти из нового трудного положения? И главное — как быть с теми, кто ранен?

Якимов вернулся с нерадостным сообщением. Трое бойцов убиты, шесть ранены, да еще и тяжело. Только двое из них кое-как держатся на ногах.

— Ну а немцев сколько? — спросил Медников.

— А мы их не считали.

— Раненые у них есть?

— Есть. Восемнадцать человек.

— Идти могут?

— Нет. Все лежат.

— Где шоферы? — спросил Медников.

— Здесь, — откликнулось два голоса.

— Осмотрите немецкие грузовики. Придется один из них взять на прицеп! Как-нибудь доедем!

Убитых бойцов положили в одну полуторку, раненых — в другую. Туда же забралось несколько бойцов. Остальные поехали вместе с пленными...

Когда поздно вечером Медников добрался наконец до штаба танкового корпуса, он узнал, что цистерны прибыли вовремя. Он не стал ни есть, ни пить, снял полушубок, бросил его в угол на пол, свалился на него и словно утонул в глубоком сне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Коровов ехал на юг тем же путем, каким шли его дивизии.

Вдоль дороги то и дело встречались свежие березовые кресты. Хотя лесов вокруг нет на сотни километров, заботливые немецкие каптенармусы запаслись крестами. Коровов глядел на кресты и думал о том, сколько еще впереди жестоких сражений.

Придет время, кончится война. И на земле наступит мир. Как ждут его люди! Как ждет его сама земля, израненная и опустошенная! Но доведется ли ему, Михаилу Ивановичу Коровову, увидеть день победы, доживет ли он?

Над головой Коровова узким клином прошли шесть «юнкерсов». Через несколько минут в отдалении загрохотали разрывы бомб. Дул резкий, ледяной ветер, обжигая лицо и глаза. Крутилась над землей снежная пыль и заметала дороги.

Коровов, прищурясь от ветра, смотрел на бескрайнюю степь, на летящих в вышине птиц, на далекий горизонт, где движется цепочка удаляющихся танков.

А навстречу шла колонна гитлеровцев. Изорванные серо-зеленые шинели, шапки, низко нахлобученные на лоб, изможденные, заросшие щетиной лица.

Чем дальше на юг едет Коровов, тем больше разбитых немецких машин попадаетеся ему по пути. Уже глаз

привык к виду остановленных в своем беге вражеских танков, исковерканных, похожих на горы лома.

Шоферу все время приходится объезжать мертвых, которые лежат прямо на дороге. Множество трупов и вокруг на полях. Между ними бродят оседланные голодные лошади. Видимо, в этом месте была разбита немецкая кавалерийская часть.

И вот, причудливо изогнувшись, дорога пошла под уклон. На обочине Коровов увидел два вездехода. Знакомые машины и знакомые шоферы — это вездеходы командующего фронтом.

— А ну-ка затормози, — сказал Коровов шоферу и повернулся к адъютанту, который сидел позади него: — Нет ли здесь поблизости Ватутина?

Машина остановилась, адъютант прыгнул на землю и подошел к шоферам.

— Что вы тут делаете, товарищи? — спросил он двух сержантов, мирно беседовавших около машин. — Где командующий?

— Командующий у себя на КП, — с улыбкой сказал один шофер, степенный, немолодой человек с обкуреными усами. Это был один из лучших водителей штаба фронта, Кучеров.

— А что же вы тут делаете?

— Да вот ждем... Американцы трофеи подсчитывают!

Адъютант уже слышал о приезде американцев. Они должны были сегодня утром прибыть в штаб армии, но так почему-то и не приехали. Застрали где-то в пути. Коровов ждал-ждал их, а потом позвонил Ватутину и предупредил, что ему срочно надо выехать в дивизии и ожидать гостей он больше не может. Так вот, значит, где они оказались!

— То есть как это подсчитывают? Зачем? — удивился адъютант, высматривая в поле фигуры американцев. Наконец он их увидел. Все трое стояли в отдалении на скате холма и, вооружившись биноклями, что-то внимательно рассматривали, а что именно — адъютант разглядеть не мог, потому что поле, куда они глядели, находилось за холмом.

— А кто ж их знает зачем, — ответил другой шофер. — Вот уже второй день мы с ними по дорогам колесим. Правду сказать, не столько ездим, сколько отдыхаем. Километр проехали — они сейчас останавлива-

ются и давай считать, сколько тут немецкой техники валяется.

— А больше ничем не интересуются?

— Нет, как же! Интересуются. Трупы немецких солдат считают.

— Занятно! — сказал Коробов. — Прекрасное разделение труда. Мы гитлеровцев бьем, а американцы подсчитывают наши трофеи. Вот это союзники!.. Ну, не будем им мешать.

Американцы, занятые своим делом, так и не заметили машину Коробова, которая скрылась за поворотом балки.

2

Захваченный в плен вместе со своим штабом командир пехотного полка Антонеску на допросе рассказал, что румынские войска распопинской группировки получили приказ пробиваться на юг рано утром двадцать второго ноября. Об этом немедленно доложили Коробову, а тот сообщил Ватутину.

Обстановка создалась в высшей степени сложная. В результате того что три пехотные дивизии армии Рыкачева не сумели завершить предписанный им маневр и занять назначенные рубежи, левый фланг армии Коробова оказался под угрозой. Противник не терял надежды выручить окруженных.

Если показания румынского полковника правильны, здесь надо перейти в наступление, как только стемнеет. Нанести разом несколько стремительных ударов. К утру следующего дня с окружением должно быть покончено.

Коробов пробыл на переднем крае около полутора часов. На КП к Чураеву вызвали командиров соседних дивизий. В последний раз проверили подготовку к удару.

Отсюда, с переднего края, были хорошо видны дома Распопинской, за которыми словно все вымерло. Изредка перебегали улицу солдаты, проскакивала машина, и опять все стихало.

С тех пор как из своего неудачного похода вернулся Силантьев, противник стал обороняться упорнее.казалось, он еще крепче поверил, что существуют силы, которые помогут ему вырваться из кольца. И в то же

время все пленные, как один, рассказывали о тяжелом отчаянии, которое охватило войска, попавшие в окружение. Тот удар, который они готовятся нанести завтра утром, это, очевидно, последняя их ставка, последняя надежда.

Но этой надежде не суждено сбыться. Еще сегодня ночью по указанию Иванова командующий авиацией направил самолеты-ночники бомбить колонны румын, уже двинувшиеся на юг.

Артиллерию выдвинули на передний край. Танки скопились в укрытиях. Знакомое волнение в предчувствии большого боя овладело войсками.

По поручению Дзюбы Терентьев со своими разведчиками обследовал участок, который находился прямо перед полком. О результатах разведки Дзюба доложил Чураеву. Противник уже успел укрепить окраину Распопинской. Поэтому лучше всего было бы ударить во фланг, обойти укрепления и попытаться прорваться там, где они становятся реже.

— Однако и при этом надо ожидать самого сильного сопротивления, — сказал Коробов на совещании комдивов. — Ведь генерал Ласкер предупредил тогда нашего парламентаря, что они будут драться до последнего снаряда и солдата. Что ж, пусть дерутся...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

1

Фронт успешно выполнял приказ Ставки. Великое окружение гитлеровских армий завершалось. Вражеская оборона была сломлена, расчленена, парализована. Одновременный удар трех фронтов был настолько мощен, что гитлеровцы оказались бессильными хотя где-нибудь сосредоточить крупные резервы, нанести контрудары и восстановить фронт. Положение гитлеровских войск ухудшалось еще и тем, что советское командование наращивало удары в самых неожиданных для немцев направлениях. И вражеские войска метались с одного участка на другой, стремясь ценой любых потерь сдерживать надвигающуюся лавину.

Проникнув в глубь вражеской обороны, части Юго-

Западного фронта стремительно рвались вперед, с каждым часом ускоряя темп наступления. Этим войскам, или — как их называли тогда — частям развития успеха, Ватутин приказал не ввязываться в большие бои, обтекать огорные пункты врага, блокируя их малыми силами до подхода основных сил. Их боевой задачей было как можно скорее выйти в тылы противника и перерезать коммуникации. Ватутин напряженно следил за теми частями, которые продвигались вперед, находясь на самом остром клиньев.

Между его командным пунктом и командирами этих частей, действовавших далеко впереди от основных сил фронта, протянулись невидимые, но крепкие нити.

Вот красная стрела на карте спустилась еще на несколько сантиметров на юг. Ватутин смотрит на ее тонко очерченное острие и уже на память знает, что это продвинулся полк Федоренко из дивизии генерала Берегового.

А вот здесь, где широкая красная стрела кометой опустилась к юго-востоку, пересекая в двух местах Дон, действуют конники генерала Плиева.

Еще одна стрела почти уперлась в Калач. На эту стрелу Ватутин смотрит особенно долго, обдумывая положение на фронте. Калач! Ватутин знает, что к этому маленькому городку сейчас подходит группа, которой командует подполковник Филиппов. С другой стороны приближаются войска Сталинградского фронта.

Как-то разовьются события? Город мал, но вражеских сил вокруг него скопилось много...

2

Если бы год назад подполковнику Филиппову сказали, что, находясь вдалеке от своих частей, по существу, во временном окружении, он все же будет уверенно идти вперед, с тем чтобы окружить самого противника, это ему представилось бы занятной, но маловероятной историей — игрой, так сказать, ума.

А теперь он вел своих бойцов по далеким полевым дорогам, уже давно поддерживая связь со своим штабом только по радио. Его люди шли за ним смело. И не было слышно испуганного крика «Мы окружены!» даже теперь, когда порой вдруг приходилось круто поворачи-

вать назад и принимать бой с какой-нибудь немецкой частью, внезапно открывавшей огонь с тыла.

Все, все изменилось за эти дни. Какое огромное значение для победы — состояние духа наступающей армии.

На одной из вязких дорог Филиппов остушился, и вот уже много часов шел прихрамывая. Он бы мог сесть на машину, но две трофейные машины везли раненых и боеприпасы. А какой же он раненый! Его люди истомились, не спали несколько ночей; легкораненые идут вместе со всеми. Так и ему надо быть в строю. А все-таки острая изводящая боль все время не дает покоя. Все-таки дьявольски не повезло. Растянуть связку вот так просто, на ровной дороге.

Вдруг к Филиппову подбежал боец:

— Товарищ подполковник! Совсем близко, за изгибом реки, мост!

— Так, — сказал Филиппов, останавливаясь. — А что на мосту?

— По обе стороны часовые!.. Ходят!..

— А нас они заметили?

— Нет. Как будто спокойно!..

— Всем остановиться и залечь! — приказал Филиппов, а сам с небольшой группой ползком подобрался к обрыву. Честное слово, ползти было гораздо легче, чем идти. Хоть и обдираешь себе колени, но все же как-то отдыхает нога...

В сгущающихся сумерках вдалеке виднелся город. Калач! Домики, раскинувшиеся по степи, высокие башни элеватора, кирпичные трубы завода...

Лежа рядом с Филипповым, бойцы тоже смотрели на Калач. Много дней они не знали тепла натоленной хаты, а тут совсем близко столько домов, и в каждом печь...

На мосту все было спокойно, произошла смена часовых. Филиппов пригляделся. В щелях дзотов, покрытых снежными шапками, видны пулеметные стволы. Атаковать? Дело трудное. Без потерь не обойтись. А в его отряде осталось всего несколько десятков человек.

Он оглянулся на солдат, которые ждали его решения.

«Что же предпринять?» И вдруг его взгляд останавливается на немецких грузовиках. Да, пожалуй, это идея! Положительно, идея! И он отдает необходимые

распоряжения. Проходит час, и еще час-два, длинные и томительные, как вечность. Наконец сгущается тьма.

Боеприпасы выгружены на снег, раненые положены на плащ-палатки и тепло укрыты. В машины садятся бойцы. Филиппов — в первой, рядом с шофером. Несколько мгновений молчания, и он командует:

— Вперед! Зажигай фары! Пусть думают, что свои!

Дорога идет вдоль берега, затем отходит от него, делает крупный изгиб и под прямым углом поворачивает к мосту. Вот будка часового, слева от нее дзот. Он молчит. Пока что еще молчит. А вот и фигура самого часового. Жалкая фигура, вся в каких-то башлыках и тряпках, в огромных эрзац-валенках, она стоит посередине дороги, похожая на огородное чучело.

И хоть в эту минуту ему совсем не до смеха, Филиппов невольно улыбается и успевает искоса обменяться с шофером коротким лукавым взглядом.

И тут дверь дзота открывается, по канавке к часовому подбегают еще двое солдат. Все трое, ослепленные светом фар, машут руками и что-то кричат, должно быть, приказывают остановиться или требуют пропуск, но их никто не слушает, никто не обращает внимания на их знаки. Не уменьшая скорости, машины устремляются прямо на них. Уже в самое последнее мгновение, буквально из-под колес, часовой и солдаты кидаются в стороны. Но это их не спасает. Дробный стук автомата, и все трое падают.

Часовой по другую сторону моста второпях дает по машине очередь и бросается к дзоту, приткнувшемуся к самому берегу. Пули разбивают переднее стекло машины. Слабо вскрикнув, шофер грудью наваливается на баранку руля... Еще секунда — и машина, потерявшая управление, слетит с моста в Дон. Филиппов хватается за ручной тормоз, изо всех сил тянет его на себя, и машина приостанавливает свой бег. Но уже на ходу из-под брезента один за другим прыгают на мост солдаты. Топот ног, крики «ура», стук пулеметов, взрывы ручных гранат, визг пуль!.. Спрятанный в дзоте пулемет, заклебываясь, стучит, поливает мост длинными очередями. Но вот грохнул взрыв. За ним — другой! И пулемет смолк.

Бой кончился. Мост взят, и Филиппов приказал занять возле него круговую оборону.

В отряде, кроме раненного в грудь шофера, других

потерь не было. Шофера перевязали и положили в кузов машины, тепло укрыв шубами и брезентом. Он лежал и тихо стонал. В жару ему казалось, что он едет по городской улице, а его ни за что ни про что остановили и хотят отобрать права. И он повторял взволнованной скороговоркой: «Товарищи! Надо же совесть иметь! Здесь есть разворот... И светофор был открыт!..»

В одном из только что занятых дзотов Филиппов установил свой командный пункт. Он твердо решил во что бы то ни стало удерживать в своих руках мост до тех пор, пока не подойдут следующие за передовым отрядом войска.

В низкой норе дзота неуклюже торчал крупнокалиберный пулемет. Сейчас по приказу Филиппова его вытащили и перенесли в гнездо, выкопанное на берегу Дона, откуда можно было бить в сторону Калача. В дзоте стало попросторнее. Пол был густо усеян стреляными гильзами. В углу грудой лежали пустые консервные банки.

Сидя на патронном ящике, Филиппов подсчитывал силы своего отряда. Да, людей немного, и все устали сверх всякой меры. А бой предстоит упорный, жестокий и, должно быть, долгий.

Со стороны Калача начала бить артиллерия. Дзот сотрясался от взрывов: снаряды рвались то на берегу, то посреди реки.

Вдруг в углу дзота раздался резкий гудок. Он повторился еще раз и еще раз, требовательно и тревожно.

На полу, за ящиком, отброшенным взрывом, лежал телефон. Большая, прочная телефонная трубка из стали и черной пластмассы валялась рядом. Филиппов приложил ее к уху. Гудели провода. Связь с Калачом сохранилась. Какой-то хриплый голос кричал:

— Ахтунг! Ахтунг! ¹

— Алло! — отозвался Филиппов.

Голос в телефоне стал тонким не то от растерянности, не то от злости.

— Вер ист да? ²

Филиппов усмехнулся.

— Подполковник Красной Армии, — ответил он по-

¹ Внимание! (нем.)

² Кто там? (нем.)

русски, отдельно и четко.— Советую убираться из Калача, пока живы. Наши калачи не про вас!

Очевидно, его поняли. В ответ голос, задыхаясь, прокричал какое-то ругательство, и телефон замолк. Выключили.

Через полчаса наблюдатель доложил, что из города выехало десять машин и на предельной скорости мчатся сюда. Еще через полчаса гитлеровцы широкой цепью пошли в контратаку на защитников моста. Им нужно было хотя бы взорвать его, чтобы преградить путь танкам. Они понимали, что мост — ключ к городу. Отдать мост — значит отдать Калач.

Филиппов вышел из дзота. В минуту самой большой опасности он хотел быть вместе со своими солдатами.

Гитлеровцы подошли метров на четыреста и залегли. Потом они стали осторожно переползать по снегу, очевидно, для того, чтобы броситься в контратаку с близкой дистанции. Филиппов напряженно ждал, что, того и гляди, со стороны Калача появятся вражеские танки. Тогда будет еще тяжелее. Но танков не было...

Вот гитлеровцы уже совсем близко. Вот они поднимаются, бегут, что-то кричат и, не целясь, стреляют из автоматов.

— Огонь! — командует Филиппов и сам ложится в цепь.

В напряжении боя часы идут незаметно. Отряд несет потери: уже десять человек убито и пять ранено.

Филиппов сам лежит за пулеметом, заменив весь выбивший расчет. Все чаще и чаще поглядывает он на север. Скорей бы, скорей подходила помощь. Где танки? Что задерживает их? Радист никак не может починить испорченную осколком снаряда радиостанцию. Это еще больше усложняет положение.

Как волчьи глаза, вспыхивают и гаснут в сумраке злые огоньки. Прошьет тьму яркая очередь трассирующих пуль, пылающие угольки пронесутся в небе азбучкой Морзе — точки, точки, тире — и потухнут.

Артиллерийский обстрел не утихает ни на минуту.

Филиппов не столько понимает, сколько чувствует, что бездейственное ожидание у моста под разрывами снарядов может подорвать у солдат веру в свои силы, может вызвать ощущение обреченности. После мучительного колебания он приказывает группе отойти и ведет ее в район курганов. Здесь занимает оборону, ожи-

дая подхода танков. Жаль, что гитлеровцы опять овладеют мостом. Но другого выхода нет.

Так, в тягостном ожидании, ползут часы...

И вдруг Филиппов слышит шум приближающихся танков! Чьи? Наши? Вражеские?..

Ему становится душно от тревоги. Кровь в висках начинает стучать так сильно, что шум этот сливается с рокотом идущих машин.

— Галаджиев! — говорит он. — Быстро! Выяснить, что за машины!

Но уже ничего не надо выяснять. Из охранения прибежал сержант Костин.

— Наши! Наши танки! — кричит он восторженно, пьяным от радости голосом, даже в грохоте разрывов слышен этот голос.

Танки идут с севера! Вот в яркой вспышке взрыва видно, как темная громада первого танка вползает на мост, за ним — другой, третий, четвертый!

— Товарищи, живем!.. Танки пришли! — Радостные слезы сжимают горло Филиппова.

Через полчаса он жмет руку танкисту, который стоит около своего танка. Танкист худой, длинный. Он в кожаной черной куртке и черном ребристом шлеме.

— Будем знакомы! Филиппов.

— Филиппенко.

Танкист громко смеется.

— Ну вот, как нарочно подобрались. Филиппов и Филиппенко Калач берут!.. Разве ж противник перед ними устоит!.. Как у вас тут?

— Трудно! Целый день бьемся... Уже двенадцать часов в бою.

Филиппенко задумывается:

— Н-да, вопрос... У нас всего двадцать танков и две противотанковые батареи.

— «Катюши» есть?

— Есть. Да неохота ими рисковать, пока обстановка не выяснена. А у вас сколько народу в строю?

— Всего тридцать человек осталось. Со мною — тридцать один.

— Немного, совсем немного. — Филиппенко замолкает и опять задумывается.

— Что будем делать? — спрашивает Филиппов.

— А вот сейчас решим, — отвечает Филиппенко. — Думаю, ждать подхода новых сил нам, пожалуй, нель-

зя. Упустим время... Калач надо брать с ходу. Вы как считаете?

Филиппов кивает головой.

— Да так же, как вы. Гораздо выгоднее напасть ночью. Ночью один боец за троих сойдет, один танк — за пять.

— Решено,— говорит танкист.— Мы пойдем. Но вы останетесь здесь.

— То есть как это? — удивился Филиппов.

— Ваши люди должны охранять мост. Могут быть всякие случайности.

Филиппов помрачнел, однако согласился.

Танки рванулись вперед. Но едва они вышли с моста в поле, как над ними повисли яркие осветительные ракеты, и темные очертания танков стали отчетливо видны на снегу. Тотчас по ним ударила артиллерия. Но в облаках уже появились ночники «поликарповы». И на позиции врага обрушились первые бомбы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

1

Федор протянул Марьям котелок с супом:

— Поешь, Марьям!

— Давай вместе.

— Некогда. Я потом.

Он повернулся и вышел из холодного блиндажа. Здесь, на воздухе, ему показалось теплее. Легче дышать, но лучше от этого не стало. На душе было мутно, беспокойно. В груди что-то все время дергало, словно нарывало внутри. Отойдя от входа в блиндаж, точнее сказать, от впадины в склоне холма, занавешенной плащ-палаткой, он остановился, вынул папиросу и закурил. Никаких дел у него не было. Просто хотелось остаться одному, подумать...

Да, надо сказать правду: до приезда Марьям он даже не знал, как сильно ее любит. Но ничего хорошего из этой любви не получается. Неизвестно почему, но он никак не может, просто не умеет найти подходящие слова, звук голоса или там улыбку для выражения тех простых и сложных, тревожных и нежных чувств, которые он сейчас испытывает.

Когда он боялся за нее, кричал ей: «Не суйся вперед. Слышишь!» — она обижалась. Когда он ревновал ее (а ревновал он по всякому поводу и совсем без повода), он угрюмо замолкал, и она не могла добиться от него ни слова. Лицо у нее становилось растерянное, испуганное, а глаза краснели. Тогда ему хотелось успокоить и утешить ее, но из этого чаще всего выходило только новое столкновение.

Самое тягостное было то, что, ревнуя Марьям, он в глубине души считал, что она в тысячу раз лучше его — умнее, красивее, привлекательнее... Заметит же она это когда-нибудь, и что тогда будет? Впрочем, война — это война. Убьют, и вообще ничего не будет.

Но мысль о смерти сейчас же уходила куда-то далеко, в самые тайники сознания, а на поверхности опять оказывались тревожные воспоминания о том, как Марьям всем нравится. Ребята перед ней так и пляшут. Командир полка Дзюба и тот разговаривает с ней, улыбаясь и каким-то особенным голосом. А замполит Силантьев в последние дни только тем и занят, что проводит у разведчиков беседы. Знаем мы эти беседы! Марьям сама рассказывала Федору, как Силантьев провожал ее в штаб армии...

Стоит только приметить, какими глазами смотрит замполит на Марьям — беспокойными, серьезными, внимательными, — и все станет ясно. Ну и ладно! Ну и пусть! Он, Федор Яковенко, не позволит смеяться над собой!..

По тропинке мимо Федора прошел Терентьев, на ходу тронул его за локоть и сказал:

— Готовься. Пойдем с первым батальоном!.. Через пятнадцать минут начнется артподготовка.

Он откинул плащ-палатку и исчез в блиндаже; Федя пошел за ним. Марьям оставила ему полкотелка супа и бережно, чтобы не остыл, прикрыла котелок шапкой.

Пока Терентьев объяснял задачу, Федор быстро ел суп, искоса поглядывая на Марьям, которая в это время увязывала свой вещевой мешок и санитарную сумку. Она молчала, и волосы, выбившиеся из-под шапки, скрывали ее лицо. Он ясно видел, что она на него за что-то сердится. Но уже некогда было заниматься такими пустяками, как выяснение отношений.

Он нагнулся к уху Марьям и тихо сказал:

— Ты эти глупости брось. И вперед не беги, понятно? Иди со второй группой...

Но Марьям движением головы отбросила со лба волосы и ответила резко:

— А ты мне не приказывай, где идти! У меня командир — Терентьев.

— Что с тобой, Марьям? — спросил Федя и отставил котелок в сторону. — Я же ничего не говорю...

— Нет, ты все время грубишь! Ты совсем меня не уважаешь! — И, не желая продолжать ссору, она отодвинулась от Федя и встала среди бойцов.

А Терентьев между тем, как всегда, неторопливо и веско объяснял разведчикам, как вести себя во время предстоящей операции. Держаться вместе. Если кто будет ранен, сейчас же сообщать. Еще и еще раз повторил он, где у противника дзоты и как их обходить. Первый батальон должен ворваться в Распопинскую, в то время как остальные будут сковывать противника ожесточенным огнем.

— Противник, прямо скажу, товарищи, —дохлый! — говорил Терентьев, подбадривая ребят. — Если рванем как следует, в одну ночь все дело решим.

Но, успокаивая разведчиков, сам Терентьев беспокоился не на шутку. Ночной бой таит в себе много неожиданностей. Противник может сидеть под любым сараем, и черта с два ты его обнаружишь, даже если он будет бить прямо по тебе. В суматохе, бывает, ничего не поймешь. Но труднее всего будет проделать проходы в проволочных заграждениях. Румынские саперы прикрепили к ним пустые консервные банки. Только дотронешься до проволоки — начинается такой звон, словно цугом едут двадцать троек с бубенцами.

Для выполнения этого задания Терентьев выделил группу самых опытных разведчиков. Попал в нее и Яковенко. Кроме десяти разведчиков Терентьев назначил в группу и двух санитаров, недавно прибывших из санбата. А Марьям он приказал до особого указания оставаться на исходном рубеже. То ли он не был уверен в ее силах, то ли берег ее...

Так или иначе, Марьям пришлось остаться, и Федор так и не повидался с ней перед уходом. Через несколько минут началась канонада, и Терентьев повел группу за собой.

Федор уже совсем привык к своему маскировочно-

му костюму. Правда, костюм этот немного стесняет в движениях, но зато в темноте чувствуешь себя невидимкой, а от этого на душе становится спокойно.

Было уже совсем темно. Пронизывал холодный ветер. Порошил снег. Консервные банки гулко позванивали на качающейся проволоке. Пулеметы противника били яркими струями трассирующих пуль.

Всего каких-нибудь сто метров отделяло разведчиков от проволочных заграждений, но какой это долгий, тяжелый путь, когда ты ползешь, каждую минуту рискуя наткнуться на мину, а над головой у тебя шелестят снаряды.

Наконец Яковенко дотронулся до первого ряда проволоки и принялся орудовать большими, тяжелыми ножницами, стараясь придержать консервные банки, чтобы они не звенели так предательски громко. Работал он почти что на ощупь. Невдалеке не столько виделась, сколько угадывалась чья-то темная фигура. Это Терентьев, его тяжелые плечи, крутой затылок. Оттого что Терентьев трудился рядом, Федор почувствовал себя как-то увереннее.

Он довольно быстро справился с первым рядом запутанной проволоки, которая, когда он ее перекусывал, расправлялась и отскакивала, точно живая, и при этом так и норовила впиться колючками в лицо и руки. Саперы противника натягивали ее и вдоль и поперек и просто бросали на землю большими кольцами. Нужны были неустойчивое терпение и большая выдержка, чтобы все это распутать и раскидать в разные стороны.

Откуда-то с тыла мимо Федора прополз боец. Что-то знакомое было в мешковатой, неловкой фигуре. Федор присмотрелся внимательнее и тихонько охнул:

— Марьям!

— Я, — тихо откликнулась она.

— Ты здесь зачем?

— Начальник санитарной службы приказал мне быть вместе с разведчиками.

— Да ведь Терентьев приказал тебе остаться. Я сейчас ему доложу!.. Возвращайся назад. Слышишь!..

Они лежали на снегу почти рядом. Может быть, если бы он говорил ласково, она бы согласилась уйти, но он кричал, вернее, шипел от злости и достиг противоположного тому, к чему стремился. Она вдруг пришла в ярость:

— Знаешь что, Федор, перестань мной командовать! Я сама знаю, что мне делать!

— Ты дура, понятно? — зло проговорил он. — У тебя в голове — марля!.. Вон там, видишь, яма... Забирайся в нее. Сейчас же! Ну!..

Мгновение они смотрели в упор друг на друга, не видя в темноте лиц. В сумраке мерещились лишь общие контуры, какие-то белесоватые круглые пятна без глаз, без носа, без рта. И все же она чувствовала на себе его упорный взгляд. Чувствовала страстную силу его тревоги, и это ее победило. Она стала медленно и покорно сползать в старый запорошенный снегом окоп.

Убедившись, что Марьям в безопасности, Яковенко вернулся к проволоке. И в то же мгновение совсем близко раздался оглушительный взрыв, в Федора полетели большие куски земли, камни; кто-то истошным голосом закричал от боли. Федор понял: это где-то близко подорвался на mine сапер.

Взрыв привлек внимание противника. Разведчики были обнаружены. С окраины Распопинской начал бить пулемет. Трассирующие пули стлались низко над землей. Совсем распластавшись по снегу, Федор пополз к раненому, нащупывая у себя в кармане бинт.

Его рука наткнулась в темноте на валенок. Он наклонился поглядеть, кого это ранило? Но человека не было. Федор осторожно потянул валенок к себе, и вдруг из валенка на снег вывалилась нога в аккуратно обернутой портянке. Он вздрогнул и скорей пополз дальше.

И тут он увидел Марьям. Стоя на коленях, она бинтовала лежащего на снегу сапера. Тот тихо стонал.

— Пусти, сестрица! Я встану, встану!..

Марьям молча и сосредоточенно делала свое дело.

Длинная очередь из станкового пулемета хлестнула совсем рядом. Пули с присвистом впились в снег.

— Ниже, ниже пригнись! — крикнул Федор.

Но Марьям его не слушала. Она не могла пригнуться: тогда бы перевязка не удалась, а ногу выше колена следовало стянуть бинтами как можно туже.

— Марьям! — еще раз отчаянно закричал Федор. — Стреляют!.. Ложись!.. Ложись!..

Новая длинная очередь кроваво-красных угольков пронеслась над снегом. Внезапно Марьям поднялась во весь рост, медленно, словно для нее не было смерти, сделала два шага к Феде и упала лицом в снег.

— Марьям!..

В один прыжок он был рядом с ней, повернул ее на спину и стал судорожно рвать маскировочный халат, полушубок, рубашку. Ее грудь была теплая, но его пальцы сразу почувствовали кровь.

Федю точно ударило. Он выпрямился во весь рост, поднял ее на руки и, прижав к себе, понес в санитарную часть, не обращая внимания ни на пули, ни на разрывы мин. У него еще теплилась слабая надежда, что она жива.

Навстречу ему из темноты выползли двое бойцов. Один из них тащил по снегу носилки. Санитары!..

— Клади, клади ее сюда, Яковенко! — сказал один из них.

Но Федор не слышал. Он шел и шел, проваливаясь по колено в снег, ничего не видя перед собой, кроме лица Марьям с закрытыми глазами. Капюшон съехал с ее головы, шапка где-то упала, и волосы рассыпались, их раздувал ветер. Мелкие снежинки падали ей на лицо и не таяли.

Санитары нагнали Федора, почти силой отняли у него Марьям и положили ее на носилки. Глядя на Федора, они тоже поднялись во весь рост и почти бегом побежали в сторону санчасти. За ними бежал Федор.

В маленькой хатке было тесно, пахло лекарствами, кто-то стонал в углу на лавке, командиру, сидящему на табуретке, перевязывали голову... Марьям сняли с носилок и положили на операционный стол. Ольга Михайловна склонилась над ней, осмотрела рану, пощупала пульс и повернулась к Федору который стоял на пороге, огромный в своем белом маскировочном халате, с автоматом на груди.

— Проститесь с ней, Яковенко. Она была вам жена?

— Жена, — сказал Федор, медленно приближаясь к телу Марьям.

Он подошел к столу вплотную, нагнулся над ней, несколько секунд в упор смотрел ей в лицо, а затем вдруг повернулся и опрометью выбежал из комнаты. Хлопнула дверь. И шаги его стихли.

Через час полк Дзюбы ворвался на окраину Распопинской. Противник в беспорядке отходил. Самолеты-ночники бомбили на дорогах колонны вражеских солдат.

Это была одна из самых напряженных ночей с начала наступления. С красными, воспаленными от бессонницы глазами, Ватутин непрерывно работал. Ему казалось, что ночи не будет конца, так долго она тянулась...

Что-то долго не звонит Иванов, которого он еще с вечера послал к Коробову, чтобы на месте разобраться в обстановке. Что там делается? Где войска?!

Наконец, когда Ватутин уже стал терять всякое терпение, Иванов позвонил после полуночи:

— Соединения Коробова овладели Верхне-Фоминским, Нижне-Фоминским, Жирками и продолжают наступать в юго-восточном направлении, частью сил на Перелазовский, также значительно потеснив противника. Мотоциклетный полк получил задание двигаться на Обливскую. Наша авиаразведка заметила большие группы вражеских войск,двигающихся в восточном направлении.

Опять Вейхс! Он начал энергично стягивать части в кулак, очевидно надеясь фланговым ударом остановить продвижение наших войск. Значит, надо спешить. Если Ватутин успеет вовремя сомкнуть свои войска с войсками Сталинградского фронта, то противодействовать вражеским контратакам будет гораздо легче. Что намерена делать группировка немецких войск, которая создается в районе Нижне-Чирской?

Ватутин склоняется над картой и долго смотрит на, казалось бы, уже наизусть изученные красные и синие значки, которыми она испещрена.

Соломатин сидит рядом и медленно, большими глотками, пьет остывший чай.

— Как по-твоему, — поднимает голову Ватутин, — что Вейхсу тут, около Нижне-Чирской, надо? Что он задумал?

Соломатин отодвигает стакан и медленно встает. Он тоже осунулся за эти дни непрерывной заботы и бесконечного потока дел.

— Нет сомнения, Николай Федорович, он метит ударить вдоль Дона...

— И закрепитьсь на Дону и Чире, — продолжает мысль Ватутин. — Да, да!.. Это все подтверждается разведкой!.. Да и Еременко сообщает — до тысячи машин с пехотой движутся туда с юга... И танки идут... Грозно,

очень грозно! Давай-ка теперь посмотрим, какие у нас есть козыри!.. Смотри-ка сюда!

Соломатин также нагнулся над картой.

— Во-первых, — загнул палец Ватутин, — кавалерийский корпус вышел на правый берег Дона; во-вторых, еще две дивизии переправились через Дон вот тут, севернее!.. Танки Родина ворвались в Калач... Что же остается? — Они встретились глазами. — Что остается? — повторил Ватутин.

— Уничтожить распопинскую группировку, — сказал Соломатин. — Это назрело...

Ватутин долго и тяжело думал.

— Да, ты прав! — сказал он. — Другого выхода нет. Надо сокращать линию фронта и высвобождать войска! Они нам крайне нужны! Контратаки могут начаться очень скоро.

Соломатин как-то заново взглянул на Ватутина, увидел его постаревшее, измученное лицо и негромко сказал:

— Лег бы ты спать, Николай Федорович. Ну хоть на часок... Честное слово, тебе надо отдохнуть...

Ватутин вдруг зло посмотрел на него и хлопнул ладонью по столу.

— Семенчук! — сердито крикнул он.

Семенчук тотчас же вбежал в комнату.

— Дай Соломатину черный кофе, его ко сну клонит! — сказал Ватутин и уже более мягко прибавил: — Да и мне заодно!..

Семенчук мгновенно исчез, а Соломатин, выдержав бешеный взгляд Ватутина, усмехнулся.

— Ну ты меня и напугал, Николай Федорович. Нельзя же так рывкать!..

— А ты меня рассердил, Соломатин! Ты понимаешь, что сейчас для нас самое главное? Нам надо наконец установить связь с войсками Сталинградского фронта!.. Кольцо должно быть замкнуто!.. — И еще раз повторил: — Замкнуто!.. Нельзя терять темпа!..

Силантьев видел много больших боев и трудных переходов, но никогда ему еще не приходилось участвовать в таком напряженном ночном сражении.

Когда он узнал о гибели Марьям, ему вдруг стало душно. Сам не зная для чего, он решил разыскать Яковенко, но встретиться им довелось только в Распопинской.

После взятия станицы Дзюба дал полку небольшую передышку, и бойцы разошлись по уцелевшим домам, чтобы хоть немного отогреться. Первый раз за много дней они отдыхали под крышей, защищенные от ветра и мороза бедным теплом остывших печей и хрупким заслоном покосившихся стен.

А на узких улицах Распопинской было тесно от брошенных машин и повозок. Повсюду, куда только падал взгляд, виднелись ящики, сплетенные из рисовой соломы так тщательно, словно в них должны были храниться не снаряды, а хрупкие бутылки с вином. Между повозками и кузовами разбитых машин лежало множество трупов. И хотя уже не было слышно выстрелов, в воздухе висел острый запах гари...

Тут же, в этой беспорядочной тесноте, толпились пленные солдаты. Одни были в высоких меховых шапках и зеленых шинелях, другие в каких-то ватниках, рваных и грязных, с головами, обмотанными тряпками. Но независимо от того, как они были одеты, все казались одинаково жалкими и растерянными. Это были солдаты, взятые в плен в Распопинской. Основная группировка еще продолжала сопротивляться километрах в десяти на юг.

Федор чистил автомат, примостившись на подоконнике в одной из хат. Проходя мимо, Силантьев увидел его в окне, увидел потемневшее, осунувшееся лицо, судорожно сжатые челюсти и какие-то ничего не видящие глаза. Он хотел было зайти, сказать Федору несколько слов, но не решился. В самом деле, что тут скажешь? До гибели Марьям они втайне были враждебны друг к другу. А сейчас, когда ее нет, нет и тени прежней неприязни. Все это куда-то ушло, а так жаль этого большого, дикого, одинокого парня. Словно смерть Марьям как-то сблизила, объединила их. Но разве об этом можно говорить?

...Убитых в бою похоронили на кладбище вблизи Распопинской. Их было пятнадцать. Всех положили в одну братскую могилу. Потом дали пятнадцать залпов в воздух...

Гробов не было, мертвых завернули в плащ-палатки,

покрыли брезентом. Марьям лежала в верхнем ряду с краю, и Силантьеву казалось, что под грубой тканью палатки он видит светлые волосы и ясные карие глаза, такие большие и чистые, с голубоватым белком. Когда стали зарывать могилу и комья мерзлой земли упали ей на грудь, Силантьев вздрогнул и отвернулся. И вдруг увидел мертвенно-бледное лицо Яковенко. Федор стоял, прижав автомат к груди, и немигающим взглядом смотрел в могилу. Рядом с Федором стояла Ольга Михайловна. Ее глаза были заплаканы.

— Пойдемте! Пойдемте, Федя,— мягко сказала она и взяла его за руку.— Пойдемте, не будем смотреть...

Когда вернулись с кладбища, Силантьев на некоторое время потерял Яковенко из виду. В штабе было много дел,— от Чураева поступил приказ немедленно двинуться вперед и продолжать преследование. Кроме того, надо было собирать пленных и группами отправлять в тыл.

И вдруг к Силантьеву прибежал Терентьев, испуганный и растерянный, каким его никогда никто не видал.

— Товарищ замполит, идите скорее! Там Яковенко...

— Что Яковенко?

— Да с ума сошел, что ли?

Не спрашивая больше ни о чем, Силантьев выскочил на улицу и бросился вслед за Терентьевым. Они свернули за угол, пробежали между трофейными грузовиками, и тут Силантьев увидел несколько отчаянно мечущихся пленных солдат. Они бегали по снегу босые, а Яковенко, размахивая автоматом и не давая никому к себе подступить, даже своим, заставлял остальных солдат разуваться и сапоги их с маху закидывал в колодезь на перекрестке.

— Заведите разутых в хаты! Немедленно выдайте им обувь из захваченных трофеев! Склад вон в той церкви,— быстро сказал Силантьев, а сам бросился к Федору и сильным неожиданным ударом свалил его на землю.

Яковенко упал, выронив из рук автомат, и, рыдая, пополз по снегу.

— Прекрати! — закричал Силантьев.— Прекрати сейчас же, слышишь!.. Встань! Встань! Я приказываю!..

Федор послушно встал, поднял автомат и, сгорбившись, пошел вдоль деревни. Силантьев не стал его удер-

живать. Проводив его взглядом, он подозревал к себе Терентьева, который уже успел развести пленных по хатам и теперь направлялся к церкви.

— Сколько человек он успел разуть?

— Восемнадцать, товарищ замполит. Сдурел парень совсем. Разума лишился. Чуть меня самого не пристрелил, когда я вмешаться хотел...

Силантьев вздохнул:

— Вот что, Терентьев, ты последи за ним. Пусть он будет в деле, но возле тебя. А то погибнет ни за грош...— Он помолчал и добавил: — А когда пленных опять обуешь, доложи.

— Слушаю! — сказал Терентьев и, прихватив двух бойцов, побежал к складу.

Через час полк Дзюбы уже двигался на юг, в ту сторону, откуда все слышнее доносился шум боя...

4

Вражеская группировка распадалась. Штабы Коровова и Рыкачева насчитали уже больше пятнадцати тысяч пленных. Однако между ними не было еще тех генералов, которых видел Силантьев. Где они? В окружении, среди оставшихся частей, или вывезены каким-нибудь прорвавшимся транспортным самолетом? По показаниям пленных, в окружение попали 5-я и 6-я пехотные дивизии румын, два полка 15-й пехотной дивизии и отдельные части 13-й дивизии.

Вся ночь и весь день прошли в боях, в которых с каждым часом терялись последние надежды румын прорвать окружение. Полк Дзюбы буквально с ходу вступил в бой. Однако на этот раз бой продолжался не больше часа. Стремительный, дружный напор — и войска противника в беспорядке отступили. Удачи последних дней, на удивление, переродили всех в полку — от командира до последнего солдата. Великое дело — победа. Малодушных она превращает в храбрых, а храбрым придает спокойствие и уверенность.

Дзюба расположил свой КП в одном из отнятых у противника блиндажей. Блиндаж был оборудован на совесть, но стены и пол его были политы каким-то сильным раствором, от которого щипало в носу и жгло веки.

— И как они тут сидели, — сердился Дзюба, — ведь просто не продохнуть. Откройте дверь, пусть хоть выветрится немного.

Под вечер, в блиндаж вдруг ворвался Терентьев.

— Товарищ командир полка, — закричал он возбужденно, — парламентареры идут!

— К нам? — удивился Дзюба.

— К нам! Два человека!

Дзюба осанисто расправил плечи.

— Веди их сюда! Да завяжите им глаза, как они Силантьеву завязывали... Потуже!

Как раз в это время в блиндаж вошел Силантьев. Пуля оцарапала ему голову, и белая марлевая шапка была надвинута до бровей, как шлем.

Дзюба взглянул на повязку и поднялся ему навстречу, уступая скамейку.

— Вот еще незадача... Что с тобой, Силантьев? Сильно?

— Нет, — махнул рукой Силантьев. — Так, царапина... Потерял немного крови...

— Выпей-ка трофейного коньячку.

— Что ж, можно.

Дзюба налил полстакана коньяку и разрезал лимон.

— Садись рядом, здесь у стола! Сейчас будем принимать парламентареров... Ты теперь специалист. Знаешь, как с ними разговаривать.

— Ладно. Смейся, — сказал Силантьев, закусывая коньяк лимоном. — А впрочем, поговорим. Занятно...

Ступени блиндажа закрипели. Дверь распахнулась. Первым на пороге показался взволнованный и потный Терентьев, за ним — Яковенко. Они встали по бокам лестницы, пропустив мимо себя двух румынских офицеров с завязанными глазами. Офицеры, осторожно ступая, как бы боясь провалиться в яму, вышли на середину блиндажа.

Силантьев уступил место за столом Дзюбе, а сам отошел в угол и стал оттуда с любопытством рассматривать парламентареров, один из которых показался ему что-то очень знакомым.

— Сними повязки, — кивнул Дзюба Терентьеву.

Терентьев мгновенно сдернул обе повязки, и парламентареры невольно зажмурили глаза от яркого электрического света. В худощавом человеке с черной щетиной волос на щеках Силантьев мгновенно узнал сво-

его старого знакомого — капитана. Другой парламентар был ему неизвестен. Немолодой подполковник, приземистый и широколицый, в кожаном пальто на меху — он выглядел очень растерянным, хотя, видимо, изо всех сил старался сохранить достоинство.

— Парламентары? — спросил Дзюба, внимательно рассматривая офицеров.

— Парламентары, — ответил капитан, выступая вперед. В это мгновение он встретился взглядом с Силантьевым, узнал его и сразу как-то сник.

Дзюба насмешливо прищурил глаза:

— Сдаваться пришли?

Капитан помедлил, еще раз бросил испытующий взгляд на Силантьева, пытаясь угадать, не будет ли этот человек, которого он так дурно принял, теперь мстить ему, а затем приложил руку к шапке.

— С кем мы говорим, господин... господин майор?

— Я командир одной из частей, которые вас окружили.

— Мы пришли для переговоров.

— Переговоров не будет, — сказал Дзюба. — Никаких условий мы не принимаем. Сдавайте оружие!

Капитан перевел ответ Дзюбы подполковнику, тот хмуро выслушал его и что-то буркнул в воротник. Капитан опять повернулся к Дзюбе.

— Мы имеем поручение заявить о нашей капитуляции.

— Вот это другое дело, — сказал Дзюба. — Где будут сборные пункты, мы вам укажем позднее. Вам придется подождать, пока я доложу командованию, оттуда придет соответствующее распоряжение... Кто ваши генералы?

— Ласкер, Мазарини и Станеску...

— Отправьте парламентаров в соседний блиндаж, — сказал Дзюба Кочетову, который в это время на минуту оторвался от телефонов. — Пусть позагорают немного... Да, — обратился он к капитану, — а сколько вас там?

— Приблизительно тридцать тысяч, господин майор.

— Тридцать тысяч, — почесал за ухом Дзюба. — Порядком... Ну ладно, веди их, Кочетов!

Парламентары ушли, а Дзюба доложил обо всем по телефону Чураеву. Чураев выслушал, сказал: «Ждите» — и стал звонить Коробову. Тот ответил: «Ждите» — и позвонил Ватутину.

Ватутин приказал: генералов Ласкера и Мазарини немедленно направить в штаб фронта, а генералу Станеску возглавить колонну сложивших оружие и вести ее в тыл; по дороге организовать пункты питания и медицинской помощи; к сдавшимся немедленно направить из штаба армии группу командиров, которая должна следить за тем, как будет происходить разоружение. И снова полетели по радио и по телефону короткие, точные приказы — командармам, комдивам, командирам полков: пока все гитлеровцы не будут разоружены и построены в колонны, быть начеку...

Часа через два Дзюба отправил парламентаров назад. С ними пошли полковник, который приехал от Ватуты из штаба фронта с поручением доставить туда обоих генералов, и посланные Дзюбой несколько офицеров, в том числе и Силантьев. До места, где ждали парламентаров Ласкер и Мазарини, было совсем недалеко. Через двадцать минут ходьбы по вытоптанному снегу они подошли к небольшому деревянному домику в центре деревни. У сломанного плетня стояло человек пять-шесть офицеров. Среди них Силантьев узнал и тех генералов, с которыми он разговаривал еще так недавно. Должно быть, они тоже узнали его. Силантьев заметил, что оба, точно сговорившись, беспокойно и хмуро отвели от него глаза. Подполковник в меховом пальто, понурившись и как-то сразу потеряв всю свою военную выправку, доложил генералам о результатах переговоров. Генералы молча кивнули и так же молча последовали в дом за полковником, которого прислал за ними Ватутин.

Полковник через переводчика предложил им взять свои вещи. Генералы удивленно переглянулись, но пошли за чемоданами.

И тут Силантьев вдруг вспомнил, что с капитаном у него еще не сведены счеты. Он нашел его в толпе офицеров и поманил к себе. Тот подошел, обреченно глядя на Силантьева. Куда девались его наглость, развязность? В глазах не видно ничего, кроме тупой покорности.

— Верни пистолет, слышишь! — строго сказал Силантьев, когда капитан подошел поближе.

Капитан с готовностью распахнул полы шинели и вытащил из заднего кармана знакомый Силантьеву ТТ. Пистолет тускло сверкнул вороненой сталью.

Силантьев взял пистолет, дунул в ствол и привычным движением засунул в карман. Потом повернулся и, уже не чувствуя к капитану прежней злобы, пошел на КП.

Вечером Силантьев в штабе дивизии у Кудрявцева узнал, что было в той телеграмме, которую при нем получил генерал Ласкер и которая в один миг сорвала успех его миссии.

Это был приказ генерала Вейхса держаться и ждать помощи. Он заверял союзников, что в ближайшие сутки кольцо окружения будет прорвано и они будут освобождены.

В тот час, когда, по словам Вейхса, советские войска на этом участке должны были быть разгромлены, от Распопинской к северу потянулись длинные колонны румынских солдат.

5

Складывая вещи Марьям, для того чтобы переслать их ее матери, Ольга Михайловна нашла в вещевом мешке старое запечатанное письмо. Конверт был сильно смят, но адрес, написанный лиловыми чернилами, все же после некоторого труда можно было разобрать. Это давно написанное письмо предназначалось Федору. Может быть, Марьям решила его не посылать, а возможно, в этом отпала и необходимость. Ведь она сама приехала на фронт, а письма идут так долго.

Но так или иначе, письмо предназначалось Федору, и оно принадлежит ему. Последняя, запоздалая весточка...

Федора Ольга Михайловна нашла в большой избе, в центре станицы, в этой избе расположились разведчики, и подозвала его к себе.

Увидев ее, Яковенко застегнул на груди ватник, соскочил с ящика, сидя на котором о чем-то беседовал с Терентьевым, и быстро пошел к ней. Он был удивлен и взволнован ее неожиданным приходом.

— Выйдем-ка на минутку, Федя,— сказала Ольга Михайловна,— мне нужно тебе кое-что сказать...

Он пошел вперед, спустился с крыльца и остановился на тропинке. Ольга Михайловна увидела, что лицо его покрывается красными пятнами, и вдруг ей пока-

залось, что, может быть, и не нужно было ей сюда приходить. Но уже было поздно.

— Федя! Мне хочется передать тебе одну вещь,— сказала она.— Я нашла ее у Марьям... Мне думается... В общем, возьми...— И она протянула ему письмо.

Руки Федора дрогнули. Он расправил конверт и долго всматривался в почерк, которым был написан адрес, разбирая букву за буквой... Да, письмо это написано давно. Номер полевой почты с тех пор сменился уже несколько раз... Что в этом письме? О чем писала ему Марьям? Раз она не отослала его, может быть, и читать не следует.

И в то же время здесь вот, внутри этого конверта, ее голос, ее думы, возможно, даже ее последняя воля...

Он не заметил, как Ольга Михайловна ушла. Присел на ступеньку крыльца и осторожно, кончиком ножа разрезав край конверта, вынул из него несколько небольших, густо исписанных листков. Крупные, четкие буквы, твердый, почти мужской почерк. Если бы они не были смяты, казалось бы, что Марьям написала только сейчас.

Он стал читать...

Марьям писала:

«15 сентября 1942 г.

Феденька, дорогой!

Иногда я совершенно серьезно задумываюсь над тем, чтобы сбежать отсюда туда, где гудят бои, тем более что из-за моего побега ничего страшного не получится...

Мне страшно обидно от мысли, что я, современница такой великой войны, не могу увидеть, узнать все, что связано с ней... Я не хочу, чтобы эти годы ушли, а я так и не пережила бы самого трудного, так и не узнала бы по-настоящему, что такое война... Ведь хоть сейчас смерть идет рядом и мысль о ней стала привычной, а все же это жизнь... Так вот я хочу, чтобы она была настоящей жизнью. Разве она может вполне удовлетворить меня, если один мой день, как другой, если бредут они незаметно, до тошноты похожие друг на друга, без тревог и событий...

Мне противно так жить. Грустно, тягостно, хочется реветь без причины, а ведь это стыдно...

Вот ты думаешь, что я хочу туда, на передовую, потому что вижу в этом свой долг.

Да, это так. Но при этом меня не подхлестывает ни сознание того, что я комсомолка, ни то, что я хочу быть «передовой», получить ордена, прославиться и т. д. (хотя это тоже играет какую-то роль, но не главную)... Понимаешь, я не могу! Говорю тебе серьезно: сердце рвется туда, к вам, словно тянет что-то. Это чувство громадной силы...

Что-то сидит внутри и не дает мне покоя: тянет, тянет... и места не могу себе найти...

Вот ты пишешь: «Если я для тебя что-нибудь значу, не делай этого». Мама говорит, что, если со мной случится несчастье, это убьет ее. Наверно, так и есть. Если она будет знать, что я подвергаюсь большой опасности, это будет для нее такой мукой... Но меня не удержало бы все это — только бы разрешили...

Честное слово, если бы сейчас меня вызвали и сказали, что мое желание наконец исполняется, то я не остановилась бы ни перед чем: бросила бы вещи, ушла бы в какую угодно выюгу, даже раздетая...

Я бы не испугалась ни смерти, ни ранения, ни уродства...

Может быть, это потому, что я уверена в том, что останусь живой, целой и невредимой...

Ты давно не пишешь мне, верно, обиделся. Но я пишу редко только потому, что занята. Пиши, родной. Мне большую радость приносят твои письма. Как живешь, что делаешь, как твое здоровье.

Крепко целую.

Марьям.

Ветер трепал листки, словно стремясь вырвать их из рук Федора и унести с собой, чтобы все, что в них сказано, прочитали и другие люди...

Федор долго сидел, читая и вновь перечитывая обращенные к нему слова. Потом медленно сложил листки, вложил их в конверт и спрятал в карман гимнастерки.

В хату он вернулся каким-то другим. Терентьев взглянул на него и удивился. Лицо Федора было вновь спокойным, и в глазах пропал лихорадочный блеск. «Наверное, врачаха дала ему какого-нибудь лекарства», — подумал он.

На степь спускался вечер. Четвертый день наступления шел к концу.

Сумерки скрадывали очертания дальних холмов. Свинцовое небо нависло над землей. Где-то в вышине глухо выли «юнкеры»: «И-ду, и-ду, и-ду...» Машина Дзюбы двигалась прямо по бездорожному полю, и шофер Петя изредка включал свет фар. Это было строго запрещено, но в темноте можно было сорваться с кручи на дно какой-нибудь занесенной снегом балки, и Дзюба не упрекал шофера.

Рядом с Дзюбой сидел Силантьев. Они долго ехали молча, каждый занятый своими мыслями. Петя вел машину медленно, чтобы не отрываться от полка, который следовал в пешем строю. Иногда машина останавливалась, и они поджидали, когда колонна подойдет поближе.

— Дзюба, ты помнишь лейтенанта Серегина из третьей роты? — вдруг сказал Силантьев.

Дзюба повернул к нему голову.

— Это какой Серегин? Дай-кось вспомнить! — спросил он. — Тот горьковчанин, которого сегодня поранило, что ли?

— Ну да... Ты что о нем думаешь?

— Да по правде сказать, еще и думки нет. Ведь он только вчера к нам прибыл.

— Я к тому и говорю... Ты знаешь, сколько он всего провоевал с начала войны?

— Он мне говорил, что на фронте с первого дня, — ответил Дзюба.

— Да, это верно. Двадцать второго июня он был на границе. В первом же бою получил тяжелое ранение. Четыре месяца пробыл в госпитале во Владимире. Потом попал под Ленинград. Ночью разгрузились из эшелона, пошли в бой, и через час опять был ранен в грудь. Опять много месяцев провалялся в госпитале, и вот — снова... В сумме на фронте — три дня...

— А ведь храбрый парняга, — сказал Дзюба. — Первый свой взвод поднял...

— Наградить его надо, — хмуро сказал Силантьев. — А то пойдет опять по госпиталям, так про него и забудут.

дут. Человек он, видно, скромный, сам про себя напоминать не станет. Жаловался он мне вчера: пули, говорит, меня любят. И действительно, любят...

— Правильно. Наградить надо. Сегодня же представлю,— сказал Дзюба, подымая воротник полушубка.

Помолчали. Вдруг Петя резко затормозил машину и потянулся к лежащему рядом на сиденье автомату.

— В чем дело? — спросил Дзюба.

— Заяц, товарищ командир,— прошептал Петя.

— Где? — оживился Дзюба.

Силантьев стал быстро осматриваться по сторонам.

— Вон, на пригорке! — Петя ткнул пальцем в сторону.

Шагах в двадцати пяти, насторожив уши, сидел большой заяц. Он удивленно смотрел на машину и не убегал.

— Стреляй,— с охотничьим азартом сказал Дзюба.

Но Силантьев уже вынул пистолет и стал не спеша целиться в зайца.

— Товарищ замполит,— взмолился Петя шепотом — он боялся спугнуть зайца,— не стреляйте! Ведь убежит, убежит! Дайте мне! Я его из автомата!

Силантьев выстрелил, промазал, а заяц, не будь дурак, схватился и мигом исчез за кустами.

— Убег!.. Эх вы, товарищ замполит... — В отчаянии Петя запутался в скоростях и дал задний ход. — Ну разве можно так! Не умеете стрелять, не беритесь. Я бы его сразу снял...

— Виноват, Петя,— засмеялся Силантьев. — Охотник я плохой!.. Следующего зайца дарю тебе...

Петя промолчал. Как-никак он был не охотником, гуляющим по осенней степи с дробовиком в руках, а водителем командирской машины. И он вел ее, устремив взгляд вперед и старательно объезжая все кочки, но лицо у него было такое огорченное и злое, что Дзюба, заметив это, засмеялся.

— Ты что ж это, Силантьев, зайцев пугаешь! — сказал он. — Петя вовек тебе этого не простит. Ты знаешь, какой он знаменитый охотник? Первый на все Брянские леса...

Дальше ехали молча. Маленькая история с зайцем вдруг повернула мысли Дзюбы к тем, почти забытым, дням, когда война казалась далекой и невозможной...

Ведь и женился он перед самой войной, прожил с женой всего лишь полгода, и на тебе... Силантьеву что — молод и холост. Он, возможно, и любви-то еще настоящей не понимает...

Дзюба скосил глаза на Силантьева, который также думал о чем-то своем, и вздохнул. «Странно устроен мир. Казалось бы, какая страшная война, каждый день, каждый час может быть последним. А все же все думают о счастье, о будущем...» И Дзюба вдруг задал себе вопрос: ну, а чего все же хочет он? Остаться живым? Конечно... Кому хочется помирать! Победить?.. Безусловно! Какая жизнь, если победят гитлеровцы... Да, но этого хотят все — и Силантьев, который сидит рядом, и Петя, огорченный тем, что убежал заяц... Да, этого хотят все. А чего же хочет он сам?.. Для самого себя... Орденов? Их и так у него уже четыре. Будет жив — дадут еще. Стать командиром дивизии? Что ж, это неплохо. Уж наверняка он не слабее Чураева. Но и это, рано или поздно, придет само собой... Так чего же?.. Вдруг он закрыл глаза и усмехнулся. Откуда-то издалека на него взглянули серые глаза... Ах, вот что ему хочется!.. Он представил себе солнечный, яркий день... Война окончена... Он подъезжает на машине к своему дому, вихрем взлетает на третий этаж, звонит два раза, распаивается дверь... И...

Петя наехал на какой-то бугор, и машину сильно тряхнуло. Дзюба судорожно ухватился рукой за борт и выругался.

— Побережней! Думать не даешь...

— А о чем ты думаешь? — обернулся к нему Силантьев.

— Да вот куда повернуть,— пробормотал Дзюба. — Станица где-то близко!.. Ты глянь на карту, правильно ли едем...

Вечером к Коробову зашел Дружинин.

— Ну, Михаил Иванович, дело-то к концу идет! — сказал он, присаживаясь к столу.

— Не к концу, а к середине,— улыбнулся Коробов.

Дружинин закурил папиросу и взглянул на лохматую голову Коробова. Густые волосы упорно вились и,

сколько он с ними ни боролся, не желали ложиться ровным пробором.

— Поседел ты за эти дни, Михаил Иванович.

Коробов взглянул на него из-под бровей:

— Волосы — бог с ними... Вот в душу седину пускать нельзя...

Дружинин мрачно помолчал, глубоко затягиваясь дымом.

— Забирают меня от тебя, Михаил Иванович, — вдруг сказал он. — Уже приказ получили...

Коробов встрепенулся:

— Забирают!.. И меня не спросили!..

Дружинин развел руками:

— Решили назначить начальником курсов политруков.

— Что они там, с ума сошли! — Коробов вскочил и обрушил кулак на стол с такой силой, что бумаги полетели в разные стороны. — Не пущу!.. Какие курсы!.. Пусть назначают туда каких-нибудь тыловых крыс!..

— Да я уже убеждал, — вздохнул Дружинин. — Говорят, боевой опыт надо...

— «Опыт!.. Опыт!..» — продолжал бешевать Коробов. — Я Сталину позвоню, а тебя не отдам... Понятно?..

— Чего уж понятней! — сказал Дружинин. — Посмотри, кем подписана радиограмма...

Он протянул ему через стол листок. Коробов прочитал и досадливо махнул рукой.

— Подсунули!.. А если разберется — отменит!.. Такие события... Нельзя, нельзя... Не согласен...

Вот она когда пришла, проверка! Дружинин смотрел в порозовевшее лицо Коробова и невольно радовался. Не ожидал он этого. Не думал, что завоевал сердце этого большого, умного человека. А он-то был уверен, что Коробов им тяготеет, ведь не раз спорили, и однажды в сердцах командарм так обозвал его, что целый день они не разговаривали, а потом сам первый пришел и попросил извинения...

Оба понимали, что приказ отменен не будет и расставаться надо.

— Ну ты не сразу уезжай, — сказал Коробов, — погоди пару дней, а я сообщу, что без члена Военного совета оставаться не могу... Когда пришьют нового, тогда и поедешь.

— Ладно, — согласился Дружинин, — позвоню Соломатину, как он скажет...

Коробов пристально взглянул на Дружинина, словно проверяя, действительно ли тот хочет остаться или просто не желает его огорчать. Дружинин понял его взгляд и кивнул головой.

— Останусь, останусь, Михаил Иванович. Хочешь, сам поговори с Соломатиным... А то получится, что я сам напрашиваюсь...

Коробов тут же позвонил Соломатину, но дело обернулось совсем не так, как он ожидал. Новый член Военного совета уже в пути, а Дружинину нужно немедленно выезжать в Куйбышев.

Коробов бросил трубку и с ненавистью взглянул на телефон.

— Ну, значит, не судьба, — сказал он, — иди собирайся...

Он вдруг тяжело поднялся, обошел вокруг стола и обнял Дружинина.

— Хороший ты человек, Максим. — Он впервые назвал его просто по имени. — Жаль, жаль, что мы расстаемся... Впрочем, жизнь большая... Будем живы, встретимся... Я почему-то убежден, что долго ты там не уйдешь, не такая у тебя натура...

Дружинин смущенно и растроганно взглянул на Коробова. Не привык он к тому, чтобы ему говорили теплые слова. Сам говорил, когда вручал ордена. Но ведь это относилось к другим. Он никак не предполагал, что простые слова могут так глубоко задеть и его сердце. Считал себя человеком бывалым, ко всему привычным... А выходит, не ко всему!

Когда Дружинин вышел, Коробов присел за стол и задумчиво подпер рукой щеку. Если бы его спросили, кого он хотел на место Дружинина, он тут же, не задумываясь, предложил бы Кудрявцева. Хороший человек, умница...

— Товарищ командарм, вам личная телеграмма!..

В дверях стоял секретарь Военного совета майор Куликов и держал в руках обычный сиреневый бланк. Но на выбритом загорелом лице секретаря какая-то широкая улыбка. Видно, пришел с хорошей вестью.

Коробов сразу успокоился. Он было подумал, не стряслось ли что-нибудь с Варварой. Она далеко, на Урале, пишет, что живется трудно.

— Откуда?

— Из Уфы... Вас можно поздравить с внуком, товарищ командующий.

— Меня, с внуком? — удивился Коробов. — А ну-ка, дай телеграмму сюда...

Он взял листок, прочитал и громко расхохотался.

— Так я уже дедушка... Вот те на!.. А я считал себя еще совсем молодым. — Он с веселой досадой потряс телеграммой в воздухе. — И надо же было моему сыну жениться!.. Ах, негодяй!.. Что он со мной сделал!

— А где ваш сын, товарищ командующий? — вежливо осведомился Куликов.

— Да там же, в Уфе, на военном заводе работает! Инженер!.. А Дружинин спрашивает, почему у меня волосы седые, — вернулся он к прежней теме. — Теперь понятно, почему они седые. — Он ткнул себя в грудь: — Я же ведь дед!.. Подожди, товарищ Куликов, я сейчас напишу ответ... Пошли им, пожалуйста, всю мою зарплату... Ах, черт подери, — он замотал головой, — ведь почти все деньги получает по аттестату моя жена... А мне только и остается на папиросы... Что же делать?.. Придется и ей написать...

Он быстро написал телеграмму в Уфу, поздравил сына и невестку, которую никогда не видел. Сын прислал фото, но такое плохое, что лучше бы не посылал. Невестке на ней, по крайней мере, лет сорок, хотя в письмах сын уверяет, что всего двадцать один.

Он протянул телеграмму Куликову и полусерьезно сказал:

— Ты смотри, о том, что я дед, особенно не распространяйся... А то еще смеяться будут...

Отступая к двери, Куликов шутливо пожал плечами:

— Я-то промолчу, товарищ командующий! А как быть с девушками на телеграфе? Они об этом уже передали по «солдатскому вестнику».

— Раз так, — махнул рукой Коробов, — отпускаю себе бороду!.. Иди!..

Куликов вышел, прикрыв за собой дверь. «Развеселился старик! Никогда не видел его на таком подъеме».

А когда дверь закрылась, Коробов встал и озабоченно прошелся по комнате.

«Действительно, а где же достать денег? Трудно ведь будет с новорожденным. А Варвара скуповата. Вряд ли пошлет им много. Надо будет договориться с финчастью, может быть, поделят теперь аттестат... Часть денег Варваре, часть Антоше».

На столе загудел телефон. Коробов снял трубку, послушал и вдруг сердито приказал:

— Пошлите радиogramму Кравченко!.. Жду сообщений... Да, пункт встречи остается прежний. У хутора Советского...

И опять закрутилась машина. Приходили и уходили люди, докладывали и получали приказания. Битва шла не только на полях, но и у его стола. Армия наступала по широким просторам. Наступал пятый день...

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

1

— Коробов! Ты чего пленных везде распустил!

Ватутин держит трубку около уха, голос его строг, а глаза улыбочиво смотрят в окно на дорогу, где бредет длинная колонна немецких солдат. Подумать только! Почти полк противника добрался до КП фронта, и никакой тревоги, ни одного выстрела.

Ватутин положил трубку и вышел на крыльцо... Вот она, победа! И какая сила сломлена! Где вы сейчас, генерал Вейхс? Очевидно, готовите контратаки. Но ведь я это предвижу, я к этому готовлюсь...

Несмотря на то что появление колонны военнопленных в расположении штаба фронта — сущее безобразие, Ватутину все-таки приятно сознавать, что генерал Бильдинг, который только что с ним простился перед отбытием в Москву и, очевидно, еще укладывает свой чемодан, тоже видит эту колонну. Ну вот вам и немцы, генерал! Смотрите, любуйтесь!

Ватутин то и дело звонил на Донской и Сталинградский фронты. Рокоссовский и Еременко звонят к нему. Идет непрерывная координация действий. Она особенно нужна сейчас, когда близок момент соединения фронтов.

Чем ближе сходятся все три фронта, тем больше зависят они друг от друга.

Отступая под натиском трех фронтов, гитлеровцы пытались переходить в контратаки, они еще надеялись помешать окружению своей основной группировки под Сталинградом. И эту надежду у них надо было отнять так же, как ее отняли у тех войск, которые были окружены в районе Распопинской.

Но там попало в плен тридцать тысяч, а в районе Сталинграда обороняется, возможно, в десять раз больше. И это самые отборные немецкие части, с большим боевым опытом. Их мало окружить. Их надо уничтожить или заставить сдаться...

Ватутин вернулся к столу. Лучи солнца, прорвавшиеся через плотную пелену облаков, упали на стол и легли на нем, разделенные тенями оконных переплетов на аккуратные светлые квадраты. Как меняется день, когда вдруг выглянет солнце!

Ватутин вновь взглянул в окно. Снег искрился, и дали, тонко очерченные линией горизонта, были удивительно спокойны.

Он даже как-то повеселел. Все идет как надо, только бы вовремя укрепить внешний обвод фронта.

Хорошо, что сюда он направил одну из танковых бригад армии Рыкачева. Она значительно усилит этот участок.

В комнату быстро вошел Иванов. Ватутин взглянул на его возбужденное, расстроенное лицо и сразу понял, что произошла какая-то неприятность.

— Что случилось? — спросил он, и в глазах его промелькнула тревога.

— Рыкачев повернул бригаду на юг!

Ватутин возмущенно откинулся к спинке стула.

— Почему? Что за самоуправство!

— Вот его рапорт, — сказал Иванов. — Он пытается объяснить свои действия нехваткой сил под Калачом. Но по-моему, он просто хочет войти первый в соединение со Сталинградским фронтом.

Лицо Ватутина стало землисто-серым. Нет, его терпение кончилось. С Рыкачевым надо говорить всерьез.

— Машину! — приказал он.

И в разные углы комнаты полетели обломки карандаша, который он держал в руках.

Как только Рыкачев узнал, что на соединение со Сталинградским фронтом Ватутин направляет танковый корпус армии Коробова, он пришел в ярость.

Подумать только, после того как именно его, Рыкачева, войска, по существу, спасли фронт от неудачи (он был совершенно уверен, что это именно так), все лавры получит Коробов. А ведь если бы он не послал корпус Родина к Дону, черта с два добился бы Коробов успеха. Небось так бы еще и сидел у Распопинской.

В гневе Рыкачев забыл, что корпус Родина он послал по приказу Ватутина и что части армии Коробова неоднократно помогали в трудных случаях его армии. Он был не просто уязвлен, обижен, нет, он был поражен в самое сердце. Ведь как ни говори, а те командиры, которым достанется честь замкнуть сталинградское кольцо, навсегда войдут в историю Великой Отечественной войны.

Неудовлетворенное тщеславие, которое годами не давало ему душевного покоя, чувство обиды на Ватутина, уверенность, что тот мстит ему за подкуп, хотя и неудавшийся, желание во что бы то ни стало взять реванш — все это днем и ночью томило, мучило и раздражало Рыкачева. Он терял последнее равновесие, кричал, топал ногами, всем и каждому грозил полевым судом и расстрелом.

Ермаков с удивлением наблюдал за командармом. Что творится с человеком? Просто подойти к нему нельзя. Того и гляди взорвется. Немыслимое дело! Как работать при таких условиях?

А Рыкачев между тем принял окончательное решение и надумал ознакомить с ним Ермакова. Он был уверен, что его замысел принесет ему большой, настоящий успех. Но чем черт не шутит! В случае неудачи все-таки как-то легче отвечать вдвоем.

— Вот что, Сергей Андреич, — сказал Рыкачев, когда Ермаков по его приглашению вошел в кабинет и уселся у стола. — Обстановка коренным образом изменилась. Я не могу послать бригаду на Чир. У Калача, как выяснилось, сильные укрепления. Их придется прорывать большими силами...

— Но это же приказ Ватутина, — осторожно сказал Ермаков.

— Ну и что! — взорвался Рыкачев. — А мне здесь виднее. Скажи, что сейчас главное?

— Замкнуть кольцо, разумеется.

— Вот именно! Замкнуть кольцо. Я не могу срывать задачу, поставленную перед нами Верховным главнокомандующим. Решено, бригада идет к Калачу!

Рыкачев до времени скрыл от Ермакова, что после взятия Калача он задумал двинуть бригаду дальше, на юг, и обогнать передовые части корпуса Кравченко. Что и говорить, есть известный риск в решении задачи совершенно самостоятельно, без согласования с соседями и командованием. Но ведь давно известно, что победителей не судят. Если он прорвется вперед, Ставка, несомненно, оценит его инициативу. Значит, правильно действовал, если раньше всех других сумел запереть немцев. Необходимость своего поступка он сумеет объяснить медлительностью тех командиров, которых обогнал.

Все-таки из осторожности он послал в штаб фронта хитроумно составленный рапорт о своем решении, а сам немедленно выехал к Дону, в район Голубинской, чтобы на месте организовать переправу бригады. Так вернее. Когда она переберется на другой берег, Ватутин уже будет поставлен перед свершившимся фактом.

3

Тяжелая немецкая артиллерия стреляла издалека по переправе. Снаряды ложились довольно метко. Дон был в полыньях; ветер гнал по воде мелкую рябь, и казалось, оба берега сотрясались от взрывов.

Рыкачев в бекеше, измазанной машинным маслом, стоял на обочине дороги и грозил кулаком шоферам, которые замедляли скорость машин перед тем, как сползти с берега на узкий понтонный мост.

Вид у Рыкачева был поистине угрожающий. Он бежал от машины к машине, ругался и кричал: «Живей, живей, черт побери!» Того и гляди сейчас выхватит пистолет и застрелит тебя на месте. Когда вблизи раздавался грохот взрыва, он даже не оборачивался в ту сторону.

Адъютант, молодой майор, не отставал от него ни на шаг. Почему-то он все время держал руку на кобу-

ре пистолета, словно ожидая каждую минуту, что откуда-нибудь выскочит противник.

Передовые отряды корпуса Родина уже успели переправиться на тот берег; машины подвозили им боеприпасы. На подходе были тяжелые танки. Скорее, скорее расчистить им переправу... Вот в этой полуторке, например, спят они там, что ли?

Рыкачев с силой рванул дверцу остановившейся как раз против него машины. В кабине сидел капитан, который с удивлением взглянул на неизвестно откуда появившегося генерала. Должно быть, он не узнал командарма, а может быть, никогда раньше не видел его.

— Вы долго будете тут торчать? — закричал Рыкачев. — Я вас расстреляю! Сейчас же вперед!

Капитан медленно вышел из машины. Это был пожилой человек с обкуреными, желтыми усами. Даже и сейчас он продолжал держать трубку в руке. Сделав два шага к Рыкачеву, он остановился, ссутулясь и в упор глядя ему в лицо.

— Я, товарищ генерал, не боюсь этого вашего крику, — спокойно сказал он. — Скажите толком, в чем дело?

Рыкачев захлебнулся от ярости:

— Как разговариваешь! Застрелю!

— Стреляй, — сказал капитан, повернулся, не спеша залез в кабину и захлопнул дверцу.

Полуторка медленно тронулась вслед за другой, которая тоже еле-еле тянулась, поджидая, когда впереди расчистится путь.

Вдруг адъютант взволнованно сказал:

— Товарищ командарм! Ватутин!

И Рыкачев, который храбро стоял под разрывами снарядов, вздрогнул, засуетился и вдруг стал торопливо одергивать бекешу.

Ватутин медленно и спокойно шел вдоль дороги, тщательно выбритый, в новом кожаном пальто на меху, засунув руки глубоко в карманы. И в том, как он двигался, задумчиво и заботливо выбирая, куда поставить ногу в белом фетровом валенке, обшитом коричневой кожей, было нечто, что испугало Рыкачева.

Около Ватутина व्यюном вился какой-то человек, очевидно, из охраны, тревожно крича:

— Товарищ командующий! Нельзя вам идти! Товарищ командующий! Я имею полномочия!

Но Ватутин словно и не слышал этого крика. Он надвигался на Рыкачева, и командарм понял, что все кончено. Он стоял, опустив голову, мгновенно постарев, и ждал...

Когда Ватутин подошел, Рыкачев приложил руку к шапке и как-то рванулся вперед, но Ватутин не протянул ему руку.

— Партизаните! — сказал он тихо, но так, что лучше было бы, если б он кричал. — Регулировщиком движения стали? Посмотрите, какой у вас вид? Не хватает только флажков в руках!

— Товарищ командующий... разрешите доложить!.. Ватутин прервал его:

— Мне все ясно, товарищ Рыкачев! Где бригада?

— На подходе, товарищ командующий...

— Вы пошлете ее туда, куда я приказал. Понятно? У Калача ей делать нечего! Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно, — побелевшими губами прошептал Рыкачев.

— А о вашем самоуправстве и невыполнении приказа я доложу в Ставку.

Ватутин повернулся и так же неторопливо пошел назад. В стороне разорвался снаряд, и его осыпало землей, но он даже не наклонил головы.

По этикету Рыкачев должен был бы сопровождать командующего фронтом. Но он остался стоять на краю дороги, там, где его нашел Ватутин...

Поздно ночью Рыкачев вернулся в штаб армии, еще более угрюмый, чем всегда, и даже как будто поседевший. Он ни слова не сказал Ермакову о том, что с ним произошло.

На другой день командарм Рыкачев получил приказ Ставки передать дела начальнику штаба и немедленно выехать в Москву, в резерв...

4

Раненого унесли, и Ольга Михайловна, сняв марлевую маску, в изнеможении опустилась на табуретку. Уже сутки она не спала. После нелепой смерти Марьям ей хотелось забыться, и она работала, работала... Все

лучшее, что было у нее в жизни, все неосуществленные надежды, все дорогое и нетронутое, все, что она сумела сохранить в своем сердце, ей хотелось передать этой девушке. За дни, которые они провели вместе, она привязалась к Марьям, черпая, если угодно, в ее мужестве силы и для себя.

Как хотела бы она начать жизнь сначала и идти по ней так же, как Марьям, смело и мужественно, видя перед собой большую цель и стремясь к ней всей силой души. Может быть, тогда на ее пути и не возник бы Алексей; он прошел бы мимо, как проходили другие. Когда-то давно она совершила ошибку, но не нашла в себе мужества вовремя остановиться, сломать, пусть с тяжелыми потерями, то, что стало уже ее привычкой, ее домом, в котором у нее было так много обязанностей, но так мало подлинного счастья.

Как незаметно она перестала быть сама собой, превратилась в генеральшу! Она не простила себе чувства острого стыда, когда однажды Алексей бросил ей старую папаху из белого каракуля и сказал: «Вот тебе на шляпку». Она засунула папаху в шкаф, а потом все же перешила ее и стала похожа на некоторых своих подруг. Одевалась по форме!

Нет, то решение, к которому она так мучительно пришла, возникло не сейчас, а уже давным-давно. Просто она не могла сорвать с себя все, что связывало ее и угнетало.

Долгие годы она твердила себе, что должна жертвовать всем для Валентина, а потом, когда перевалило за тридцать пять, ей стало казаться, что время уже упущено, она стара и начинать все сызнова поздно.

И только когда осталась одна, вдалеке и от мужа и от сына, она стала все чаще задумываться о своей жизни. Ее поразило, что после многих месяцев разлуки с Рыкачевым она не только не оказалась смятой, а, наоборот, окрепла, беды не сломили ее.

Всю жизнь Рыкачев считал ее службу в больнице пустой, бабьей блажью. А она, даже не сознавая этого, отстаивала свое право на работу, чтобы сохранить хоть какой-нибудь уголок, на который он не имеет права посягать.

Теперь она стала уже совсем другой. И невольно в этом ей помогла встреча с Марьям. Она нашла в ней то,

чего не хватало самой,—целеустремленность и твердость.

Как поразило ее тогда страстное стремление Марьям увидаться с Яковенко и остаться рядом с ним. Какой страшной болью было искажено лицо Федора, когда он принес в блиндаж умирающую Марьям.

Удивительно, но те тяжелые испытания, которые скрепляли любовь Марьям и Федора, развели ее с Рыкачевым...

Где-то за стеной суматошно трещал движок. Залитый ярким светом, блиндаж казался обжитым. Вдалеке гудела артиллерийская канонада, а здесь было тихо и спокойно. Санитары убирали тампоны, бросали в ведра марлю, пропитанную кровью.

— Шли бы вы спать, Ольга Михайловна,—сказал фельдшер Луковец, который тоже простоял рядом с ней сутки. Его редкие седые волосы спутались и прилипли ко лбу, а ввалившиеся светлые глаза щурились—не то от яркого света, не то от усталости, с которой он яростно боролся.

— Сейчас пойду!—покорно сказала Ольга Михайловна и неповинуя пальцами стала развязывать тесемки на обшлагах рукавов.—Больше никого не привезли?..

— Нет. Перевязки я сделаю сам,—сказал Луковец.—Да мне и помогут... А вы идите, идите поскорей. На вас лица нет.

Вдруг за дверью раздались приглушенные голоса, быстрый стук каблучков вверх и вниз.

Ольга Михайловна оглянулась:

— Игнат Тихонович! Посмотрите, что там происходит.

Луковец на минуту скрылся за дверью.

— К вам какой-то генерал,—сказал он, вернувшись назад.

— Генерал?!—настороженно взглянула на него Ольга Михайловна.—Какой генерал?

— Такой вот высокий, худощавый. Говорит нервно. Я пригласил его сюда—отказался. Просит вас выйти.

Ольга Михайловна посидела мгновение словно в оцепенении и вдруг опрометью бросилась вон из блиндажа. Со стуком упала опрокинутая табуретка.

— Накиньте шинель! Сумасшедшая!—крикнул ей вдогонку Луковец.

Холодный ветер стегнул по лицу. Ослепленная тьмой, она остановилась, ничего не видя. Только рядом маячила какая-то неясная тень.

— Алексей?!

— Это я, Ольга!—произнес над ухом приглушенный голос Рыкачева.

Она крепко схватила его за лацканы шинели.

— Что с Валентином?.. Он жив?! Ранен!.. Ты пришел мне сообщить!.. Говори же!

— Нет, Ольга,—сказал Рыкачев, крепко сжимая ее руки в своих руках,—я думаю, с ним все хорошо.

Ее глаза постепенно привыкли к темноте, и она уже разбирала черты лица Рыкачева. Как оно вдруг постарело, плечи опустились, как судорожно повернута набок голова, как сдавлен голос.

За многие годы она хорошо изучила все оттенки его состояния и поняла, что случилось большое несчастье.

— Что с тобой?—с тревогой спросила она.

— Я еду в Москву.

— В Москву?!—удивилась она.—Зачем?

Рыкачев помолчал. Он знал, что она задаст этот вопрос и ему надо будет ответить. Да он и сам ехал, чтобы сказать ей все, но как трудно, как мучительно трудно говорить.

— Ватутин снял меня с должности.

— Снял?!—Она даже отшатнулась от него.—Что же ты наделал?

Рыкачев зло усмехнулся:

— Я хотел только быстрой победы!.. Но я отбирал у него лавры... И вот он расправился... Ты же знаешь, что он ненавидит меня.

Ольга зябко натянула халат ту же на плечи. На сердце стало еще тяжелей. Она не верила Рыкачеву, но понимала, что сейчас, когда он в такой беде, не должна говорить с ним жестоко... Так было всю жизнь.

— Что же ты решил делать?—спросила она.

— Я все объясню в Ставке, я докажу, кто прав и кто виноват!—горячо сказал он.—Меня поймут и поддержат.

Ольга Михайловна приблизила свое лицо к его лицу.

— Алексей, послушай меня... может быть, последний раз в жизни...

— Ну? — настороженно спросил Рыкачев.

— Поезжай к Ватутину!.. Добейся встречи и постройся все уладить... Я не верю, что ты ни в чем не виноват...

— Не веришь?! — захлебнулся Рыкачев.

— Не верю, — тихо сказала она.

Рыкачев рванулся, но вдруг закрыл лицо руками и ударил голову в ее плечо.

— Что же делать, Ольга! Что делать!.. — глухо говорил он. — Я ведь так хотел нашего счастья!.. Я так хотел, чтобы ты мной гордилась... Я хотел все вернуть!..

Она не отстранилась от него, но с какой-то тоской вдруг ощутила, что в ней не возникло той ответной теплой волны, которая охватывала ее всегда, когда он искал у нее защиты и совета. Тогда ее душевное тепло передавалось ему, он успокаивался, и они вместе искали и находили выход. Так было раньше. А сейчас его жизнь была его жизнью, его беды стали его бедами... Только в эту минуту она до конца поняла, как далека теперь от него.

— Не надо, Алексей, — тихо сказала она, — будь мужествен.

Он поднял голову и тяжело вздохнул.

— Прощай, Ольга!.. Не знаю, свидимся ли когда-нибудь... Я буду проситься на другой фронт... Пусть с понижением... Только прошу тебя... Ты ничего плохого обо мне Валентину не говори... Когда-нибудь мы с ним сами разберемся в наших отношениях... Обещаешь?..

— Обещаю, — сказала Ольга.

Он нагнулся, крепко поцеловал в губы, круто повернулся и быстро зашагал во тьму.

На дороге подслеповато вспыхнули синие огоньки вездехода, глухо заурчал мотор, и, удаляясь, тихо зашелестели колеса...

— Ольга Михайловна, где вы?! — окликнул ее встревоженный голос Луковца. — Идите назад! Вы же простудитесь!.. — Он подошел поближе. — А где же генерал?..

— Генерала нет, — сказала Ольга Михайловна, повела плечами, словно сбрасывая с себя тяжелый груз и пошла к блиндажу.

В штабе фронта получена радиограмма от Родина о том, что Филиппенко со своими танками вышел к городу Калач. Работники оперативного отдела уже начали готовить донесение в Ставку о его освобождении.

— Да, да, правильно. Калач почти освобожден, — сказал Ватутин, — но подождем новых сообщений. Потерпите, потерпите, товарищи!.. Да на всякий случай пошлите на помощь танкистам самолеты! Передайте приказ Родину: двинуть туда танковую бригаду.

Между тем прорвать фронт противника одним натиском танкисты не смогли. Вражеских войск под Калачом оказалось слишком много. Гитлеровцы решили смять наступающих фланговыми ударами и снова закрепиться на восточном берегу Дона.

Впереди вся степь взрыта снарядами. Они перепахали снежную пелену и обнажили черную мякоть земли.

В бою прошла вся ночь. В бою проходит утро. В бою наступает день.

В два часа дня двадцать третьего ноября над Калачом взвизгивает красный флаг освобождения.

Передовой отряд корпуса Кравченко вышел на холм. Впереди в голубоватой мгле утренней степи виднелись домики хутора Советского. Направо, у обочины дороги, громоздились машины, брошенные и сожженные немцами. Они стояли почерневшие, обуглившиеся и казались еще чернее от окружавшей их нежной белизны молодого снега.

Валентин откинул люк и выглянул наружу. Танки, рассыпавшись по полю полукольцом, приостановили свой бег, ожидая распоряжения командира соединения. Тот медлил, и радист танка, сержант Алехин, напряженно вслушивался в треск эфира, боясь пропустить приказ.

«Где-то здесь?» — Валентин обвел взглядом горизонт.

Ему не верилось, что они почти пришли и вот-вот встретятся со сталинградцами.

Что это там вдали? Уж не первые ли машины, идущие им навстречу с той стороны? Нет. Они не движутся. Это всего только несколько подбитых вражеских танкеток. Еще дальше стоят самоходки. Их длинные стволы задраны кверху, как морды воющих псов, брошенных хозяевами на произвол судьбы. Все вокруг пусто, мертво. Только там, где дорога изгибается, горят дома и ветер стремительно уносит прочь тяжелые клубы багрово-серого дыма.

Так много пережито за эти пять дней наступления!
Из глубины танка кричит радист:

— Приказано вперед! К хутору Советскому!

— Вперед! — повторяет Валентин и остается стоять в открытом люке.

Из низких тяжелых туч вылетает шестерка «юнкерсов» и сразу же ложится на боевой курс, чтобы бомбить танки.

— Самолеты! — коротко говорит Валентин и кончиком языка облизывает ссохшиеся обветренные губы.

Стараясь не дать врагу точно прицелиться, танки расходятся в разные стороны, быстро меняя скорость и направление, и стреляют по самолетам из пулеметов. «Юнкерсы» с оглушительным ревом идут в почти отвесное пики.

Но в то же мгновение восемнадцать «лавочкиных» словно выпадают из тучи и летят вслед за «юнкерсами». Короткие пулеметные очереди, перестук автоматических пушек. Пятнадцать секунд — и четыре «юнкерса», так и не сбросив бомб, сорвались с неба и ударились оземь. В той стороне, где они взорвались, взмыл кверху высокий столб пламени и черного дыма. Два других успели сбросить бомбы и метнулись в облака. Валентин увидел, как густое темное облако окутало танк, шедший метрах в двухстах от него. И когда опала земля, поднятая взрывом, танк предстал перед ним, весь исковерканный прямым попаданием: башня у него свернута на сторону, бессильно свисают порванные гусеницы.

А «юнкерсы» и «лавочкины» уже исчезли в небе. Они утонули в свинцовых тучах, которые медленно ползут с востока на запад.

Валентин приказал Рыжкову повернуть налево. Рыжков сразу понял его, ни о чем не спрашивая, на-

правил танк к погибшей «тридцатьчетверке» и остановился.

Валентин вылез из люка и соскочил на землю. Здесь, вблизи, танк с сорванной башней, дымящийся, казался еще страшней, чем издали.

Валентин отлично понимал, что никто из экипажа не мог спастись, но все же, подойдя к зияющему провалу, который образовался на месте башни, крикнул: — Есть кто живой?

Ему никто не ответил. Он вскочил на теплую броню и заглянул внутрь танка. Первым, кого он увидел, был лейтенант Сорокин.

Лейтенант сидел в углу, между рычагами, раскинув руки и склонив на грудь залитую кровью голову. На ногах у него лицом вниз лежал стрелок.

Валентин вытащил стрелка и положил его на броню. Потом спустился к Сорокину, расстегнул у него на груди комбинезон и приложил ухо к сердцу...

По полю уже ехала санитарная машина. Валентин не стал ждать ее, вскочил в люк своего танка и командовал: «Вперед!»

За эти несколько минут колонна ушла далеко, и Рыжков прибавил скорость.

Валентин все так же стоял в открытом люке и смотрел в бегущую ему навстречу степь. Ветер выбивал из глаз слезы, он смахивал их, но не уходил со своего места. Пристально и задумчиво глядя на мелкие волны наметенного ветром снега, он думал о судьбе своих товарищей и о своей собственной судьбе думал. Как жаль, что рядом нет отца, как было бы важно увидеться им сейчас, когда так много пережито. Может быть, он был к отцу и несправедлив. В конце концов, он только начинает жить, а отец уже прошел суровую школу. Недаром же он стал генералом, командующим целой армией... А мать?.. Почему она была так грустна во время последней встречи? Что у нее на душе? Как живет она одна, без семьи? Странно, очень странно... А ведь когда-то было детство. Ему строго-настрого запрещали подходить близко к реке, переходить одному широкие улицы, зажигать спички!.. И как будто это было так недавно, в то же время словно это было не в его, а в чьей-то чужой жизни. Возможно, вычитано из книг.

А машина мчится быстрее и быстрее.

Танк занял свое место в колонне, которая теперь подошла уже совсем близко к хутору Советскому.

— Приказано остановиться! — крикнул из глубины танка Алехин.

Машины послушно замерли. Но еще раньше, чем замолчали их моторы, Валентин заметил вдали другие танки. Они шли широкой цепью. Издали нельзя было понять, свои это машины или чужие. И те, идущие навстречу, танки тоже остановились. Минута, другая... И вот над командирским танком взметнулись ракеты. В то мгновение, когда они с праздничным треском рассыпались искрами над головами танкистов, вдали взвились ответные огни. И танковые колонны разом двинулись, вернее, рванулись навстречу друг другу.

Замелькали разрушенные домики хутора, поваленные плетни, разбитые сараи. Головные танки встретились у колодца со сломанной жердью, и командиры почти одновременно выскочили из своих машин.

Валентин не слышал, какими словами они обменялись, он только увидел, как оба командира обнялись, словно братья, давно не видавшие друг друга.

И тут уже без всякой команды остановились все другие машины, и на снег посыпались люди. Как ни спешил Валентин, но он не был даже одним из первых. Со всех сторон к колодцу бежали, крича «ура», танкисты Юго-Западного фронта. А навстречу им, обгоняя друг друга, бежали сталинградцы. Валентин схватил в объятия какого-то широкоплечего парня и крепко поцеловал в обе щеки.

— Здорово, сталинградец!

— Здорово, танкист!

Им хотелось сказать какие-то особые хорошие слова, но они не находили их. И только хлопали друг друга по спине и по плечам, трясли друг другу руки и, смеясь от радости, повторяли: «Вот здорово-то, а? Ну, что ты скажешь! Встретились-таки! А?»

Кругом кричали, обнимались. Все напряжение жестоких боев, вся горечь потерь, усталость от долгих переходов, казалось, были забыты в эту минуту. Была только радость, большое общее счастье.

Так Рыкачев-младший пришел туда, куда не смог прийти Рыкачев-старший, но о том, что его слава досталась сыну, Рыкачев-старший узнал лишь много времени спустя...

Ватутин отбросил карандаш в сторону и протянул подписанную сводку Иванову.

— Немедленно передайте в Ставку, — хмуря брови, сказал он. — Я бы пока воздержался сообщить точную цифру окруженных. Там сами подсчитают по всем трем фронтам. — Он задумчиво посмотрел в окно. — Несомненно, окруженная группировка гораздо больше, чем мы предполагаем. Может быть, до трехсот тысяч. — Прищурившись, Ватутин взглянул на Иванова, и тот уловил в его глазах затаенное беспокойство.

— А значит, и сильнее, — сказал Иванов, склоняясь над картой; он понимал, что тревожит Ватутина.

Теперь предстоит сжать кольцо окружения. Но это не так-то просто. Противник продолжает подтягивать войска к Боковской и Нижне-Чирской. У Большой Донцинки пытается наступать сильно потрепанная 22-я немецкая танковая дивизия. Вблизи Больше-Набатовского Вейхс бросил в бой сто восемьдесят танков и мотомехпехоту, надеясь с северо-запада прорвать фронт наших войск. Атаки отбиты, повреждено двадцать восемь танков. И все же это признак того, что борьба далеко не закончена.

Ватутин рассеянным взглядом коснулся карты, встал и задумчиво остановился у края стола.

— Намерения их совершенно ясны, — сказал он, смотря в напряженный затылок Иванова. — Они будут стремиться удержать за собой Песковатку и Вертячий... Что ж, посмотрим!.. Передайте приказ командирам частей — не допускать прорыва. Давайте еще плотнее сомкнемся с частями Сталинградского и Донского фронтов... Что вы там смотрите, Семен Павлович? — вдруг рассердился он.

Иванов смущенно улыбнулся:

— Просто, товарищ командующий, смотрел, какой мы за эти дни прошли путь.

Ватутин задумчиво и как-то удивленно посмотрел на Иванова.

— Путь, говорите вы? — переспросил он и похлопал ладонью по краю стола. — Да, за этим вот столом я прошел большой путь. — Он усмехнулся. — Странно!

Всего пять дней. А сколько передумано и прочувствовано...

Иванов прислонился к стене, сжимая в руках папку с документами.

— Сегодня говорил с Москвой, — сказал он. — Мне сообщили... — и вдруг смущенно запнулся.

— Что сообщили? — вскинул голову Ватутин.

— Говорят, Николай Федорович... Вам готовят новое звание...

Ватутин досадливо махнул рукой:

— Эх, Семен Павлович! Разве в званиях дело!.. Мы гитлеровцев — или они нас. Вот как поставила вопрос история... — Он обошел вокруг стола и присел на стул, показав рукой, чтобы садился и Иванов. — У вас есть мать, Семен Павлович? — вдруг спросил он.

— Есть, — ответил Иванов, подсаживаясь к столу.

— И у меня есть... А может быть... была... Осталась у немцев, в деревне... И сестры там остались... В общем, почти вся семья. — Ватутин помолчал. — Тревожит меня, Семен Павлович, что с ними!

— Скоро и там начнем наступать.

— А я перед матерью виноват, — хмуро сказал Ватутин, — не вывез. Вернее, не успел!.. Отступил быстро, а назад иду медленно... Меня и старики казаки ругали... — Он опять помолчал. — Много земли нашей должны мы отвоевать. Ох как много. А знаете что, Семен Павлович, — вдруг круто повернулся он к Иванову, — не идет у меня из головы Бильдинг. Веселый, самодовольный генерал. А что ему до меня, до моей матери, до нашей беды. Союзник!.. На тушенку хочет выменять дружбу! Но как только заговорили о втором фронте, так лисой, лисой — да в кусты... А сколько бы мы матерей спасли, если бы союзники меньше пили коньяк у нас по блиндажам, а открывали бы скорее второй фронт...

Слушая Ватутина, смотря в его суровое и усталое, посеревшее лицо, с глубокими складками между бровей, Иванов подумал о том, как предельно устал этот человек, как сложна его душевная жизнь; обычно она загоняется им куда-то вглубь, чтобы не мешала...

Даже сейчас, в эту минуту откровения, он сидит привычно подобранный, и ничто, казалось бы, не выдает в нем человека, которому тяжело оттого, что он

ничего не знает о судьбе своей матери. И только глаза, в них все — и боль, и усталость, и затаенная тревога...

Вдруг Ватутин взмахнул рукой, словно прогоняя какие-то назойливые мысли.

— Ну, так! Идите же, Семен Павлович, на телеграф. Я еду к Коробову. Если будут звонить из Ставки, доложите, что я буду у него в штабе часа через два!.. Беру с собой радиостанцию! Распорядитесь...

2

Шофер резко затормозил машину. Дорогу преграждал большой щит, на котором крупными черными буквами было написано: «Мины». Рядом со щитом стоял лейтенант и что-то кричал.

Увидев машину и разглядев в ней генерала, он быстро подошел, одергивая туто подпоясанный полубок.

— Здесь дорога закрыта, товарищ генерал, — сказал он, отдав торопливое приветствие. — Одна мина на другой. Вторые сутки мучаемся...

Ватутин взглянул на рябоватое, в синих точках лицо лейтенанта и покачал головой.

— А как глаза-то остались целы?..

— Успел прикрыть рукавом, товарищ генерал, — сказал лейтенант, и его обветренное лицо, покрытое множеством мелких морщинок, сразу как-то потеплело.

— Повезло, — улыбнулся Ватутин. — Говорят, что сапер ошибается только один раз. Значит, можно и два раза.

— Изредка можно, — серьезно ответил лейтенант.

— Вы из какой части?

— Полка Дзюбы...

— Ах, вот как! — Ватутин вдруг вспомнил о Павле и молча сидел, вглядываясь в дорогу за щитом. Там, вдалеке, маячили саперы.

— Ваши люди?

— Мои, товарищ генерал.

Ватутин улыбнулся.

— А меня знаете?

Лейтенант нагнулся к машине и как-то весело ответил:

— Знаю, товарищ генерал. Вы наш командующий. К Павлу приходили!..

— А где Павел?

Лейтенант указал вдоль дороги, за шит.

— Вот он! Видите, мину за обочину бросил. Это и есть Павел.

К машине быстро подошел Семенчук, который посовещался с командиром охраны и начальником радиостанции.

— Товарищ командующий, разрешите повернуть назад?

— Поворачивайте! — сказал Ватутин и опять взглянул туда, где на белом снегу двигались черные точки. Какая из них — Павел?

Машины быстро развернулись и пошли в объезд другой, намеченной Семенчуком дорогой...

Подставив лицо холодному ветру, Ватутин думал о своей семье... Как разбросала ее война... Смертельно ранен Афанасий, навряд ли выживет... Далеко от него и Татьяна, и Лена... Большая была семья, да вот рассеялась по свету... Война есть война, и никто из них, братьев Ватутиных, от нее прятаться не будет... Не время сидеть на печке. Да, в прошлом их, братьев, многое разделяло. И расстояние, и положение, и круг интересов, которыми они жили все эти годы. Но именно сейчас он почувствовал, что нити, которые их связывали, стали, как никогда, крепкими...

Вдруг внезапно и неожиданно отчетливо он представил себе Павла, который, сутулясь, держа в руках щуп, медленно идет вдоль дороги. Тяжелые испытания не кончились. Придет время — и война останется в прошлом, а саперам еще долго надо будет трудиться. Снимать и снимать мины... Снимать и снимать...

На обочине дороги сидел раненый боец. Большой, видно, путь он уже прошел и присел немного передохнуть, дать отдых раненой ноге, перетянутой ниже колена побуревшим от крови бинтом.

Зажав в кулаке кисет, боец медленно раскуривал самокрутку, прикрывая огонек ладонями от степного ветра. Взглянув на него, Ватутин вдруг вспомнил, что так и не послал Павлу обещанного табачка...

Рассказы

НОЧИ ПЕРЕКОПА

Сиваш!.. Гнилое море!.. Бездонные топи!..

Когда мой дед рассказывает о Перекопе, его лицо молодеет; мысленно он вновь стоит на берегу залива и всматривается вдаль, где в мареве тают очертания Литовского полуострова.

Чонгарский мост... Сивашский мост... Армянский базар... Караджанайский мыс... Юшунь... Для деда все эти названия полны затаенного смысла. И когда я смотрю на старую фотографию, на которой он изображен молодым, лет двадцати, в изодранной шинели, опирающимся обеими руками на эфес кавалерийской пашки, я как-то не могу поверить в то, что этот крепыш, веселый парень и есть мой дед. А когда он начинает предаваться воспоминаниям, я невольно перевожу взгляд на фотографию, и тогда мне кажется, что и сам переносусь в ту, давнюю эпоху,— и как бы ожищает молодой боец, уверенным движением поправляет саблю и весело кричит:

— А ну, Алешка!.. Вперед!.. Штурмуй Перекоп!..

Моему деду уже под восемьдесят. Но он сохранил память, зрение его остро, и ходит он без палочки... И я не знаю — седой ли он, потому что каждый месяц он бреет голову в парикмахерской, и розовая кожа на его голове кажется такой отполированной, что отражаются солнечные блики.

И хотя я уже имею взрослых детей, для деда я все еще Алешка, малый.

Он участник двух войн — гражданской и Отечественной и ему есть о чем вспомнить и о чем рассказать.

Вот я и записал несколько рассказов моего деда Ни-

кифора Антоновича Круглова, политрука 15-й стрелковой дивизии, преодолевшей Сиваш в ноябрьские дни давнего двадцатого года.

Подумать только, сколько лет прошло! Праздновали мы третью годовщину октября... Да, третью... В двадцатом... И застал нас этот день у Перекопа... Врангель засел в Крыму и думал, что мы его оттуда не выкурим. А за зиму он наберется сил, да как начнет наступать, так до Москвы и докатит...

Перекоп врангелевцы укрепили сильно. Над нашими позициями летали их «фарманы», разбрасывали листовки. А там писалось, что белые отошли в Крым по «стратегическим соображениям». Мы-то знали, сколько врангелевцев полегло в Северной Таврии. А сколько их сдалось! На соседнем участке поднял руки целый батальон дроздовской дивизии. А эта дивизия состояла почти из одних офицеров...

На фотографии я еще одет молодцом. Посмотрел бы ты на меня, когда мы на берег Сиваша вышли. Левая нога в разорванном лапте, правая в ботинке,— в подошве дыра — во!..

А ели мы баланду. Если кто найдет щепотку махорки, так всему взводу праздник. А спи — где хочешь. Хоть на берегу, хоть окоп себе в мерзлой земле выкапывай. В Строгановке, где мы остановились, во всех хатах не продыхнуть. Бойцы спят вповалку. Кричат во сне, от маяты кости ломит.

Я прикорнул в сенях крайней хаты, где наша рота расположилась, ждал, когда кого-нибудь вызовут,— всякие дела возникали по ночам: то обоз разгружать, то в карауле кто-нибудь заболел, на подменку брали.

Ну и ночь!.. От инея затвердел воротник шинели. Сидел, помню, смотрел в сторону Перекопа, как темное небо полосуют лучи прожекторов.

Врангелевцы подступы к Турецкому валу просматривают, а там у них — главные укрепления.

Молодой, конечно, я был тогда парень. Как началась революция у нас на Урале, многие мои однолетки в Красную Армию вступили. А когда убили белые Мальшева, секретаря Екатеринбургского обкома партии, мы подали заявления в РКП(б) — так тогда называлась партия наша. А потом нас послали на юг России,

добивать Врангеля. Сначала держались вместе, а в боях многие погибли, получили тяжелые ранения, эвакуировались в тыл. Так помаленьку оставшиеся и начали примыкать к другим частям.

Вдруг, слышу, скрипнула калитка, кто-то приближается к крыльцу, в темноте так и прыгает искорка самокрутки. Взглянул, и под ложечкой засосало. Есть же на свете счастливицы!

У калитки маячит Матвей Ерохин, тоже сибиряк, — моя шинелишка против его — бобровая шуба. А сам он так отоцал, что под винтовкой сгибается. Но держится, и голос, когда надо, подаст с остротой.

— Стой, кто идет?!

— Свой!.. Свой!.. — отвечает из темноты комиссар полка Кириллов.

И направляется прямо к хате. Только начал подниматься по ступеням — р-раз — и об мои ноги зацепился.

— Будь ты неладен, — бурчит. — Ты кто?

— Я? Круглов!..

— Чего ты тут людям ноги ломаешь?.. Другого места спать не нашел... Подъ сюда, раз уж я тебя встретил...

Спустился с крыльца, я за ним. Молча выходим за калитку.

— На затянись, — и комиссар тычет мне в пальцы бычок.

Какое же это было счастье хоть разок затянуться махрой! Самым, что называется, злойдовитым самосадом. Курнул — и помирать можно!..

— Вот что, Круглов, — говорит комиссар, — ты ведь партийный?

— Партийный, — говорю. — Хочешь, документ покажу?

— Не надо мне твой документ! Я своих людей без документов знаю... Вот что, Круглов!.. Иди за мной!..

Взвалил я винтовку на плечо и пошел за комиссаром. И тут я только заметил, что он припадает на левую ногу. Вспоминаю, ребята говорили, что его еще неделю тому назад в лазарет отправили. А вот — идет... И даже отдыха себе не ищет. Подумал я об этом и даже как-то о холоде забыл.

— Как же так, — говорю, — товарищ комиссар, вы же ранены, по такой дороге мне здоровому и то трудно идти... Вы только скажите, я мигом все сделаю!..

— Молчи, Круглов, — говорит, — не твоего ума дело!

Так мы и идем от одного двора к другому, и наша команда все увеличивается. Наконец набралось человек десять. Вышли мы к приземистому зданию школы, тут комиссар остановился и приказал обступить его теснее, да подальше от плетня, чтобы не могли слышать посторонние.

Сомкнулись и слушаем.

Он говорит:

— Товарищи!.. К нам в село прибыл товарищ Фрунзе. Здесь будет его штаб. Разместился он в доме над оврагом... Враги рядом. Надо усилить охрану. Ваша задача патрулировать по селу до самого рассвета.

Разбил он всех на две смены. А меня назначил начальником караула и приказал безотлучно находиться в коридоре школы. О том, чтобы спать, нужно забыть!.. Если что случится, сразу же бежать к нему, а он неподалеку — в штабе бригады.

А рассвет наступает. Чернеет вдаль Сиваш, пробежит искорка по гребням волн — погаснет, а через мгновение опять подмигнет, загвоздится и уже колет взгляд пронзительными иглами.

Неужели войне скоро конец?! Скинут Врангеля в Черное море?! К этому призывала нас партия. На одном из плакатов был изображен солдатский сапог, скидывающий генерала Врангеля с обрыва в бушующие волны.

Я слышал, как на митинге Михаил Васильевич говорил о том, что, пока Врангель в Крыму, остается под угрозой Донецкий бассейн.

После октябрьских боев Врангелю удалось вывести остатки своей армии в Крым. Он еще надеялся на помощь капиталистов.

За Перекопом Врангель начал организовывать сильную оборону. По его приказу был разрушен мост через пролив, отделяющий Арабатскую стрелку от полуострова.

Помню, нам читали приказ Фрунзе, в котором говорилось, что мы захватили двадцать тысяч пленных и огромные трофеи — сто орудий, сто паровозов, две тысячи вагонов, почти все обозы и склады.

И все же положение оставалось крайне напряженным. Белополяки тянули с заключением мира. Антанта снабжала Врангеля всем необходимым.

Казалось, Перекоп неприступен. Белые отсиживаются в укрытиях, обнесенных многими рядами колючей проволоки. Пулеметы и орудия заранее пристреляны. А нам нужно наступать по открытой степи, изрезанной балками. За два дня до наступления на передовую прибыли посылки с теплыми вещами — это нам посылали подарки рабочие Москвы и Петрограда. Фуфаек и рубашек было вдосталь, а вот обуви маловато. То и дело приходилось кого-то отправлять в госпиталь с отмороженными ногами...

Подумал об этом и вдруг почувствовал, что у самого ноги занемели. Притопнул раз, другой. Вдруг слышу, кто-то бежит вдоль плетня, хрустко трещит ледок под ударами каблуков.

— Стой!.. Кто таков?!

Вижу совсем молодого паренька, недавно прибывшего в нашу роту, — Семена Бушуева. Держит винтовку наперевес и, видно, сильно запыхался, пока бежал.

— Ну, что тебе?

— Меня до тебя послал Кириллов! Иди, говорит, на подмену, а Круглова пошли в штаб! К овражку.

К овражку? В штаб дивизии? Удивительно!..

— А зачем — не говорил?

— Ты, говорят, из этих мест?

— Мелитопольский. А что?

— Иди! Иди!.. Поторапливайся.

— Пароль знаешь?

— Знаю... Список патрулей давай.

Отдал я ему список и пошел к овражку.

«Вот, — думаю, — беда. Вызовет еще к себе Фрунзе, что я ему скажу?! Да и показаться в такой обуви — срамота».

У домика сразу ощутил присутствие большого начальника. Много верховых коней, автомобили. Группами стоят бойцы.

Кириллов возник из тьмы внезапно. А может, я, заметив, как в темноте встрепнулся уголек сигарки, сам двинулся в ту сторону в смутной надежде, что и мне перепадет разок затянуться.

Кириллов не курил. Он тянул на плече какой-то тяжелый сверток, направляясь к штабу.

— Круглов! — увидя меня, он приостановился и перекинул сверток на другое плечо, видно, тащил издалека, а тяжесть немалая.

— Давайте подсоблю, — отозвался я.

Его голос внезапно подобрел:

— Да тут недалеко... Летчики ждут у штаба.

Я все же забрал сверток и сразу понял по габаритам и увесистости, что в нем листовки.

— Контру пропагандировать будем?

— Может, у кого совесть проснется... Не одни же там офицеры...

Действительно, на крыльце штаба нетерпеливо ожидали двое летчиков, их сразу можно было узнать по кожаным шлемам, обтягивавшим головы, с большими поблескивавшими очками.

— Ребята, держите!..

Кириллов отобрал у меня пакет, пристроил его на верхнюю ступеньку крыльца и ножом вспорол тонкую обертку.

— Как рассветет, постарайтесь вылететь, — говорил он, наблюдая за летчиками, которые торопливо делили между собой листовки. — Рассчитайте хорошенько ветер, чтоб полетели за Турецким валом. А то разлетятся по оврагам, где зайцы да лисы бегают... И все наши труды без пользы...

Наконец летчики, заверив, что все будет сделано как нужно, ушли, а Кириллов вспомнил обо мне.

— Вот что, Круглов! Ивана Ивановича Оленчука знаешь?

— Не слыхал о таком!

— Удивительно! Ты же, говорят, все тут знать должен.

— Да я не строгановский...

— Ах, вот как... Ну все равно, раз ошибка вышла — вместе поправим. Отправляйся-ка по деревне да поскорей разыщи Оленчука. А как найдешь, веди сразу в штаб. С ним Фрунзе будет разговаривать...

Много лет прошло с тех пор, но не забуду, как метался я по деревне в поисках Ивана Ивановича Оленчука, который всю жизнь прожил на берегу Сиваша и знал все капризы «Гнилого моря». Помог мне дежурный по ревкому Вдовченко, как оказалось, тоже коренной строгановец. Привел он меня к неприметной бедняцкой хате и говорит:

— Вот тут и живет Оленчук.

А навстречу нам со скамейки поднимается уже немолодой крестьянин и ждет, что мы ему скажем.

Вдовченко говорит:

— Идите, Оленчук, до штабу. Вас там требуют.

— Иду,— сказал Оленчук и зашагал по дороге.

Я к этому времени уже сидел на коне, которого ради срочного выполнения приказа мне дали на время в штабе. Оленчук так быстро шагал, что конь отставать начал.

Привел я Оленчука к штабу, и его сразу пригласили к Фрунзе. Удивительно, что в этом мужике такого ценного, что даже сам Фрунзе его разыскивал? О чем они там говорили? Помню, вышел наконец Оленчук из хаты и показывает бумажку:

— Прочти!

Читаю. Написана в ней всего одна фраза: «Иван Иванович Оленчук занят по делам службы». И подпись: М. Фрунзе.

— Чуешь? Значит, ни в подводы, никуда!..— говорит Оленчук, а в глазах тревога.— Семь душ семьи у меня... Их надо предупредить... Убьют меня, что тогда получится?

Неспроста, оказывается, приказал Фрунзе его разыскивать. Оленчук поведет бойцов через Сиваш во время отлива с детства известными тропами между чеклаками и темными пятнами, где песок особенно зыбкий и тонкий.

Оленчук торопливо ушел, чтобы обсудить положение с женой. И уже через неделю, когда седьмого ноября мы двинулись по дну Сиваша в сторону Литовского полуострова, я вновь увидел его шагающим впереди колонны, рядом с разведчиками. Он был в шинели, на спине, привязанный к вещевому мешку, погромывал солдатский котелок.

Но за час до выхода на Сиваш к нам в ночи пришел Кириллов и собрал всех коммунистов.

— Товарищи! — сказал он. — Наша 15-я дивизия получила приказ товарища Фрунзе наступать на врангелевцев, укрепившихся на Перекопе... За последние два дня сильный ветер выгнал из Сиваша много воды в Азовское море, и поэтому дно обнажилось. Мы пойдем в обход противника в тыл перекопским укреплениям врангелевцев. Рядом с нами пойдут 52-я стрелковая дивизия и две бригады 51-й дивизии. Остальные силы будут наносить удар с фронта... Товарищ Ленин ждет, когда мы покончим с бароном, освободим Крым!..

За несколько дней до начала сражения в партию

вступили тысячи бойцов. Все знали, что врангелевцы сильно укрепили Перекоп. Поэтому готовились к штурму со всей серьезностью, понимая, что жертвы неминуемы. И шансов не вернуться из боя у коммунистов, которые будут возглавлять наступление, больше. Но все требовали, чтобы и их считали коммунистами.

Было время, когда старыми большевиками мы считали тех, кто вступил в партию в первое десятилетие века, потом — вступивших до революции, и вот уже я — в партии с девятнадцатого — тоже старый коммунист...

А тогда мы все еще были молодыми. Даже комиссар Кириллов, который вступил в партию за Невской заставой в двенадцатом году. Подумать только, его партстаж — восемь лет, но по испытаниям, через которые прошел Кириллов, равнялся многим десятилетиям.

Признаться, я не сразу привык к его манере говорить отрывисто, к тому, что он, словно бы не доверяя другим, везде старался поспеть сам. А потом все больше понимал, что Кирилловым движет стремление самому отвечать за порученное дело и он еще не умел распределять его между другими. А в то же время он все думал и думал о том, как сплотить бойцов.

— Кто знает,— спрашивал он, стоя в центре толпы бойцов,— что такое Турецкий вал?

— Турки строили?...— сразу уже кричат несколько голосов.

Конечно же ответ в самом названии, и думать не надо.

Кириллов улыбается. Лицо у него сухое. Губы на ветру потрескались. И под шинелью остро торчат худые плечи.

— Не только турки его строили, но и татары несколько столетий тому назад. А чтобы вы знали — длина вала почти двенадцать верст, высота — десять аршин, а ширина у основания — пятнадцать. А перед валом белые выкопали ров глубиной в десять аршин, а шириной более двенадцати. Да еще построили проволочные заграждения. Так что, товарищи, тем, кто пойдет в лобовую атаку, придется жарко...

После этих слов комиссара бойцам, которым предстояло перейти Сиваш, стало на душе как-то полегче. Как ни труден и опасен предстоящий поход, а все же сулит больше надежды на успех.

Рассвет. Холод такой, что кажется, что и версты не пройдешь, как совсем окоченеешь. Но в Строгановку втягиваются все новые и новые части, и вот уже во всех дворах дымятся костры, на которых греются чаны с водой. Скоро, совсем скоро дымящийся горячий котелок станет для нас недостижимой мечтой. Мы будем идти по качающемуся дну Сиваша, и будут хрипеть провалившиеся в трясину кони, и временами отчаянный крик потонувшего в тине человека полоснет по сердцу, как нервная судорога, и рядом побежит говор:

— Спасай, ребята!.. Где он?! Вишь, голова торчит!.. Да как же это его? Ползком! Ползком!.. Кидай доску...

Одних успевали спасти, а другие так и исчезли бесследно.

Артиллерия со стороны Турецкого вала была со все нарастающей жестокостью. Кириллов и командир полка Астафьев стояли в ложбине у самого берега и о чем-то совещались. Потом Кириллов собрал политруков рот. Так получилось, что Петр Лаврентьев, политрук нашей роты, накануне упал с коня и сломал себе два ребра. Вместо него Кириллов назначил политруком меня. Признаться, с новым своим положением я освоился не сразу. Когда ты боец, то отвечаешь сам за себя, а тут почти сто человек, многие из них только что прибыли, ты их не только по фамилии, но и в лицо-то едва знаешь. А между тем приниматься за дело надо сразу. Кириллов потребовал проверить готовность каждого, а самое главное — соблюдать тайну. Куда идем и какая задача перед дивизией — сообщать только тогда, когда сойдем на дно Сиваша, тихим голосом, чтобы бойцы передали по цепочке от одного другому.

Когда спустилась тьма, Оленчук во главе первой колонны спустился к Сивашу. Нам помог густой туман, в котором утопали лучи белогвардейских прожекторов, изучающих темное дно залива.

Версты три от берега — дно сухое. Под ногами потрескивает схваченный морозом песок. А затем ноги начинают скользить по слякоти, и туман стал еще глуше. Ничего не видим.

А позади нас, в Строгановке, на берегу Сиваша пылают костры, зажженные для ориентировки, но и они, их красные пятна, постепенно размываются в полной мгле.

Врангелевцы непрерывно прощупывали Сиваш прожекторами. Но мы сумели примениться к обстановке. Как только лучи ложились на Сиваш, бойцы разбегались, объединяясь в небольшие группы, которые казались черными пятнами и не вызывали подозрения у противника.

Но вот мы наконец достигли первых рядов проволочных заграждений. Уже приготовлены ножницы, чтобы резать колючую проволоку.

— Начинай! Вперед! — слышу я голос командира полка.

Мы бросаемся на заграждения. В тишине слышно, как позванивает обрезанная проволока. Врангелевцы тотчас обрушивают на залив ожесточенный огонь всех калибров артиллерии и пулеметов.

Прицельно стрелять им мешает туман. А мы, переждав, как только огонь затихает, снова бросаемся на штурм.

Часто я читаю статьи, в которых говорится о массовом героизме. По-моему, массовый героизм рождается в тех сражениях, где победа даже при большом искусстве полководцев невозможна без сплоченного удара тысяч и тысяч бойцов, объединенных большой идеей.

Теперь уже все зависело от быстроты. Надо сделать как можно больше проходов в проволоку. А для того чтобы ее перекусить, нужна была не столько сила, сколько ловкость.

На другом берегу бойцы рыли окопы. До рассвета оставалось несколько часов, можно было передохнуть.

В маленькой хатке на хуторе Новый Чуваш собрались на совещание командиры бригад. Решали вопрос, когда и как начать наступление, чтобы отрезать Турецкий вал с тыла.

Кириллов снова собрал политруков рот. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, в землянке, вокруг грубо сбитого стола, на котором чадил каганец, бросая причудливые тени.

Комиссар объяснил обстановку.

— Взятие Перекопа, — говорил он, — должно быть подарком для трудящихся к третьей годовщине Октября. Мобилизуем бойцов вокруг лозунгов: «Даешь Врангеля!», «Даешь Перекоп!». Удар должен быть нанесен на Таганаш. Мы должны сбить с позиций кубанскую бригаду врангелевского генерала Фостикова. Эту

задачу выполнит штурмовая колонна, состоящая из коммунистов. Во что бы то ни стало к утру нам нужно выйти к Ишуньским позициям белых, освободив весь Литовский полуостров и отрезав путь к отступлению врангелевцам, отходящим от Перекопа.

Сражение нарастало с каждой минутой. Белые действительно хорошо укрепились, они простреливали каждый метр простирающейся равнины.

Вскоре, после того как политруки разошлись по ротам, я обошел взвод за взводом, разъясняя бойцам обстановку. Вдруг меня вызвали в окоп командира роты. Там меня уже дожидался Кириллов.

Он пришел, чтобы дать мне новое, срочное задание. Все же я был в его представлении одним из тех, кто знал Сиваш лучше, чем другие.

Нужно как можно быстрее вернуться в Строгановку, явиться в штаб дивизии и сообщить, что ветер начинает меняться и гнать воду в Сиваш. Если не выстроить переправу, то войска будут отрезаны от снабжения.

Конечно, можно было послать Оленчука, но ему уже разрешили вернуться и он давно ушел.

И вот я двинулся в обратный путь. На подмогу мне дали еще одного бойца, физически крепче, на случай, если попадем в беду — один другого вытащит из топи. И хотя я никогда до той ночи не переходил Сиваш по дну, все же, видно, сказало, что я много слышал от стариков о его коварстве, — это помогло мне обходить стороной опасные места.

Сражение нарастало. Со стороны Турецкого вала канонада не прерывалась ни на минуту. Нам попался обоз со снарядами, и мы помогли найти верную дорогу командиру, упавшему духом потому, что в трясине погибли несколько бойцов, повозка с грузом и лошади.

Наконец-то забрезжили мерцающие пятна костров Строгановки!

...Фрунзе только что вернулся из Владимировки, где расположился штаб 15-й дивизии, и мы едва протиснулись к нему.

Нам навстречу вышел начальник штаба, грузный человек лет пятидесяти. Он хмуро выслушал мой доклад и коротко кивнул:

— Пойди обсушись! А то превратишься в истука-на... А к утру — назад!

Но тут за его спиной вновь распахнулась дверь, и я увидел Фрунзе. Никогда его до того не видел, а сразу узнал по неспешности движений, по основательной коренастости плеч, по аккуратно подстриженной щеточке волос. Внимательным прищуром голубоватых глаз он взглянул на меня.

— Откуда товарищ? — спросил он начальника штаба.

— Да вот с того берега Сиваша — пришел доложить, что вода возвращается, — очевидно, все это уже в штабе известно, поэтому в голосе начальника штаба прозвучали сердитые иронические нотки: чего, мол, человек старался, и без него нам все известно.

Но Фрунзе меня не отпустил. Он пригласил меня в хату, где было полным-полно народу. На походном столе лежали карты, походные сумки, и было не продохнуть от самосада.

— Вода, значит, продолжает прибывать? — спросил он с тревогой, и все вокруг притихли.

— Так точно! Ветер непрерывно гонит ее с востока...

Взгляд Фрунзе уперся в карту. Он попросил соединить с Чаплининой и долго слушал донесение штаба 51-й дивизии. Положение осложнялось. Вторая решительная атака Турецкого вала отбита противником с огромными для нас потерями. Некоторые части 152-й бригады погибли целиком. Сейчас бойцы готовятся к третьей атаке.

О том, какая опасность нависла, я понял из коротких реплик, которыми Фрунзе обменивался с начальником штаба.

Фрунзе задумчиво поглаживал кончики усов. Он, конечно, понимал, что только крайние меры могут привести к успеху.

Я смотрел на лица командиров, сам напряженно думал, но так и не мог понять, какие силы могут не дать водам Сиваша вновь залить дно.

А Фрунзе медленно говорил. Его тонко отточенный карандаш чертил по карте.

— Если не преградить Сиваш, наши части на Литовском полуострове могут быть отрезаны. Главная наша задача — захватить вал! Атаковать непрерывно! — Фрунзе помолчал. — Немедленно мобилизовать всех жителей Строгановки, Владимировки и других близле-

жащих деревень, чтобы они в несколько часов построили предохранительные сооружения на бродах через Сиваш.

Перекрыть Сиваш!.. Этот приказ получили члены ревкома Строгановки Ливиненко и другие. Не прошло и десяти минут, как вся Строгановка пришла в движение... Телеги выезжали из ворот, неслись к церковной площади. Здесь их уже ждала саперная рота.

И вот сотни людей вступили на дно Сиваша, вооруженные лопатами. Это было тоже сражение, упорное и отчаянное. Вода наступала, как враг. И с ним сражались, преграждая ему дорогу.

По приказу начальника штаба дивизии я перевозил на другую сторону Сиваша обоз с водой и продовольствием.

Глоток воды!.. Его ждали бойцы. Он был не менее важен, чем оружие. Вода «Гнилого моря» для питья непригодна, а там, где сражались наши дивизии, колдцев не было.

В эту ночь решил исход сражения. Выход на позиции по дну Сиваша оказался решающим. В напряженных боях постепенно иссякала сила вражеских дивизий. Врангелевцы все больше понимали, что они зажаты и спасти их может быстрое отступление.

На рассвете девятого ноября белые отошли на свои последние позиции у Юшуня.

Над Перекопом взвился красный флаг.

Степи Таврии!.. Они помнят, как звенели копыта красной конницы по мерзлой земле. Красные войска через Перекоп ворвались в Крым.

Я получил тогда из рук Михаила Васильевича Фрунзе почетный клинок. Вот он, висит над моей кроватью. Взгляни, на ножнах выгравировано мое имя.

ПАРТБИЛЕТ

Может ли быть в жизни человека час горше и тяжелее, чем тот, когда товарищи, с которыми ты равен и перед жизнью и перед смертью, с которыми, казалось, ты делишь все — и опасность, и тяжелый труд, и глоток солоноватой, теплой воды, — вдруг отказывают тебе в доверии?!

Это произошло на Волге в самые напряженные дни октябрьских боев. Уже веяло по дымным землянкам горячим ветром приближающегося большого наступления. Мы не знали, где и когда оно начнется, но были твердо убеждены: оно уже не за горами. В эти дни только в одной нашей бригаде больше ста человек подали заявление о приеме в партию. И одному из них было отказано. Это был Василий Логинов, мой боец.

Сейчас, по прошествии многих лет, когда я вспоминаю Василия Логинова, его костлявые узкие плечи, его растерянное лицо, освещенное тусклым светом «летучей мыши», и всех нас, его товарищей, вынесших свое жестокое решение, я отчетливо понимаю, что я и сам проходил вместе с ним суровое испытание, но не выдержал его. А жизнь мне готовила уже такой урок, который я запомнил навсегда, не мог не запомнить.

До этого, с высоты своих двадцати двух лет, я снисходительно и строго смотрел на людей, подчиненных мне, и считал, что вижу их насквозь с первого же взгляда. Но события, которые развернулись через несколько часов после того, как мы вынесли свое решение, навсегда излечили меня от этого заблуждения.

Что же заставило нас так жестоко отказать Логинову в исполнении его заветного желания? Дело, казалось, было простое и ясное. Но я еще не знал тогда, что есть на свете такие простые и ясные дела, которые могут повернуться неожиданно какой-то новой стороной и оказаться совсем не такими-то простыми, как только что представлялось.

Все началось с того сумеречного, дождливого утра, когда в мою батарею прибыла группа молодых; необстрелянных бойцов, и среди них этот невысокий, нескладный парень с большой головой на тонкой шее, сразу выделившийся среди других своей молчаливостью и медлительностью. На вид ему было больше двадцати лет, а на самом деле недавно исполнилось восемнадцать. Он был северянин, из Карелии, и работал где-то на лесосплаве. Я представлял себе лесогонов людьми могучими, кряжистыми, и, когда мой новый боец сказал мне, что ходил на плотях, я ему, признаться, не поверил. В моем представлении люди, умеющие побеждать стихию, должны были обладать другой статью.

По-разному складываются судьбы. Одни приходят

в коллектив и быстро завоевывают всеобщее уважение; к другим долго присматриваются, прежде чем поймут, чего они достойны; а есть и такие, что сразу оказываются предметом насмешек. Иной человек всегда в чем-нибудь виноват, всегда у него что-нибудь не в порядке, и то, что другому сходит с рук, этому никогда не прощается. О нем говорят на всех собраниях, и обязательно плохо.

Логинов, как говорится, с ходу попал в эту группу — на второй же день после прибытия в батарею.

Накануне был тяжело ранен связной командира полка, и начальник штаба приказал командиру нашего дивизиона выделить человека, который срочно бы доставил в штаб бригады пакет с донесением. Как это получилось, уже не помню; приказ катился и катился от одного начальника к другому, и вскоре рядовой Логинов прибыл в блиндаж начальника штаба за пакетом.

Как раз в эти дни наша армия потеснила противника, оставившего нам такие густые минные поля, что их не только в один день, но даже и в месяц не снимешь. Поэтому минеры проделали в них кое-какие проходы, а вокруг поставили вежи с грозными надписями: «Мины!»

Логинов благополучно добрался до штаба бригады. Честь честью сдал пакет и повернул назад. Круглым путем, каким он шел туда, ему опять нужно было петлять по балкам километра четыре. А уже смеркалось. Он торопился и вдруг увидел полевую дорогу, которая круто забирала наверх и уходила влево — к той редкой, избитой снарядами роще, где располагалась батарея.

Дорога эта была так гладко укатана и казалась такой безопасной, что он смело двинулся по ней и через полчаса уже ел в своем блиндаже из котелка остывший суп.

Все было бы хорошо. Но как раз в это время в блиндаж спустился усталый и продрогший сапер Сорокин. Он отчаянно ругал все эти проклятые мины, которых сам черт не найдет, — так они ловко упрятаны.

Уж кажется, каких только мин не приходилось ему разряжать, а сегодня с него семь потов сошло, пока он бился над ловушкой, которая устроена на дороге. Да так и не совладал с ней. Еще и завтра придется потеть...

И тут вдруг выяснилось, что Логинов только что прошел той самой дорогой, по которой шагу нельзя ступить, чтобы не взлететь в воздух.

Услышав об этом, сапер даже отпрянул от него.

— Спят, парень! Да как ты жив остался?..

И внезапно произошло то, чего ни Сорокин, ни сидевшие рядом солдаты совсем не ожидали. Логинов вздрогнул, побледнел и, громко всхлипнув, уткнулся лицом в руки.

В другое время, в другой обстановке его бы поняли.

Шутка сказать — верная смерть подстерегала его на каждом шагу, а шагов этих была добрая тысяча. Но здесь, в двухстах метрах от противника, смерть была так близка от каждого, так обыденна, что многие понятные в мирное время чувства казались смешными. Остался жив и невредим — и ревет, как девчонка! «Щенок сопливый!..»

Что и говорить, мне, его командиру, следовало бы понять, что парню пришлось туго. Уж слишком тяжелое испытание выпало ему чуть ли не в первый же день его фронтовой жизни. Но от юношеской самоуверенности я усмотрел в этом происшествии лишь свидетельство излишней чувствительности, даже трусоватости своего нового солдата.

Особенно невзлюбил Василия Логинова командир орудия сержант Фомичев. Он иначе не называл его, как «тюфяк», жаловался, что он «лентяй косорукий», и все время просил меня куда-нибудь откомандировать этого «недотепу». Фомичев был из тех людей, которые дарят дружкой или нелюбовью со страстностью и убежденностью, которая заставляет поверить в свою правоту.

Был это человек лет тридцати, уверенный, сильный, напористый, и мне было приятно, когда он, пошевеливая своими густыми бровями, говорил: «Уж мы с нашим командиром промаху не дадим. У нас хватка мертвая!»

Прошло немного времени, и я стал смотреть на Логинова глазами Фомичева. На этом-то я и попался...

Однажды ко мне подошел сержант Муромцев, наш парторг, человек пожилой, неторопливый. У него дети были в моем возрасте. Он отвел меня в сторонку и хмуро сказал:

— Нехорошо у нас получается, товарищ лейтенант.

— А что нехорошо?
— Логинов — парень молодой. Можно сказать, из семьи недавно...

Я рассердился:

— А ты что — защищать его пришел? Да его гнать из батареи надо!..

— Куда гнать! В тыл?.. — усмехнулся Муромцев. — Или, может быть, за передний край?..

— Ну, что ты от меня хочешь!..

Муромцев не успел мне ответить. Его срочно вызвал к себе комиссар полка. А вечером того же дня я узнал, что Муромцева убило осколком снаряда в окопе, где он разговаривал с солдатами.

Парторга похоронили на склоне балки. В его брезентовой полевой сумке мы нашли документы: несколько протоколов собраний, платежную ведомость и пачку заявлений о приеме в партию. Среди них было и заявление Логинова с рекомендациями. Одну рекомендацию ему дал Муромцев, а другую тот самый сапер Сорокин, который и был виновником всех его дальнейших неприятностей.

В этот же вечер мы собрались в блиндаже, чтобы выбрать нового парторга, и временно избрали Фомичева. А потом перешли к обсуждению поданных заявлений.

Блиндаж был тесный, и поэтому все не могли в нем уместиться. Подавших заявления мы вызывали по одному, а после приема они оставались тут же в блиндаже. Сидели, тесно прижавшись друг к другу, так что руку нельзя было поднять, не толкнув соседа.

Всех, кого принимали, мы знали и верили в них. Каждый рассказывал о том, как он жил прежде, до войны, но все события предыдущей его жизни мало значили по сравнению с этой землянкой на переднем крае, в которой мы сидели плечом к плечу.

Когда мы разобрали десять заявлений и перешли к одиннадцатому, Фомичев, обладатель густого баса и крепкого кулака, которым он для убедительности то и дело грохотал по снарядному ящику, заменявшему нам стол, с таким ожесточением выступил против Логинова, что рекомендация Муромцева уже не могла поправить дела. А Логинов стоял тут же, у входа в блиндаж, в своей измазанной глиной шинели, хмуро слушал Фомичева и молчал.

Страсти разгорались. Не все были с Фомичевым согласны. Сорокин встал и сказал, что хоть Логинов и «психанул», перейдя через минное поле, но еще неизвестно, в каком бы виде явился после такой прогулки и сам Фомичев. Выступили в защиту Логинова и другие. Голоса раскололись. Семь — «против», а семь — «за». Мой голос был пятнадцатый, и я подал его «против».

Фомичев резким движением протянул Логинову заявление. Тот взял его с каменным лицом, медленно сложил, осторожно перед этим расправив рекомендацию Муромцева, и спрятал в нагрудный карман. А потом так же молча повернулся и пошел по скрипучим ступенькам вверх.

В блиндаже стало тихо. Даже Фомичев примолк. Несколько мгновений мы сидели молча, ощущая, что произошло что-то неладное, нехорошее.

Первым вскочил Сорокин.

— Обидели вы человека! — сказал он и, как-то горько махнув рукой, пошел вслед за Логиновым.

Я с тяжелым чувством вернулся к себе в блиндаж и прилег на нары. «Что же случилось? — думал я. — Почему я так уверен, что Логинов плох? Только потому, что он не нравится Фомичеву... Но Фомичев и сам не очень-то разбирается в людях. Муромцев его не раз осаживал. И вообще, имел ли я право умолчать о последнем разговоре с Муромцевым? Ведь только я один и знаю о нем. Будь старик жив, он наверняка бы убедил собрание принять Логинова. Ну а его рекомендация — это ведь тоже не пустяки. Вроде завещания, так сказать...» Я думал, думал, и сон бежал от меня. До этой ночи я никогда не ощущал, что нары такие жесткие, — настоящим счастьем для меня было обычно свалиться на эти покрытые шинелью доски, а сейчас я пролежал на них все бока.

Я думал и о своей роли в этом деле — ведь, по сути, мой голос решил все. Не согласись я с Фомичевым, и Логинов был бы принят... Я старался понять, что же все-таки меня так беспокоит. В конце концов мы ведь договорились, что после боя Логинов снова сможет подать заявление, и тогда ему не будет отказано... Нет, конечно, дело было не только в этом. Где-то в глубине души я понимал, что поступил не по собственному глубокому убеждению, а потому, что не хотел спорить с

Фомичевым. Вот почему я тогда и накричал на Муромцева... И сейчас, лежа в пустом холодном блиндаже, прислушиваясь к редким разрывам мин, я продолжал вести тот разговор, которому так и не суждено было завершиться. Хотя я уже лейтенант, а Муромцев был всего старший сержант, но на самом деле он был во многом опытнее меня. Конечно, я окончил училище и лучше его мог рассчитать огонь батареи и решить тактическую задачу, но, когда дело касалось людей, их судеб, тут уж точность решений Муромцева во много раз перекрывала мою.

По уставу внутренней службы я был командиром и над Муромцевым, и над всеми своими солдатами, а по другому уставу — Уставу партии — я был рядовым коммунистом. И сложность, и мудрость этого кажущегося противоречия заключалась в том, что я учил и в то же время сам должен был учиться у своих же солдат, учиться тому, что приходит только с опытом жизни.

И вот Муромцев ушел... Я как-то не мог представить себе, что никогда теперь не увижу его чуть сутуловатой фигуры, не услышу его прокуренного хриплого голоса. Конечно, я очень к нему привык. У него были те качества, которых тогда еще не могло быть у меня. Он был терпелив к людям, а я, наоборот, резок. И эту резкость и нетерпеливость я тогда считал своими достоинствами. В этом мне виделось подлинное проявление волевой натуры. Муромцев мог часами беседовать с человеком, просто сидеть на уступе окопа, курить и говорить о самых обыденных мелочах. Я же считал, что должен не говорить, а приказывать, а уж если и дойдет до разговора «по душам» (я был убежден, что время от времени мне следует разговаривать со своими солдатами по душам), то командир обязан настаивать, внушать, учить уму-разуму, иначе как же быть с его авторитетом?

Поведение Муромцева не всегда было мне понятно. Иной раз даже я не совсем одобрительно относился к этим его бесконечным разговорам. Но тут почувствовал, что месяцы, проведенные рядом, не пропали зря, что-то важное оставил Муромцев в моем сердце.

Так я и заснул тяжелым, беспокойным сном. Близкие разрывы будили меня, но я глубже натягивал на голову шинель, переворачивался на другой бок и снова

погружался в полусон, в полудремоту, сковывающую тело, но не дающую отдыха. Мысли лениво ползут, и ты не можешь их остановить, на ухо давит жесткая ткань вещевого мешка, выполняющего роль подушки, а от полы мокрой шинели нестерпимо кисло пахнет грубой шерстью.

Не знаю, сколько времени я спал, вернее, вертелся на своем чертовски неудобном ложе, как вдруг почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо.

— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант! Быстрее!.. Вас вызывает командир полка!..

Ощущая во всем теле ломоту, я с трудом сел на доски.

— Что случилось? — спросил я, стараясь разглядеть в неясном желтоватом свете угасающей «летучей мыши» смутную фигуру солдата, в котором сразу угадал Василия Логинова.

— Не знаю, товарищ лейтенант! Из штаба передали, что вам приказано прибыть быстро... Можно идти?

Я помедлил, стараясь понять, почему именно Логинов передает мне это приказание, и вдруг вспомнил: ведь он сегодня дежурный телефонист.

— Идите! — отослал я его и стал быстро натягивать шинель.

Командир полка, майор Горелов, встретил меня на пороге своего блиндажа — видно было, что он еще не ложился спать. Его короткие волосы были взъерошены, а на бледном усталом лице, особенно в уголках глаз, пролегли новые глубокие морщины. Мы с Гореловым были знакомы давно: еще в июле, когда гитлеровцы нанесли свой внезапный удар на Тим, мы вместе с ним отходили, и это как-то сблизило нас.

Я не успел доложить ему о своем приходе, как он увидел меня сам и быстро провел в блиндаж. В углу начальник штаба что-то чертил на карте, сверяясь с оперативной сводкой, которую он держал в руках, а ближе к входу, у стены, на корточках сидели телефонисты. Они то и дело откликались на какие-то вызовы.

— Садись, — сказал мне Горелов, указывая на грубо сколоченную скамейку, — она стояла перед столом, за который уселся он сам.

По тому, как Горелов встретил меня, я сразу понял, что разговор будет серьезный, и не ошибся в этом. Без долгих слов он приступил к делу.

— У тебя сколько орудий? — спросил он, заглянув в какой-то список.

— Два... Но одно из них требует серьезного ремонта!..

— Так вот, тебе выделено из резерва еще одно орудие. Однако за ним ты должен будешь послать на левый берег Волги... Понятно?..

— Понятно, товарищ майор. Разрешите идти?

— Нет, подожди.

Он вдруг как-то особенно испытующе и сосредоточенно посмотрел мне в лицо, как бы взвешивая, способен ли я на нечто большее, чем исполнение своих обычных обязанностей, а затем быстрым движением взял телефонную трубку.

— Позовите «пятнадцатого» к аппарату! — отрывисто сказал он, и я удивился, хоть и не подал вида: «пятнадцатый» — ведь это начальник политотдела бригады Сергеев. Какое у него может быть ко мне дело? Сергеев почему-то долго не подходил, майор нетерпеливо морщился, но наконец все-таки дождался. — Так, может быть, мы пошлем Костицина, — сказал он так, словно продолжал только что прерванный разговор. — У него как раз там и дело есть. Прислать к вам? Хорошо... Слышал? Иди, — сказал мне Горелов, положив трубку. — Он тебе все объяснит.

И я пошел. Вернее, пополз между развалинами домов к подвалу, где находился Сергеев. Через пятнадцать минут я уже в точности знал, что мне предстоит выполнить. В бригаде не хватает партийных билетов, нужно привезти триста штук вместе с бланками личных дел. Мне выдали доверенность и баул из толстого брезента, с ушками на ручках, куда продевается шнурок сургучной печати. Кроме того, суховатый и немногословный Сергеев строго-настрого приказал взять с собой бойца для охраны. Он наверняка бы, конечно, послал за партбилетами кого-нибудь из политотдела, но за несколько дней до этого от прямого попадания бомбы в блиндаж погибли почти все его работники.

Я вернулся к себе, когда уже начало рассветать, сразу вызвал Фомичева и Соколенка, командира второго орудия. Мы посоветовались, как быть. Было решено, что Соколенок останется — у него еще пропасть работы по ремонту механизма отдачи, — а Фомичев поедет со мной на левый берег, и там мы расстанемся. Он от-

правится за орудием, которое передается нам вместе с боевым расчетом, а я в тот отдел, где мне выдадут партийные документы. Кого бы взять с собой из бойцов? Когда я задал этот вопрос, Фомичев хитро усмехнулся, и я сразу понял, что мы подумали об одном и том же.

— Хорошо, — сказал я. — Пришлите его ко мне. Проверим еще раз человека.

Через несколько минут Логинов с автоматом на груди переступил порог моего блиндажа и доложил о своем прибытии. По правде скажу, я бы выбрал для этого дела кого-нибудь другого, кого я больше знал. Переправляться на левый берег было не так-то просто. Паром почти все время обстреливался противником, и, посылая на это испытание Логинова, Фомичев, не скрывая этого, хотел доказать и мне, и всем остальным свою правоту. Что касается меня, то после этой ночи, проведенной в раздумье, я решил принять вызов. Пусть Логинов пойдет со мной, пусть он будет рядом, я увижу, каков он есть, своими глазами и сам составлю представление о нем.

Ехать нам пришлось вдвоем. Случилось так, что Фомичев надолго застрял в штабе полка, выписывая необходимые документы. Ждать было некогда, и я в сопровождении Логинова отправился на берег Волги, туда, где к разрушенной пристани должен был пристать паром.

Когда мы подошли, парома еще не было. Он только что отчалил от другого берега. Я видел вдалеке несколько плоских понтонов с деревянным настилом, на длинном канате их тянул за собой буксир. На понтонах стояло несколько грузовиков, покрытых брезентом, а между машинами сидели и стояли люди. Когда вблизи от понтона взрывался снаряд и кверху взлетал столб воды, люди падали на настил. А буксир, пыхтя, тащил и тащил за собой понтон так неторопливо, словно не было ему и дела до всей этой стрельбы.

— Прямо на нервах играет, — сказал кто-то рядом.

В ожидании понтона на берегу скопилось несколько раненых и таких же, как мы, у кого были дела на том берегу. Нам оставалось одно: терпеливо ждать, наблюдая, чем кончится игра со смертью, которая происходила посредине реки. Что ни говори, а ведь и нам вскоре, если понтон все же достигнет берега, придется испытать то же самое...

За все время Логинов не сказал ни слова. Он сидел поодаль на камне и, о чем-то думая, смотрел на другой берег... И вдруг я подумал о том, что ведь почти ничего о нем не знаю. В стремительном беге времени и дел мне некогда было приглядываться к окружающим меня людям. Как часто бывало, ночью приходит пополнение и сразу же вступает в бой. А утром многие ранены и даже убиты. Эти люди пробыли рядом со мной всего несколько часов — пришли, сделали свое дело и ушли.

Я взял с собой Логинова, чтобы с ним поговорить, понять его, но он молчал, и в глубине души я был ему за это благодарен. Я так устал, что просто хотелось сидеть и молчать. В каком-нибудь полукилометре шел бой, а здесь, на берегу, смотря на белые барашки медленно катящихся тяжелых волн, мы чувствовали себя в глубоком тылу.

На левый берег мы перебрались без особых приключений. Я торопился. Следующий паром должен был вернуться назад в пять часов вечера. Если мы опоздаем, придется ждать ночи. В половине пятого с тяжелым брезентовым баулом, опечатанным сургучными печатями, мы вновь стояли на берегу.

Быстро сгущались сумерки. Было холодно. Хотелось скорее добраться до своего блиндажа и отогреться у печурки. Логинов в стеганом, туго подпоясанном ватнике тоже, видно, сильно продрог. По-прежнему он держался сухо, молчаливо и даже настороженно. За все время мы сказали друг другу несколько фраз.

Паром долго не приходил. На берегу скопились машины с боеприпасами. Какой-то пожилой усатый майор бегал от одного шофера к другому и срывающимся на ветру голосом приказывал рассредоточиться. Но его никто не слушал.

Вверх по Волге медленно прополз буксир, тянувший на канатах от самой Астрахани две глубоко осевшие баржи с нефтью. Рискованное дело — тащить мимо города баржи, каждая из которых удобная цель для бомбардировщика, но другого пути нет. Добросовестно стуча машиной, буксир изо всех сил шел против течения. Несколько снарядов разорвались вокруг него и около барж, но огонь был неприцельный, и большой опасности не было.

Скорей бы подошел паром! Наконец его темная по-

лоска медленно отделилась от правого берега и поползла к нам.

— Ну, Логинов, — сказал я как можно более бодро и дружелюбно, — давай не теряться. А то нас отожмут.

Я показал усатому майору свои документы, и он пообещал что пропустит нас на паром, хотя претендентов уже накопилось великое множество. Среди них даже полковник из штаба фронта. Однако груз, который мы везли, был не менее важен, чем боеприпасы.

Не буду рассказывать, каких трудов стоило нам войти на этот проклятый паром, сколько было споров и даже ругани. Майор совсем охрип. Наконец на помост въехало несколько машин, они стали рядом. Между ними разместились люди.

Механик запустил мотор буксира, паром вздрогнул и медленно пополз к середине реки. Я смотрел на мальчишеское узкое лицо Логинова и чувствовал мучительную неловкость от бессилия заставить его говорить со мной так, как мне этого хотелось. А мне хотелось, сердито и значительно сдвинув брови, внушать ему истины о необходимости выполнять свой долг, о том, что надо быть смелым, стойким, исполнительным. Я готов был к тому разговору, который я называл «по душам», а Логинов стоял «застегнутый на все пуговицы». Его руки лежали на автомате. Он спокойно смотрел в бурлящую за кормой воду и совсем не смотрел на меня. Это меня сердило. Черт подери! В конце концов — я все-таки командир. Хочешь ты или не хочешь, но ты меня слушаешь... Но в этот момент случилось нечто, заставившее меня забыть о своем намерении.

— Летят! — крикнули с кормы.

Я взглянул в небо и увидел, что под облаками прямо на нас разворачивается звено «юнкеров». Дело обворачивалось плохо. Если артснаряды ложились неприцельно, то «юнкеры» будут бомбить с пикирования и почти наверняка не промахнутся.

С обоих берегов по ним забили зенитки, но самолеты поднялись выше и скрылись в облаках. Не было сомнения в том, что это лишь маневр. Они подкрадутся к нам поближе и пойдут в пики тогда, когда будут над нашими головами.

— Ты умеешь плавать? — обернулся я к Логинову.

— Умею, — ответил Логинов, не прибавив «товарищ командир».

Я невольно отметил это, но сейчас было не до тонкостей субординации.

— Если что-нибудь со мной случится,— сказал я,— ты этот баул доставишь начальнику политотдела.

— Есть,— сказал он так угрюмо и твердо, словно меня уже ранило или убило.

И в эту минуту над нашими головами засвистели бомбы.

Сколько раз в своей жизни я ни попадал под бомбежки, но большей беззащитности, чем на плоту, посредине Волги, я не испытывал. На земле хоть в какую-нибудь щель впрыгнешь, а здесь, пожалуйста, прыгай в воду, иди ко дну или сиди и жди своего часа под колесами грузовика, доверху нагруженного снарядами.

Нет, более противного состояния я не испытывал никогда. А бомбы выли, и вой нарастал, давил на барабанные перепонки, казалось, рвал их. Это были бомбы-«ревуны», они не только рвались, но и своим воем должны были психически подавлять противника.

Единственным укрытием была грузовая машина. Если бомба попадет в нее, то и рядом спасения не будет, а так все-таки есть некоторый шанс спастись от осколков. Я бросился под машину, где уже сидело, прижавшись друг к другу, человек десять, и рядом со мной примостился Логинов. Он был как будто спокоен, но я видел, как побелели пальцы его рук, сжимавшие приклад автомата. Баул оказался между нами, и мы прикрыли его, словно это был живой человек, за жизнь которого мы оба были в ответе.

Через мгновение оглушительный удар потряс плот. Он наклонился в сторону, послышались отчаянные крики. Машина над моей головой дрогнула и заскользила куда-то вниз. Под ее тяжестью плот стал опускаться в воду. Меня сразу же захлестнуло по горло. Мне показалось, что все погибло. Я ничего и никого не видел в бурлящих волнах и только продолжал изо всех сил сжимать ручку баула. Но тут наконец машина повернулась набок, с грохотом посыпались ящики со снарядами, мелькнули колеса — и все кончилось. Только волны пенились вокруг.

Но то, что погубило машину, спасло меня и еще несколько человек. Освободившись от груза, сохранившаяся часть плота выровнялась, и внезапно я почувствовал под собой опору.

Лежа на мокрых досках, я огляделся. Бомба попала как раз в центр плота и расколола его на несколько частей. В стороне плыл еще один обломок — на нем стояла машина, а вокруг нее сустились бойцы. Вдалеке, накренившись на левый борт, из последних сил добирался до берега буксир.

А на том клочке плота, где был я, лежали еще два человека. Один был полковник из штаба фронта, тяжело раненный в голову. Его не смыло только потому, что шинель зацепилась за крюк, к которому веревкой привязывались машины. Второй был шофер той самой машины, которая пошла ко дну. Он успел выскочить из кабины и теперь сидел на краю плота, свесив ноги в воду, в полном отчаянии.

Логинова нигде не было видно. Кто-то плыл к берегу, но, приглядевшись, я заметил, что у того на голове волосы были темные, у Логинова же — соломенно-желтые.

Остатки плота медленно скользили посредине реки. Куда нас понесет? Этого никто не знал. Сумерки сгущались. Найдет ли нас в темноте второй буксир?

Я встал на ноги и крикнул на берег:

— Эге-гей!.. Давайте буксир!..

Эхо разбросало мой голос и отозвалось где-то за мысом. И тут же невдалеке разорвался немецкий снаряд. Меня обдало с ног до головы водой, и волна чуть не смыла баул.

Вдруг я увидел, что за край плота уцепилась чья-то рука. В ту же секунду показалась вторая рука, а затем голова Логинова. Этого я ожидал меньше всего. Он словно вылез на плот со дна. Я не успел прийти в себя от удивления, а он стоял рядом и отряхивался от воды. Сапог и ватника на нем не было. Однако каким-то чудом он сумел сохранить автомат, который висел у него на ремне, перекинутом через шею.

— Ты откуда? — невольно спросил я и, только задав этот вопрос, понял, до чего он нелеп.

Очевидно, и Логинов это понял. Впервые за все время он улыбнулся.

— Вот оттуда,— указал он в воду.— Меня отбросило взрывом! А пока я раздевался в воде, вас унесло... Вот и пришлось догонять.

Ему было холодно, и он приплясывал, мелко отступивая голыми ступнями по доскам.

В это время полковник приподнялся на локте и поздравил меня. Его обострившееся лицо с мохнатыми бровями, сросшимися на переносье, выражало глубокое страдание. Он понимал, что умирает, и торопился сказать мне о самом важном:

— Товарищ лейтенант... Вот здесь, на груди... в кармане, пакет Чуйкову... Обязательно передайте... Сообщите в штаб фронта, что я погиб... Моя фамилия Матвеев... Пусть напишут жене...

— Хорошо,— сказал я, опускаясь перед ним на колени.— Все будет сделано, товарищ полковник.

Он откинулся на спину и коченеющими пальцами стал расстегивать на груди шинель. Я помог ему вытащить из грудного кармана пакет, прошитый нитками и запечатанный сургучной печатью. Увидев, что пакет у меня, полковник со стоном повернулся и закрыл глаза.

А между тем наш плот медленно крутило на быстрине. Мимо проползали темные берега, изъеденные окопами, воронками от бомб и почерневшими остовами зданий. Издалека доносились пулеметные очереди и редкие глухие удары тяжелого миномета.

Полковник лежал в забытии, и потому самым старшим на плоту был я. Мой «гарнизон» состоял из Логинова и шофера, который продолжал в полном безразличии сидеть на краю плота.

Что же делать? Кроме голых досок, на которых мы стояли, на плоту не было ничего, чем бы можно было грести. Ждать, когда нас возьмут на буксир или когда прибьет к мели? Но сейчас быстро темнеет, и через полчаса с берега нас уже не будет видно. А за ночь нас унесет километров за сто к Астрахани, и, кто знает, что еще может случиться впереди.

Пока я размышлял над создавшимся положением, Логинов обошел плот вокруг по краям и остановился недалеко от меня, спокойно, словно ожидая приказа.

Я присел на баул и стал рассматривать доски. Если бы оторвать хотя одну, все же можно было бы иметь в руках нечто похожее на весло. Но как это сделать? Толстые, накрепко сбитые доски скреплены огромными железными крючьями. Сколько ни трудись— не оторвешь.

— Слушай, ты, шофер,— вдруг сказал Логинов,— поди-ка сюда. Ты чего там киснешь!

Шофер оглянулся и нехотя поднялся на ноги. Это

был высокий, худой как жердь парень, одетый в замасленный комбинезон. Небритое лицо его посинело от холода. Он стоял, понуро опустив плечи, и, видно, еще не пришел в себя после потрясения.

— Оружие есть? — спросил Логинов.

— Нет,— хмуро ответил шофер,— ко дну пошло.

— Ну, там из него раки стрелять будут,— усмехнулся Логинов.— А как же ты теперь к берегу добираться будешь? А, шофер?

Шофер пожал плечами и хмуро взглянул на меня, словно это зависело от моего приказа. Но я молчал, думал до боли в висках и ничего не мог придумать. Однако та уверенность, с какой Логинов двигался по плоту, невольное вселяла в меня надежду — теперь я начинал верить в то, что он действительно плавал на плотках. Уж очень привычно ступали его босые ноги по скользким доскам, и в движениях было нечто уверенное.

— Что, Логинов,— сказал я как можно более весело,— ты же как будто плоты гонял по Печоре!.. Ну вот, покажи свое искусство...

Логинов, прищурившись, взглянул на меня и двинулся вдоль края плота, с силой топая ногами. Я наблюдал за ним, стараясь понять, что он хочет делать. Плот разорвало неровно, одни доски были длинные, другие короче. Логинов внимательно изучал что-то, а потом подошел ко мне.

— Будем грести досками,— сказал он.

— Ну а как же их отломить? — спросил я.

— Отломить — отломим! — спокойно ответил он.— Вот эту — с краю!.. И вот эту — в центре. Они метров по пять будут... Как, подойдет?

— Подойдет,— сказал я, еще не понимая, каким же образом он сможет их отломить.

— Так. Можно отделять?

— Можно.

Логинов подошел к доске там, где она была наглухо прибита толстым штырем к бревну, и дал длинную очередь. Полетели щепки. Через несколько секунд доска уже лежала на плоту. Таким же образом мы получили и второе весло.

— Ну, шофер, давай рули. Спускай доску сзади да держи крепче. А я буду загребать влево.

Шофер повиновался и опустил доску ребром в во-

ду, стоя в конце плота. Логинов примостился с левой стороны и принялся орудовать своей доской как веслом. Доска была тяжелая и все время скользила. Я решил прийти ему на помощь, но Логинов сухо отказался:

— Вы, товарищ командир, мне не мешайте. Я человек привычный — сам справлюсь... Эй, шофер! Держи правее!.. Еще правее!.. Больше, больше налегай!..

Шофер животом лег на доску, которая так и рвалась у него из рук. Я бросился на помощь к нему, и вдвоем мы кое-как справились. Плот медленно повернул к берегу. Мы вышли из быстрины и попали в тихое течение, с которым было уже гораздо легче сладить.

Вдруг шофер взглянул вдаль и дернулся, словно хотел бежать.

— Горит!..

Я посмотрел туда, куда он показывал, и чуть не выпустил доску, — она больно ударила меня по подбородку. То, что я увидел, было действительно страшно.

По реке широкой полосой, почти от берега и до берега, на нас быстро надвигалось яркое, красное пламя, чадающее черным едким дымом. Я вспомнил про баржи с нефтью, которые прошли на Саратов, очевидно, их разбомбило, и горящая нефть растеклась по Волге.

— Гребите быстрее, товарищи! — крикнул я.

Теперь, когда плот повернулся к берегу, вторая доска тоже могла выполнить роль весла. Мы поставили ее с правого борта и работали изо всех сил.

Но плот все-таки был слишком тяжел, а мы уже были изнурены. Берег приближался, но гораздо медленнее, чем пламя.

Логинов греб, сильно и равномерно взмахивая своим веслом. Он делал свое дело гораздо искуснее нас с шофером. Видя, как нам трудно, он начал считать, чтобы придать движению какой-то ритм. Но наша доска все время скользила вниз, и мы за ним не успевали.

До берега оставалось еще метров двести. Я решил привязать баул к документам ремнем к доске, и пусть Логинов бросается с ним в воду. Документы должны быть спасены во что бы то ни стало. А мы с шофером привяжем себя к другой доске и тоже попробуем спастись вплавь.

Но тут я вспомнил о полковнике и на несколько секунд оторвался от весла, чтобы посмотреть, жив ли он? Полковник при моем прикосновении шевельнул голо-

вой, приоткрыл глаза и что-то пробормотал. Это сразу же сорвало все мои планы. Я не мог оставить его в огне. Пусть плывут Логинов и шофер, а я останусь. Но когда я сказал об этом шоферу, тот испуганно затряс головой — он не умел плавать. Таким образом, плот мог покинуть только один Логинов.

Я приказал ему быстро привязать баул к доске и плыть с ним к берегу. Но тут опять произошло нечто такое, чего я не ожидал. Логинов упрямо взглянул на меня.

— Товарищ командир, и я не поплыву! — тихо сказал он.

— Почему? — закричал я. — Плыви, я приказываю!..

— Потому что вы без меня погибнете.

— Я приказываю спасти документы!..

Логинов стоял, вцепившись в доску, лицо его было бледным.

— Товарищ командир, подумайте, что вы говорите! Самое худшее — документы сгорят или утонут. Они ведь не попадут к противнику. А мы сможем спасти жизнь полковнику...

— Мы будем грести без тебя, — настаивал я.

Он покачал головой:

— Без меня не справитесь.

Несколько мгновений мы стояли, в упор глядя друг другу в глаза. Я, конечно, мог бы схватить автомат и силой заставить его выполнить приказание. Но ведь не от трусости он поступал так, а от великого мужества, какого я в нем и не подозревал.

Я повернулся и пошел к своему веслу. Шофер, казалось, терял последние силы. Он едва держался на ногах и несколько раз чуть не упал в воду. Было самое время сменить его.

Я перенес баул на середину плота, который был шагов пять в длину и шесть в ширину. Если принять во внимание неровно обломанные доски, то он представлял собой неправильный четырехугольник. Полковника я подвинул к середине, а рядом с ним положил баул. И вдруг впервые в жизни я подумал о том, что могу погибнуть. Ведь со мной погибнет и пакет. Куда его деть? Если бы Логинов поплыл к берегу, пакет можно было бы отдать ему. Но теперь?..

Мне казалось, что мы попали в какой-то проклятый заколдованный круг. Жизнь каждого из нас зависела

от другого, а жизнь полковника — от всех нас. Говорят, у людей есть второе дыхание. Я не знаю, правда ли это. Но вот откуда у нас взялись силы управляться с тяжелыми досками, мне до сих пор непонятно.

До берега оставалось каких-нибудь сто метров, когда огонь догнал наш плот. Сначала он протянулся к нам длинным и узким клином. Нам даже показалось, что мы можем от него уйти. Но через минуту мы были уже со всех сторон окружены пляшущими языками пламени. Если бы кто-нибудь до войны сказал мне о том, что Волга может гореть, я бы счел этого человека, мягко говоря, фантазером. Бывают же такие люди — с богатым воображением. Но это была не фантазия, а правда, и мы были уже совсем на краю гибели.

Густой черный дым мешал нам дышать, слепил глаза, вызывал судорожный кашель. При каждом покачивании плота горящая нефть попадала на доски, и они уже стали дымиться, по ним поползли змейки огня. Наши весла горели...

Вдруг шофер схватился за грудь и упал без сознания лицом вниз, рядом с полковником. Теперь мы остались с Логиновым вдвоем. Он по одну сторону плота, я — по другую.

Я оглянулся. Он стоял, весь черный от копоти, и откидывал доской горящую воду. На какое-то мгновение невысокие волны оказывались узким барьером между плотом и нефтью — тогда он начинал грести. Я тоже попробовал по его примеру воевать с пламенем. Но это было дьявольски трудно. Тяжелая доска не повиновалась мне, она так и стремилась навсегда уйти под воду.

Но теперь у нас началось глухое, отчаянное соревнование. Нет, я не мог уступить, и не потому, что я был командир, и не потому, что помнил о том, что нас разделяло. В эту минуту я забыл обо всем на свете, кроме одного. Мы все должны жить.

Несколько горящих капель упало на баул, и он начал тлеть. Надо было потушить брезент немедленно, но я не решался выпустить из рук доску. Чуть только я переставал отбрасывать горящую нефть, как пламя сразу же бросалось к настилу. Меня охватило отчаяние. И вдруг я увидел, что Логинов, не выпуская из левой руки доску, изогнулся и, ловко схватив правой баул за ручку, быстро окунул его в воду и бросил назад.

Неожиданно плот обо что-то ударился, и я едва устоял на ногах. Позади раздались крики:

— Осторожнее!.. Сюда!.. Сюда!..

Я оглянулся. Несколько бойцов на железном баркасе, с баграми в руках подошли к нам вплотную. Двое из них быстро перепрыгнули через борт, подбежали к полковнику, осторожно перенесли его в лодку, а затем вернулись за шофером. Я бросил доску и схватил баул. Но его у меня тут же отобрал Логинов.

— Товарищ командир! Залезайте быстрее. Я вам его подам, — и вскочил за мной в лодку.

Мы вернулись к себе на батарею поздно вечером. Обе руки у меня были забинтованы. Только на берегу я почувствовал боль от ожогов. Начальник политотдела уже знал обо всем, что произошло, и считал и нас и документы погибшими. Но я передал ему и баул и пакет для командарма, и у меня еще хватило сил добрести до своего блиндажа...

•А на другой день утром я встретил на тропинке Логинова. Он чистил на куске газеты автомат. Увидев меня, он встал.

Я подошел к нему и сказал:

— Слушай, Василий!.. Вот что я тебе, друг, скажу... Тебя, конечно, представят к награде. Но это дело особое. А мне очень хочется дать тебе рекомендацию... Не откажи!

Он улыбнулся:

— Не откажу, товарищ командир.

Вечером мы единогласно приняли его в партию, а на другой день начальник политотдела Сергеев пришел к нам на батарею и вручил ему партбилет. Один из тех, что был в спасенном им бауле. А еще через несколько дней мы выбрали уже постоянного парторга, Соколенка, освободив от этой обязанности Фомичева...

Вот и конец этой давней истории. Мы говорим иногда: «школа жизни», но не всегда до конца понимаем смысл этих слов. Подлинная зрелость приходит к нам в суровых испытаниях.

С этого дня я перестал утверждать, что стоит мне взглянуть на человека, и я вижу его «насквозь»...

ЖОЗЕФИНА

Березкин неожиданно нажал на тормоз. Машина закрипела. Курбатова качнуло вперед, и он больно ударился лбом о ветровое стекло.

— Вот черт! — вскрикнул Курбатов. — Потихе не можешь?

На обочине дороги, привалившись спиной к большому тополи, полулежала молодая женщина в клетчатом пальто. Руки бессильно откинута в стороны. Во всем облике беспомощность и обреченность.

— Я сам, — сказал Курбатов, вылез из машины и пошел к дереву.

Когда он приблизился, женщина вялым движением отвела от лица волосы. В глазах ни удивления, ни испуга.

Ее лицо показалось Курбатову как будто знакомым. Это ее они сегодня чуть не заделали крылом машины, когда утром Курбатов спешил в дивизию, дравшуюся у моря.

Они встретили колонну людей, растянувшуюся на добрый километр. Впереди шел пожилой человек в синем берете, держа в руках флажок, какими украшают елку. Увидев военную машину, он поднял флажок.

Люди занимали всю ширину дороги, тащили рюкзаки, узлы и чемоданы. По шоссе брела Европа — обездоленная, униженная, измученная гитлеровцами.

Молодая женщина, в клетчатом пальто, с рассыпавшимися волосами, бежала, не обращая внимания на ехавшую навстречу машину. И Березкину пришлось затормозить, чтобы не зацепить ее крылом.

Да, несомненно, это она.

— Что с вами? — спросил Курбатов по-английски.

Она пожала плечами и покачала головой.

— Что с вами? — спросил он, переходя на французский.

— Не могу больше шагать.

— Вы француженка?

— Да.

— А где же все ваши?

Женщина неопределенно махнула рукой.

— Садитесь в машину. Мы отвезем вас на сборный пункт, — сказал Курбатов, с трудом подбирая нужные слова.

Француженка не обрадовалась и не оживилась. Кивнула головой и медленно поднялась. Березкин протянул руку, помог сесте в машину, потом нажал на газ.

Березкин тихо посвистывал за рулем. Когда-то он был водителем такси и даже называл себя «вольным охотником», но за четыре года войны привык к субординации. Начальство молчит — первым не заговаривай.

Потом в небе появился самолет. Какому-то немецкому летчику взбрело в голову сбросить последнюю бомбу на пустынном шоссе. Может быть, увидев вынырнувших из-за облаков «лагов», он просто решил избавиться от груза.

Курбатов услышал свист летящей бомбы. Почти одновременно с этим заскрежетали тормоза машины. В одно мгновение Курбатов выскочил и, схватив француженку за руку, бросился вместе с ней в кювет. Березкин с автоматом в руках залег в придорожной канаве.

Разрыв громыхнул рядом. И совсем близко от головы Курбатова пролетело и воткнулось в землю смятое колесо.

Когда Курбатов поднялся на ноги, Березкин понуро стоял около груды перекореженного металла. Это были останки их многострадальной «эмки».

— Так! Приехали, значит, — озадаченно произнес Курбатов. Он обошел вокруг искалеченной машины. — Ну-ка, Березкин, погляди, может, мешок с едой сохранился.

Березкин постоял, повздыхал, потом отогнул кусок опаленной жести, служившей прежде крышкой ящика, вытащил оттуда вещевой мешок; сквозь брезент бутрились консервные банки.

— Ну вот, — уже не так грустно произнес Курбатов. — И за это спасибо. Заправимся — и в путь на собственных колесах. А вот как быть с нашей дамой? На руках ее нести, что ли?

— Взвалили на свою голову! — уныло отозвался Березкин. — Не остановились бы, и машина уцелела бы.

— Хватит! — строго сказал Курбатов. — Открывай консервы, есть хочется.

Они расположились на траве.

— Прошу вас! — Курбатов протянул француженке банку тушенки и большой кусок хлеба.

Им вдруг овладела беспричинная веселость, как это

бывает после большого напряжения или пережитой опасности. «А жизнь все-таки неплохая штука! — думал он. — Может быть, эта бомбежка — одно из последних испытаний, а дальше — мир, дом, большая любовь, которой у меня еще никогда не было, и черт его знает что еще!» Курбатову захотелось, чтобы и спутникам передалось его хорошее настроение.

— Уж раз мы с вами оказались в ресторане за одним столиком, разрешите узнать, как вас зовут? — спросил он француженку, не беспокоясь больше о своем плохом произношении.

— Жозефина... Жозефина Молье, господин офицер, — ответила она и неожиданно улыбнулась.

— Я — Курбатов, а это — Березкин. Вот мы и познакомились. За ваше здоровье! — И он шутливо поднял вверх свою банку с тушенкой.

Жозефина быстро справилась со своей долей.

— Ну что ж! — сказал Курбатов. — Теперь у нас будут силы... Что вы намерены делать?

— Останусь здесь!.. Может быть, мне еще раз повезет и какая-нибудь машина снова подберет меня, — она слабо и грустно улыбнулась.

— Понятно, — сказал Курбатов. — Хотите отдаться на волю слепого случая?

Лицо ее снова приняло выражение полного безразличия, как тогда, когда Курбатов увидел ее на обочине дороги.

— А я вам не верю! — вдруг резко сказал он. — Да, не верю. Просто вы считаете нас недостойными спутниками... Неужели же вам не нравится такой красавец, как Березкин? А ну, Березкин, подтянись, покажи себя! — проговорил он по-русски.

Березкин поднялся, лениво одернул гимнастерку и надвинул на лоб фуражку, решив, что майор просто-напросто ухаживает за француженкой и хочет показать ей свою власть над ним, Березкиным.

— Каков, а? Таких в Париже не сыщешь!

— Конечно! — улыбнулась Жозефина. — Будь другое время, я бы его нарисовала.

— Вы художница?

Жозефина кивнула.

Курбатов вытащил из полевой сумки карту местности. Порывистый ветер рвал края, хлопал, надувал, стремясь вырвать карту из его рук.

— Сборный пункт репатриантов в Дюссельдорфе... Отсюда километров двадцать, — прикинул он, — но в километре на север есть развилка дорог. Если мы повернем налево, то значительно сократим расстояние.

Он поднялся, отломил от дерева толстый сук, обрезал перочинным ножом ветки и подал Жозефине.

— Вставайте, Жозефина! Пошли! — сказал он решительно. — Если палки будет недостаточно, можете опереться на любого из нас.

Березкин в последний раз похлопал «эмку» по смятому крылу, поправил на своем плече автомат и зашагал по дороге вслед за Курбатовым и Жозефиной.

Жозефина брела медленно, опираясь на палку, и Курбатов старался приспособить к ее шагу свой.

Березкин нагнал их и пошел, соблюдая некоторую дистанцию, подчеркивая этим, что он проявляет в отношении майора мужскую солидарность.

— Откуда вы? — спросил Курбатов. — Из лагеря?

— Нет, я жила в Кенигсберге. Работала у фабриканта Морица Гецке. Нянчила его детей.

— Почему вы не отправились на запад?

— Разве рабы добровольно следуют за своими хозяевами? Я ушла...

— Куда же?

Жозефина остановилась. Курбатов подумал, что ей стало плохо, и протянул руку, чтобы поддержать ее, но она мягко отстранилась.

— Нет, нет, мне теперь гораздо лучше... Просто ваш вопрос...

— Вам не понравился мой вопрос?

— Не знаю, поймете ли вы меня. Ведь у вас, русских, кажется, другие взгляды на любовь...

Курбатову стало неловко.

— Простите меня, я не думал... — проговорил он.

— А может быть, и поймете, — перебила его Жозефина; она на мгновение задумалась. — Я ушла к человеку, которого любила больше жизни. Вокруг горе, смерть, бомбы рвутся... А я была так счастлива, как никогда до тех пор...

— Была? Значит, он погиб? — спросил Курбатов. Судьба Жозефины показалась ему совершенно ясной: неожиданно вспыхнувшая любовь, короткое счастье, гибель любимого человека, отчаяние и желание уме-

реть самой. Такие истории он уже не раз слышал во время войны.

— Нет, он жив.

Видимо, его интернировали фашисты или они с Жозефиной просто потеряли друг друга на дорогах войны, и теперь ей кажется, что они никогда не увидятся.

— Не огорчайтесь, Жозефина, вы еще встретитесь и будете счастливы.

— Разве вы не поняли, что все кончено?

Остается только предположить, что она влюбилась в гитлеровского офицера.

— Если бы вдруг случилось так, что я полюбила гитлеровского офицера, я была бы готова к самому худшему, — ответила Жозефина на вопрос Курбатова. — Нет, он француз. Известный музыкант Поль Венсан. Ему предложили концерт в Кенигсберге, и он согласился: он говорил, что его дело — только музыка...

Березкин неожиданно прибавил шагу и стал тревожно насвистывать.

— Ты чего? — спросил его Курбатов.

— Я так думаю, товарищ майор, уж больно много по дорогам этих иностранцев ходит. Как бы не задержали продвижение наших войск!

— Это мы с тобой войска, что ли? — засмеялся Курбатов. Жозефина вопросительно посмотрела на него. — Он боится, что без него Кенигсберг возьмут!

На развилке они свернули влево. Это была уж совсем пустынная дорога.

Жозефина молчала. Она стала прихрамывать. Курбатов рассчитывал, что лишь часа за три им удастся добраться до ближайшей тыловой части.

Под облаками строгим строем прошли на Кенигсберг двенадцать «петляковых». Издалека доносился гул артиллерийской стрельбы.

— Скоро мы все заживем мирной жизнью! — сказал Курбатов. — Березкин вернется в Москву... Ох и плохо тебе, Березкин, на первых порах будет. Тут ездись, никаких правил уличного движения тебе нету. А там начнут милиционеры штрафовать!

— Ничего! — ответил Березкин. — Я как увижу первого милиционера, так на радостях полезу с ним целоваться!

Курбатов перевел его слова Жозефине, и она улыбнулась.

— А вы, Жозефина, вернетесь во Францию, возьметесь за свою живопись и постепенно все забудете...

— Не знаю, — задумчиво ответила француженка. — Мое сердце теперь мертво.

Курбатов взглянул на ее бледное лицо, подернутое тенью усталости, и подумал: война надломилась эту женщину. Найдет ли она в себе силы преодолеть те испытания, которые ей еще предстоят, — ведь надо начинать жизнь сначала...

— Товарищ майор! — вдруг крикнул Березкин. — Смотрите!

Под облаками летел тяжелый немецкий транспортный самолет. Он пробивался к Балтийскому морю. С двух сторон его зажали «миги». Они кружились вокруг него, посылая пулеметные очереди. Ю-50 маневрировал: он то опускался, то поднимался, все время стремясь войти в облака. Но облака были мелкие, весенние, пронизанные солнцем. Они служили плохой маскировкой для огромного фюзеляжа с ярко-желтыми крестами.

— Сейчас собьют! — крикнул Березкин. — Обрубят ему хвост, прошьют бок, и закувыркается...

Правый мотор Ю-50 задымился, и самолет резко пошел на снижение. Шоссе здесь было прямое, а по бокам ни дерева, ни телеграфного столба, только низкорослые кусты, покрытые молоденькими мелкими листьями.

— Черт подери! — воскликнул Курбатов. — Он летит прямо на нас. Смотрите, он выпускает шасси!.. Ложитесь!

Ему снова пришлось схватить Жозефину за руку. Они отбежали от дороги и опустились за кустами. Курбатов вытащил пистолет, а Березкин приготовил автомат к стрельбе.

Ю-50 коснулся колесами шоссе, мягко подпрыгнул и стремительно побежал по асфальту, оставляя за собой шлейф белого дыма. Огромный фюзеляж поравнялся с кустами. В окнах замелькали лица людей. Кто-то прижался к стеклу, высматривая местность.

Пробежав еще метров пятьдесят, самолет остановился, гудя и сотрясаясь от продолжающих работать моторов.

— Стрелять? — обернулся к Курбатову Березкин.

— Подожди.

— А вдруг улетит?

— Не улетит,— сказал Курбатов,— того и гляди взорвется.

Березкин щелкнул затвором своего автомата и, пристраиваясь поудобнее, плотно прижался к земле. За спиной Курбатова хрустнула ветка. Он обернулся. Жозефина подползла к нему и, сдвинув брови, острым взглядом смотрела на шоссе.

— Назад! — строго сказал он. — Получите шальную пулю.

И, махнув рукой Березкину, перебежками от дерева к дереву он стал приближаться к машине.

Моторы заглохли. Дверь приоткрылась. Сквозь небольшую щель осторожно просунулась круглая голова. Человек осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, спрыгнул на землю. Ему сбросили автомат. Затем один за другим спрыгнули еще три гитлеровца. Двое из них были в комбинезонах летчиков.

— Сколько же их там? — сказал сам себе Курбатов. Он понял, что нельзя терять время — врагов много, они могут занять круговую оборону, — и первым выстрелил в тучного немца, который медленно и осанисто шел вдоль самолета.

Гитлеровец повалился на бок. Березкин дал длинную очередь по остальным. Они тоже упали.

Несколько минут из самолета никто больше не показывался. Казалось, там уже никого не осталось. А может быть, выжидают. Курбатов подполз еще ближе. Дым медленно стелился вдоль шоссе, сначала он был плотный, потом ветер начал рвать его на клочки, и они постепенно рассеивались, путаясь в ветвях кустарников.

Курбатов вдруг увидел, что толстый гитлеровец, судя по мундиру, полковник, которого он считал убитым, пытается приподняться. Он хотел еще раз выстрелить в него, но побоялся себя обнаружить.

Эта осторожность спасла его. В дверях самолета показался высокий, худощавый человек в светлом плаще, отнюдь не военного образца. Он взмахнул рукой, и в сторону кустов, где прятался Березкин, полетела ручная граната. Она еще не успела взорваться, как коротко ударил автомат, человек в плаще схватился за плечо и полетел вниз на гудрон шоссе.

Курбатов поднял пистолет и стал яростно стрелять

по окнам самолета. Он словно дал выход пламени, оно вырвалось из разбитых стекол и стало лизать обшивку. Теперь Курбатов больше не сомневался — в самолете никого не могло быть.

Толстый полковник не шевелился. Но тот худощавый, в плаще, что бросил гранату, медленно полз по направлению к кювету, оставляя за собой кровавый след.

С минуты на минуту Ю-50 взорвется, а тогда погибнет и этот. Курбатов выругался. Спасать врага, рискуя собственной жизнью. Чего только на войне не бывает!

Курбатов подавил в себе последние колебания, вскочил на ноги и, держа на всякий случай пистолет наготове, опрометью пробежал мимо горевшего самолета к краю кювета, до которого успел доползти раненый. Раненый не сопротивлялся и громко стонал. У него было худощавое бледное лицо с черными усиками. Курбатов ощупал его карманы — оружия не было. Он взвалил раненого на себя и, спотыкаясь от тяжести, потащил в кусты. Но вдруг тот словно очнулся и стал судорожно рваться, до боли царапая шею Курбатова.

— Да тише вы! — крикнул Курбатов, уже не в силах больше терпеть боль.

Скинул с себя беспокойную ношу, и раненый шмякнулся на траву у дерева. Его узкое лицо исказилось от боли.

Курбатов вытащил платок и приложил к саднящей шее.

Из кустов выскочил Березкин и, увидев в руках Курбатова окровавленный платок, яростно вскинул автомат.

— Березкин! — закричал Курбатов. — Не смей!.. Опусть автомат!.. Опусть, приказываю!

Березкина била дрожь. Все напряжение последних часов: ожидание смерти под свистом бомбы, злость за потерю машины, усталость от долгого пути — требовало бурной разрядки.

Курбатов сильным ударом выбил автомат из рук Березкина, и раненый вдруг, охнув, откинулся к дереву.

— Перевяжи его!

Березкин медленно приходил в себя.

Курбатов разглядывал раненого. Подвижное лицо,

лохматые черные брови, удивительно не соответствующие тоненькой, тщательно подбритой полоске усов. Курбатов невольно заметил небольшую ладонь с длинными пальцами. Почему-то эти длинные пальцы с коротко остриженными ногтями вызвали у него обостренное недоброе чувство. Холеные ручки, только что метнувшие гранату!

— Перевяжи его! — повторил он.

Березкин скорее автоматически, чем послушно, опустился на колени и, вынув из кармана бинт, нагнулся к пленному; ухватил обеими руками рубашку ниже ворота, и она затрещала, разрываясь до самого низа; затем разом стянул с плеч вместе с рубашкой и плащ и пиджак, обнажив впалую грудь, поросшую рыжим пушком.

Пуля прошла чуть выше локтя, очевидно задев кость. Раненый взглянул на руку и вдруг заплакал.

Удивительное дело, Курбатов, ожидавший чего угодно, но не этих слез, вдруг почувствовал, что злость постепенно уступает чувству, к которому примешано ощущение сочувствия. Он привык ненавидеть врага, но, когда увидел перед собой узкие плечи, выходящие колечки рыжеватых волос на груди, увидел слезы, смутился.

— Что это он? — спросил Березкин. — Рехнулся?

— Бинтуй! — со злостью приказал Курбатов.

Березкин развернул бинт, но раненый отшатнулся и истерически закричал:

— Убейте меня! Убейте!..

— Тоже француз? — спросил Березкин; бурное сопротивление его озадачило.

— Но! Но! Я не фашист, — вдруг сказал человек, протягивая здоровую руку ладонью вперед, словно отгораживая себя от несправедливого обвинения. — Я музыкант!

— Музыкант! — удивился Курбатов и вдруг пожалел, что, рискуя, тащил его на себе. — Когда вы бросали гранату, — зло сказал он, — вам казалось, что вы бьете в барабан!.. Бум!.. Вы и в самом деле музыкант? — переспросил он.

— Да, был им еще десять минут назад, — проговорил француз, — теперь для меня все кончено. Музыкант Поль Венсан прекратил свое существование...

Поль Венсан! Курбатов невольно посмотрел в ту

сторону, где находилась Жозефина. Он начинал понимать многое. Несколько мгновений молчал, как-то заново рассматривал человека, которого старался представить себе совсем недавно, когда шел по дороге. Почему-то он представлял себе его совсем иным. Каким, точно сказать не мог бы, но совсем иным...

Курбатов растегнул сумку, вынул из нее записную книжку и карандаш.

— Как вы оказались в самолете? — спросил он.

— Меня пригласил полковник Гецке, — ответил Венсан, следя за рукой Курбатова, записавшего ответ.

— Откуда летели?

— Из Кенигсберга.

— Куда?

— В сторону Мюнхена.

Курбатов помедлил.

— Вы женаты? — вдруг спросил он.

Длинные пальцы Венсана крепче сжали полы пиджака на груди. Его знобило.

— Я был женат, — проговорил он.

— Так, — сказал Курбатов и снова поглядел в сторону кустов. — Почему же все-таки вас вывозили из Кенигсберга с таким почетом?

— Музыка не имеет национальности, — сказал Венсан напыщенно.

— Вы думаете? — задумчиво спросил Курбатов. — А вот я знаю женщину. Она любила одного знаменитого музыканта, но когда узнала, что он предатель-фашист, то бросила его...

Поль Венсан молчал. Он смотрел перед собой, о чем-то напряженно думая.

— Вы меня убьете? — вдруг спросил он.

Курбатов усмехнулся:

— Нет, зачем же, музыкант Поль Венсан, по-моему, сам покончил с собой...

Вдали на шоссе Курбатов вдруг заметил темную точку. Она приближалась. Нет, он не обманулся. До него донесся шум машин. Он выбежал на шоссе. Надо остановить их подальше от дымящегося самолета. Теперь он уже явственно различил вездеход, а за ним полуторку с солдатами. Когда машины были уже метрах в двухстах от него, Курбатов бросился им навстречу, размахивая руками.

В вездеходе сидел комендант штаба армии Фису-

нов. В сопровождении целого отделения солдат он петлял по дорогам, разыскивая подбитый немецкий самолет.

Через несколько минут Поль Венсан лежал в полуторке, на шинелях, которые скинули с себя солдаты.

Курбатов попросил Фисунова немедленно отправить машину вперед, а вездеход немного задержать.

Он нашел Жозефину там, где ее оставил. Она сидела на поваленном дереве, и по ее острому взгляду он понял, что она тревожно ждала его.

— Ну, Жозефина, — сказал он, улыбаясь, — сейчас мы поедем.

— Кто-то остался жив? — спросила она.

— Да, одного раненого мы отправили в госпиталь. Ранение неопасное... Будет жить... Ну, пошли, Жозефина.

Когда они отъехали километра три, позади раздался взрыв страшной силы. Жозефина невольно вздрогнула. Это наконец взорвался самолет.

...Еще один поворот шоссе. И машина вышла на прямую. Теперь до штаба было уже недалеко.

— До свидания, Жозефина, — сказал Курбатов.

Жозефина не сразу поняла его. Она сидела, немного подавшись вперед, и была где-то далеко в своих мыслях. Тогда Курбатов пожал ее руку, лежавшую на сиденье машины, и она повернула к нему свое измученное лицо. В ее глазах не было уже ни прежнего безразличия, ни отрешенности, — только печаль много пережившего человека.

— До свидания, господин Курбатов! — Жозефина придвинулась к нему и неожиданно крепко поцеловала...

На развилке дорог Курбатов вышел из машины и пошел к штабу. Через несколько шагов он оглянулся. Вездеход уже удалялся на большой скорости, и он разглядел лишь вскинутую кверху руку Жозефины. Она прощалась с ним...

А позади скрипели шаги Березкина.

— Товарищ начальник, — сказал он, приближаясь, — уж вы похлопочите, чтобы командир автобата выдал другую машину...

Курбатов вздохнул, похлопал Березкина по плечу и прибавил шагу...

Поток машин устремлялся по улице Горького к стадиону «Динамо». Июньский день был раскален. Пахло асфальтом, и вдалеке, сквозь дрожащую дымку, дома виднелись оранжевыми, желтыми, зелеными пятнами, словно и их растопило солнце.

Машины блестели, рассыпая тысячи ярких искр. В этом сиянии улица казалась утренней и праздничной.

Алексей вел машину искусно, ловко пробираясь на большой скорости в сложном лабиринте, который образовывали автомобили, идущие впереди и по бокам.

— Так можно разбить машину, — сказал я наконец.

Алексей повернул ко мне смеющееся лицо:

— Что ж, и это иногда приносит пользу.

Перспектива провести два часа на стадионе под палящим солнцем не очень меня увлекала. Я не любитель футбола. С гораздо большей пользой для себя можно полежать на берегу Москвы-реки, где-нибудь в Серебряном бору.

Но он был упрямый человек и вез меня прямо в пекло на самой большой скорости, которую позволяло движение.

И все же, когда впереди показались флаги стадиона и машины стали притормаживать, так как многотысячная толпа, выходящая из метро, запрудила улицу, я попытался в последний раз воздействовать на него.

— Нам, наконец, надо серьезно поговорить, — решительно сказал я. — Все сроки прошли, я больше ждать не могу. Редактор...

— Пошли ты своего редактора, — перебил он, — к черту. Война кончилась три года назад. Я успел уже окончить два курса академии, а он все еще застрял под Курской дугой.

И, засмеявшись, начал обгонять очередную машину.

— Осторожнее! — сказал я.

— Эх, милый, — улыбнулся он, — не знал ты меня до войны, когда я был шофером... Я бы показал тебе, что такое настоящая езда.

— Значит, ничего больше не расскажешь? — спросил я, выдержав суровую паузу.

Он молча пожал правым плечом. Я почувствовал, что задание редактора останется невыполненным. В самом деле, что еще мог Алексей рассказать о себе? Журналисты написали о нем десятки очерков, в которых подробно изложены все его боевые подвиги.

Впервые мы встретились на Курской дуге, накануне пятого июля сорок третьего года, когда началось великое сражение. Он только что прибыл со своей танковой частью и командовал средним танком.

Я работал тогда военным корреспондентом фронтовой газеты и должен был написать очерк о молодом танкисте. Командир части указал на старшего сержанта Алексея Сорокина. И под танком, куда мы спрятались от сильного дождя и артиллерийского обстрела, состоялся наш первый разговор. Собственно, говорил только я, а он иногда отвечал «да» или «нет». Он был явно смущен тем вниманием, которое ему оказал представитель печати.

В боях на Курской дуге Сорокин получил орден Красного Знамени. Позднее, при форсировании Днепра, он одним из первых переправился на правый берег — за это ему присвоили звание Героя Советского Союза. Вскоре он стал младшим лейтенантом. И так как у него проявились недюжинные способности командира, то его быстро продвигали по службе, и к концу войны Алексей стал майором и командиром дивизиона тяжелых танков.

На фронте мы встречались часто. Почти после каждого большого боя я помещал о нем во фронтовой газете статьи. О нем писали и в московских газетах. Но слава не испортила его. Он оставался хорошим товарищем и, казалось, от боя к бою становился неуязвимей. Такое счастье было у этого человека. Смерть обходила его стороной.

После войны мы долго не виделись. Я знал, что он уже учится в военной академии, но, занятый делами развездного корреспондента, никак не мог выбрать время, чтобы с ним встретиться.

И вдруг недавно, когда я оформлял документы в Фергану на строительство нового канала, редактор отложил в сторону командировочное предписание и сказал:

— У вас будет дело в Москве. Через несколько дней мы даем полосу «Бойцы вспоминают минувшие дни».

Вы, наверное, знаете о судьбе своих фронтовых товарищей?

— Знаю,— ответил я, сразу же подумав об Алексее Сорокине.

— Нужно будет, чтобы кто-нибудь из них вспомнил свой самый значительный боевой эпизод.

В двух словах я рассказал о Сорокине редактору и получил задание встретиться с ним и написать очерк. Я разыскал телефон военной академии и через полчаса путем сложных переговоров с различными дежурными наконец попал в общежитие, а еще через несколько минут услышал его низкий, несколько запинаящийся — следствие контузии — голос.

— На проводе военный корреспондент фронтовой газеты капитан Гусев,— крикнул я в трубку.— Как ваши боевые успехи, товарищ майор Сорокин?

В телефоне возникла секундная пауза, словно Сорокин собирался с мыслями и припоминал меня, а затем я услышал его радостный возглас:

— Гусев! Я тебя недавно вспоминал! Хорошо, что позвонил. А ты как живешь, старый боевой конь?!

Я не стал ему рассказывать о себе по телефону, и мы договорились увидеться вечером в сквере у Большого театра.

— Как влюбленные,— пошутил он.

— После долгой разлуки,— ответил я.

При встрече мы пожали руки друг другу так, словно и не было трехлетнего перерыва.

— Вот и встретились, товарищ корреспондент,— сказал он, и на его широкоскулом загорелом лице вдруг появилась та смущенная улыбка, с которой он встречал меня на фронте. За этой улыбкой тогда стояло: «Опять ты пришел по мою душу. Опять рассказывай тебе боевые эпизоды». И хотя встреча наша произошла в центре Москвы в субботний вечер, среди отдыхающих, которые толпились у входа в Большой театр, не желая раньше времени идти в жаркий зал, и сидели на скамеечках сквера, читая и разговаривая друг с другом, и ничто уже не напоминало о давно отошедшей войне, он, как мне показалось, немного удивился, когда увидел меня в пиджаке.

Некоторое время мы прогуливались по дорожкам и вспоминали о товарищах, о встречах, о былом. До этого момента я думал, что все хорошо помню, а тут оказа-

лось, что имена многих людей, с которыми я испил не одну чашу горя, утрачены в памяти. Я не помнил имени полковника, начальника политотдела бригады, с которым во время прорыва ехал в одном танке и который заменил смертельно раненного стрелка. Не помню и других... И от этого на душе стало горько...

— Помнишь Дарницу? — спросил он.

— Помню! Хорошо помню. Твой танк подорвался на mine, но, к счастью, ты шел на большой скорости, и взрывная волна повредила лишь левую гусеницу.

— Не забыл, оказывается, — улыбнулся он.

Хорошее, светлое чувство охватило меня. Я вдруг понял, что не только три года, но даже десять лет не смогут отдалить нас друг от друга, что пережитое вместе — сильнее времени и не поддается разрушению. По всей стране рассеяны незримые полки 1-го Украинского. Их никогда уже не собрать вместе, но, кажется, если бы вышел на широкое поле Ватутин и скомандовал: «Первый Украинский фронт, на защиту Родины становись!» — то не только живые, но и мертвые заняли бы свои места в боевом строю.

Лицо Сорокина за эти годы изменилось, остались те же широкие скулы, тот же короткий острый нос, но глаза стали другими, много думающего и много знающего человека.

Он задумчиво смотрел перед собой, воскрешая в памяти давние события, а потом сказал:

— Ну, довольно гулять. Поехали на «Динамо». По дороге будем вспоминать...

2

Черный важный «шевроле» на полной скорости промчался по Садовой-Каретной, притормозил немного на углу площади Маяковского и свернул на улицу Горького, в сторону Ленинградского шоссе. Он летел вперед с тихим шелестом, коротким фыркающим гудком повелительно торопя прохожих, пересекающих улицу. На его полированных крыльях, как на гребнях волн, вспыхивали солнечные блики. Задние и боковые стекла, задернутые белыми шелковыми занавесками, создавали в кабине таинственную полутьму, в которой любопытный взгляд ничего не мог разобрать. Машина, должно быть, ходила тут часто, и регулировщики были

с ней знакомы, потому что красный сигнал быстро сменялся зеленым, и она мчалась дальше, обгоняя троллейбусы, «виллисы», «эмки» и ЗИСы.

Проехав Белорусский вокзал, она прибавила скорость, и теперь уже даже регулировщики насторожились, а двое мотоциклистов в охотничьем экстазе кинулись за ней вдогонку, но у стадиона «Динамо» выдохлись и повернули назад.

У поселка Сокол «шевроле» немного притормозил, так как из метро выходил народ, и, пробившись сквозь толпу, опять устремился вперед, где бетонная река Ленинградского шоссе течет между зелеными полями.

В машине не было никого, кроме шофера. Он, под стать своей машине, был одет в черный костюм, пригалстук, брюки отутюжены — в общем, имел вид «ответственного» шофера, совсем непохожего на своих фронтowych товарищей.

Все знаки внимания регулировщиков он принимал с таким лениво-снисходительным выражением лица, точно они предназначались исключительно ему.

Навстречу быстрому «шевроле» бежала зеленая помятая, выдавшая виды фронтовая «эмка». Одна ее фара была разбита, другой вовсе не было, и от этого она выглядела подслеповатой. На кузове чернели очень необычные для этих мест разводы. Здесь о войне напоминали лишь серебристые аэростаты, блестящие среди рошц, да крытые чехлами зенитные батареи. «Эмка» была похожа на солдата, вышедшего из самого пекла и не успевшего смыть следы битвы.

Шофер «эмки», привыкший к раздолью фронтовых дорог, вел машину посреди шоссе. «Шевроле» сердито рывкнул. «Эмка» не ответила, но приняла правей, не спеша и тоже с достоинством.

Расстояние между ними стремительно уменьшалось. «Шевроле» злобно и продолжительно заревел и так с ревом и впился в левый борт «эмки», которая слишком поздно решила, наконец, уступить.

Стекла со звоном полетели на землю, «шевроле» затрясся, укрощенный поздно нажатými тормозами, — радиатор и левая фара вместе с крылом оказались смятыми, и вода, перемешанная с маслом, струей текла под колеса.

Вся левая сторона «эмки» — дверцы и подножка оказались вмятыми внутрь, разорванными, как череп под

ударом приклада. Торжественный въезд в Москву не состоялся.

Машины, дернувшись, замерли, как смертно схватившиеся противники перед решающим ударом.

Но потом дверца «эмки» открылась и оттуда выскочил шофер — военный паренек в звании старшего сержанта. Он придерживался рукой за разбитый лоб. Из щеки, поцарапанной осколком стекла, кровь капала на выцветшую гимнастерку.

Одним взглядом оценив всю непоправимость происшедшего, он бросился к «шевроле».

— Ты что наделал! — крикнул, забыв о боли и о том, что кровь из порезанной щеки большим пятном расплывается по гимнастерке. — Заснул за рулем! Куда смотрел, черт тебя побери...

— Кто ездить не умеет?! — переспросил шофер «шевроле», смерив старшего сержанта яростным взглядом. — Ты сам ломовик! Угробить тебя надо было совсем, к чертовой матери!

— Меня... угробить? Да тебя первого нужно в расход свести.

И вдруг старший сержант, всхлипнув, заплакал горькими слезами. И по тому, как он тоненько-тоненько посапывал, по волосам, выбившимся из-под фуражки, по поясу, выдававшему округлые бедра, до шофера «шевроле» внезапно дошло — перед ним девушка.

Он с сожалением взглянул на свою машину, которая продолжала сверкать так же победно, как и минуту назад, но это был блеск бездушного лака, а не жизни.

— Реветь нечего, — жестко сказал он, — отвечать все равно будешь!

Немного смягчившись, он вытащил из бокового шкафчика чистое полотенце и, намочив его под горячей струей воды, бегущей из радиатора, протянул:

— Вытри лицо!.. Красавица!..

Девушка враждебно отказалась, достала из кармана платок. Шофер не стал настаивать, скомкал полотенце, небрежно бросил его на сиденье и, скрестив руки, прислонился к кузову.

Мимо пробегали машины. Чтобы рассмотреть по-лучше все подробности столкновения, шоферы притормаживали немного, высовывали головы и почему-то улыбались, а затем, медленно отъехав, удалялись на

большой скорости, полные уверенности, что ничего подобного с ними случиться не может.

Он с тревогой подумал, что хозяин его уже ждет, нервничает, и что теперь придется оправдываться, и неизвестно, чем все это кончится. И от этого сожаление к девушке начало растворяться, уступая прежней жесткости.

— Ты откуда? — спросил он.

— С фронта, — ответила она.

— С какого фронта?

— С Воронежского!

— Вот тебя и отправят обратно, в штрафную роту!

— Уж не ты ли отправишь?

— Я хозяину доложу. Он тебя быстро пристроит.

— А я своему хозяину доложу, — сказала девушка, — тебе самому костей не собрать.

— А кто твой хозяин?

— Полковник, командир дивизии, вот кто!

Шофер «шевроле» усмехнулся:

— Ну и велик начальник! Да ты и он моему хозяину на ползуба.

— Не грозись, — сказала девушка, — может, твой хозяин и большой начальник, а ты сам... тыловой клоп... холуй...

Шофер «шевроле» побледнел.

— Помолчи! — крикнул он. — Я тебя сейчас...

Девушка смотрела на него спокойно и презрительно. Гимнастерка, натянутая на ее груди, обрисовывала сильный корпус, и руки ее были большие, привыкшие к труду.

— Ну, подойди... Дохленький...

Он сделал вид, что не слышал вызова, сел за руль, попробовал завести мотор. Но в нем что-то было сильно повреждено, после нескольких вспышек он умолкал.

У «эмки» был испорчен только кузов, но мотор остался в исправности. Девушка уже хотела отъехать, когда шофер «шевроле» вдруг просунул лицо в окно кабины и сказал:

— Стой! Пока не будет составлен акт, не смей трогаться!

Она спокойно сняла руку с рычага скоростей.

— Ну, составляй...

— Надо милиционера.

— Зови!

Она заглушила мотор и откинулась к спинке сиденья, смотря прямо перед собой. Он взглянул в зеркальце, привинченное над передним стеклом, и там встретился с ее глазами. Впервые его охватило легкое смущение. Ее серые глаза глядели на него насмешливо, и то, что она не обращала внимания на рану, которая слегка запеклась, но еще кровоточила, возбуждало в нем невольное, еще неосознанное уважение к ней.

Около машин уже толпились неизвестно откуда взявшиеся на пустынном шоссе мальчишки, и он, чтобы дать выход усталости и злости, велел им немедленно убираться прочь.

Приближались машины. Он поднял руку, но ни одна не остановилась. Наконец минут через десять ему удалось остановить грузовик, направлявшийся к Москве.

— Крепко поцеловались, ребятки! — весело крикнул шофер.

Он был готов принять участие в составлении акта, и ему даже нравилось выступать в роли третейского судьи. Он обошел машины, для чего-то поднял капот у «эмки», потом постучал по радиатору «шевроле»: «Хороша машина» — и наконец влез в своей промасленной робе на заднее сиденье, покрытое персидским ковром.

Шофер «шевроле» терпел эту развязность, подробно рассказывая, как все произошло. На середине рассказа «грузовик» перебил его и, подмигнув, сказал:

— А девка-то хороша...

Она продолжала сидеть за рулем, положив на него руки, и совсем не принимала участия в их разговоре. В полудреме слышала, как они спорили: «грузовик» утверждал, что «шевроле» мог больше принять вправо и что в данном случае надо учитывать, что товарищ ехал с фронта, а там не до правил уличного движения, и что столкновение произошло близко к середине дороги и кто их разберет, кто из них виноват.

Однако шофер «шевроле» оказался настойчивым, он шагами измерил шоссе, и оказалось, что «эмка» на полметра заехала за осевую линию.

Когда наконец начали составлять акт, «грузовик» спросил у них фамилии. Она справилась с болью и ответила: ее зовут Кузнецовой Марией Александровной; шофер «шевроле» назвался Сорокиным Алексеем Ивановичем.

Шофер грузовика, у которого был большой опыт в

делах о нарушениях дорожных правил, быстро, по всей форме составил акт, из которого вытекало, что основным виновником столкновения была «эмка». После этого он забрал у Сорокина полбутылки, тут же отпил добрую половину, вскочил в кабину и укатил.

— Ну? — спросила Кузнецова, подписав акт. — Вы удовлетворены?

— Вполне, — сказал Сорокин, пряча документ в боковой карман.

Она завела мотор и медленно подала машину назад. Он следил, как она разворачивается, и вдруг понял, что как только «эмка» уедет, он останется на дороге без всякой помощи.

Косой луч солнца лежал на ее лице, и он впервые заметил большую усталость в ее глазах. Разбитая, но не потерявшая еще способности двигаться «эмка» и эта девушка, испытывавшая столько же, сколько выпадает испытать бывалому солдату, казалось, были сплочены, как всадник и старый боевой конь.

«Эмка», пофыркивая, набирала скорость, чтобы обогнать «шевроле» и исчезнуть навсегда за поворотом шоссе.

Тогда в последний момент он положил руку на край дверцы:

— Вам, наверное, негде сделать ремонт?

— Это не ваша забота!

Он не отпускал дверцу.

— Я ведь могу поставить вашу машину в наш гараж.

— Испугались, что брошу? Ладно, привязывайте, дотяну! Трос — под задним сиденьем.

Он не нашелся что ответить и молча привязал свою машину тросом к «эмке».

И вот фронтальная «эмка» потянула блестящий «шевроле» обратно.

Сорокин рулил, притормаживая, когда «эмка» уменьшала ход, стараясь идти с ней вствор. Сквозь маленькое окошко позади кузова «эмки» он видел затылок девушки. Она сняла фуражку, и волосы рассыпались вокруг плеч.

Он думал о ней, досадливо посмеиваясь. Не решался признать, что девушка оказалась лучше и душевнее его. «Эта даст жизни, — думал он, — свяжись только с ней. Такая душу вон выпустит». Но по тому, как она

вела машину, он определил, что дело она свое знает, и, пожалуй, не хуже его.

Они проехали все заставы. Документы у нее оказались в порядке. Только в одном месте комендантский патруль приказал ехать переулками, чтобы не привлекать внимания на главных улицах своим неприглядным видом.

Через полчаса они добрались до гаража, недалеко от площади Маяковского. И хотя Сорокин и дежурный механик уговаривали ее остаться — наотрез отказалась. Тогда слесарь, как мог, выправил кузов, на что ушло минут сорок.

За это время Сорокин успел выяснить, что старший сержант направляется к командиру дивизии в госпиталь. Лечение как будто подходит к концу, и полковник вскоре должен снова отправиться на фронт. В Москве у Кузнецовой никого нет, и она будет все эти дни дожидаться полковника у госпиталя, живя в машине, так как летние ночи теплые и можно спать на заднем сиденье, укрывшись шинелью.

Потом она уехала, и, когда зеленая «эмка» удалялась, он ощутил в себе незнакомое, тревожное чувство. Словно открылась какая-то дверь, и только он успел заглянуть в другую жизнь, как дверь захлопнулась. И как будто ничего не было, но видение уже проникло в душу.

«Эмка» медленно подъехала к повороту, он в последний раз увидел девушку, и вдруг с мучительной ясностью ощутил, что «шевроле» его поломан и что дырявая «эмка» гораздо лучше этого сияющего трупца с персидским ковром. Он с ненавистью ударил «шевроле» ногой, как будто тот был виноват в его беспомощности, и пошел в гараж.

С тех пор как только вдали появлялась М-1 зеленого цвета, он увеличивал скорость, догонял ее, но машина всегда оказывалась не той, которую искал...

3

Он рассказывает старую историю о встрече с девушкой, которая промелькнула в его жизни, а я думаю о том, что завтра понедельник. Дома я уже перечитал в старых фронтовых газетах свои очерки и понял, что

использовать их можно, но на тот крайний случай, если эта встреча ничего не даст.

У стадиона Алексей повернул к стоянке. В этот же самый момент откуда-то со стороны выскочил наперерз трофейный БМВ. Шофер не мог не видеть нашей машины, но не тормозил, считая, очевидно, что мы обязаны дать ему дорогу.

Я до боли сжал ручку дверцы. Алексей рванул на себя ручной тормоз. Меня бросило вперед, и если бы не вовремя вытянутые ноги, лоб мой наверняка украсился бы здоровенной шишкой.

— Проезжай, чего стала! — закричал Алексей с интонацией профессионального шофера.

БМВ тронулся и моментально затерялся среди других машин. Я успел разглядеть шофера — это была милостивая молодая женщина с двумя рядами орденских планок, прикрепленных к светлой блузке. Рядом с ней сидел молодой авиационный офицер и смеялся.

Алексей почему-то вдруг откинулся к спинке сиденья с выражением мучительного напряжения на лице. Он что-то вспоминал.

— Что с тобой? — спросил я.

— Так, ничего, — ответил он, включая скорость.

Мы приехали за добрые полчаса до начала матча. Алексей стал задумчив. Долго и пристально рассматривал трибуны, и я заметил, что взгляд его устремлен к краю противоположной. Пригляделся и увидел женщину из БМВ...

Игра удивительно быстро кончилась. «Динамо» проиграло «Спартак». Толпа разгоряченных болельщиков теснила нас к выходу. Вдруг я почувствовал, как Алексей сжал мою руку выше локтя. Невольно оглянувшись: почти вплотную за нами шла она.

— Внимание! — прошептал Алексей.

Я замедлил шаг, и, когда у выхода толпа стала редеть, мы почти столкнулись с ней лицом к лицу.

— А помните черный «шевроле»? — пропел Алексей, внезапно нагибаясь к ее уху.

Она взглянула на него полными удивления глазами, а старший лейтенант строго сдвинул брови.

— Так вот вы кто! — усмехнулась она, останавли-

ваясь.— Сразу вас и не узнать! Володя, это тот, кто мою «эмку» шуранул!

Старший лейтенант недоверчиво взглянул на Сорокина. Трудно представить майора с Золотой Звездой на груди простым шофером.

— Не смотрите ревнивым взглядом молодого мужа,— пришел я на помощь Алексею.

— Не такой уж молодой!.. Если считать три года за год, то его стаж уже целых пятнадцать лет! — Она не скрывала откровенной насмешливости; очевидно, прошлое не было ни прощено, ни забыто, и ей доставляло удовольствие ощущение собственной независимости и, если угодно, превосходства над человеком, давняя встреча с которым не оставила добрых воспоминаний.

— Да, годы прошли,— сказал Сорокин, видимо уловив, что одно его неосторожное слово может вызвать резкость.

— Вы и тогда уже были Героем? — она смотрела на Сорокина немигающим, как писали бы сто лет назад, гипнотическим взглядом; весь ее облик олицетворял достоинство; и без того красивая, со стянутыми в пучок на затылке длинными золотисто-ржаными волосами, в эти мгновения она в своем затаенном гневе стала еще прекрасней.

— Нет, это случилось позднее...

— Позднее?! Вот как! Значит, оказалось, что вы человек еще не до конца потерянный?..

— А вы уже тогда произнесли мне приговор?

Она весело, пожалуй, чрезмерно весело рассмеялась.

— Вы, оказывается, догадливый! Да, это был мой первый приговор. Тогда я и не знала, что стану народным судьей.

— Вы народный судья?

— Представьте! И, если вы попадетесь мне, не надейтесь на снисхождение. Особенно, если вашей жертвой окажется девушка, машину которой вы тараните на пустынной дороге.

— Буду молить бога, чтобы он избавил меня от такой опасной встречи. Но вы, Маша, ко мне несправедливы. Я ведь, помните, сам предложил ехать в мой гараж.

— Прекрасно помню...

— В гараже я сразу же позвал механика. Было это?

— Разве механик разбил мою машину?

— Я спрашиваю, позвал ли я механика или нет?..

— Маша! — подал голос старший лейтенант; начавшееся препирательство казалось ему бессмысленным.

Но теперь уже далекое переживание, потерявшее сколько-нибудь важное значение, ничтожное событие, меньше капли в пучине действительно необъятных событий совсем еще недавней войны, продолжало волновать обоих, и они словно перенеслись в прошлое.

— Да, позвал!.. Но вы стояли в сторонке с чистенькими ручками и благополучнейшим галстучком...

— Вы презирали мой галстук?

— Нет, вас! Прячущегося от войны.

— Маша! — снова подал голос старший лейтенант. — Прекрати!..

Но она словно не слышала.

— Да! Презирала!.. Не хотела принимать от вас никакой помощи!.. А вообще,— она вдруг весело улыбнулась и обернулась к старшему лейтенанту.— Где же ты? А вообще-то я вам очень благодарна. Вот мой Володечка!.. Из-за вас я с ним встретилась... Пока комдива долечивали, мы с ним во дворе госпиталя машину ремонтировали. Володечка тоже там по легкому ранению лежал.

Старший лейтенант вымученно улыбнулся.

— Да, пришлось повозиться,— проговорил он.

Разговор замирал. Так истончается струя, текущая из где-то перекрытого водопровода, и вот уже из крана каплют капли, и то последние...

— Как жаль, что все так получилось,— сказал Сорокин.

Она не ответила. Помолчала несколько мгновений, а затем, взяв под руку своего старшего лейтенанта, отчужденно, словно сразу забыв о Сорокине, кивнула ему и мельком мне и пошла к своему стоявшему неподалеку БМВ.

Сорокин проводил ее долгим взглядом и только тяжело вздохнул за моей спиной.

Больше мы о ней не сказали ни слова, но теперь, как бы озаренная новым светом, предо мной предстала вся жизнь Алексея Сорокина, начиная с того памятного утра, когда мы с ним впервые встретились на Курской дуге. Может быть, тогда он еще и сам до конца не осоз-

навал, что заставило его отказаться от надежной брони, обеспечивавшей ему спокойную жизнь до конца войны.

В кафе на пятнадцатом этаже гостиницы «Москва» было тесно, мы разыскивали маленький столик около самого барьера, за которым простирались бесконечные крыши огромного города. Отсюда были видны кремлевский двор и башни с рубиновыми звездами, строго возвышающимися на фоне светлого неба, озаренного последними лучами заходящего солнца.

Москва быстро погружалась в темноту. Уже скрылись очертания домов и, начиная от подножия гостиницы, во все стороны рассыпались бесчисленные огни. Кремлевские звезды светились ровным пурпурным светом, и казалось, что они сделаны из красного бархата. Свежий ветерок освежал разгоряченные лица. Душная июньская ночь здесь наверху была спокойной. Мы смотрели на город, как ночью смотрят со скал в море, в волнах которого переливаются отраженные звезды.

ИСТОРИЯ ГЕННАДИЯ ДРУПИНА

Кроме Алены, у Друпина не было друзей. У него вообще никогда не было друга. За полтора года, которые прожил в общежитии рядом с лейтенантом Хомяковым, он ни разу не поговорил с ним, что называется, по душам. Конечно же он иногда делился небольшими секретами, которые почти сразу же теряли свое значение, но замыкался, как только в его жизнь вторгалось что-то действительно серьезное.

Он не любил вспоминать ни о своем детстве, ни о своей юности, ни разу не произносил имени отца, и о матери, жившей под Великими Луками, говорил лишь изредка, когда получал от нее письма.

Но постепенно Хомяков все же понял, что вспышки грубости у Друпина лишь прикрывают его неуверенность. Он никогда не бывает спокоен. Даже когда возвращается домой усталым, у него нет стремления расслабиться, посмеяться, переключиться на спокойную домашнюю жизнь. Он всегда оставался замкнутым и,

казалось, ничем не интересовался, кроме дел, связанных с ремонтной ротой.

Какое-то короткое время, когда Алена пыталась его расшевелить, он действительно начал проявлять интерес к искусству, даже пару раз ездил в Москву, в Театр на Таганке, но потом, когда невольно Алена стала более глубоко интересоваться его жизнью, он почти прервал встречи.

А в то же время он не мог уже долго оставаться наедине с собой. Ему хотелось общения, ощущения семьи, чего был лишен всегда, сколько себя помнит. И когда Алена, в добрую минуту, предложила ему ключ от своей квартиры, он взял его и приходил просто посидеть.

У него никогда не было своего кресла, телевизора, горки с хрустальными рюмками, книжных полок. А тут, пусть в чужом доме, все эти вещи его окружали, и на несколько часов создавалась иллюзия уюта.

Он понимал, что Алена не станет его женой. Да если бы и надеялся на это, то наверняка не сделал бы ничего, чтобы этого добиться.

— Друпин, Друпин!..— иногда говорила Алена.— Что ты за человек? Дружим, разговариваем. А все что-то придерживаешь. Неуютно мне с тобой, Друпин.

Он провел свое раннее детство в Караганде в небольшом дворике на окраине города. Навсегда запомнилось, что одну зиму вплоть до самой весны мать не разрешала выходить из дома на улицу: у него не было теплого пальто. Тогда ему уже было пять или шесть лет.

Почему-то он не помнил матери молодой, хотя ей исполнилось всего девятнадцать лет, когда она его родила. Может быть, потому, что она всегда была чем-то озабочена, много работала и почти никогда не смеялась.

Они всегда жили вдвоем и в общежитиях, которые сменили несчетное количество раз уже после того, как мать, забрав его, уехала из Караганды на север, к Петрозаводску.

Там она устроилась, наконец, поварихой в бригаде лесорубов.

Генка, так в детстве звали Геннадия Друпина, отца не имел. У всех ребят был отец— даже убитый на войне, но был, а у Генки не было. Во втором классе он вдруг узнал, что его мать «одиночка».

— Мама, ты одиночка? — спросил он однажды, вернувшись из школы, с наивностью ребенка, не понимающего значения своего вопроса.

Мать почему-то заплакала и прижала его к себе. После этого случая он понял, что слово «одиночка» таит в себе что-то очень обидное для матери. Подлинное же значение этого понятия одноклассники растолковали ему года через два, когда подросли.

Со свойственной мальчишкам бескомпромиссностью он потребовал у матери ответа: где отец? Мысль о том, что у него нет отца, просто нет, была для него невыносима. На несколько лет его вполне удовлетворил ответ, что отец убит на войне. Ведь у многих ребят в школе отцы не вернулись с фронта.

Мать часто рассказывала о своей деревне под Великими Луками — там остались родственники, дядья и двоюродные сестры. Дедушка и бабушка, родители матери, были повешены гитлеровцами за то, что укрывали партизан.

В конце пятидесят восьмого года, когда Генке уже исполнилось четырнадцать лет, мать вдруг решила вернуться на родину.

Она написала дядьям и в сельсовет и вскоре получила сообщение, что может вернуться, — колхоз согласен принять ее к себе. С этого момента она стала считать дни, но все же решила дожидаться весны, когда Генка закончит седьмой класс, чтобы не срывать его с учебы. Никогда еще он не испытывал такого удивительного чувства полноты жизни, как после приезда в деревню, где полным-полно родственников. Он даже не смог сразу запомнить, кто и кем ему приходится. Очень смешно, когда мать на пальцах высчитала, что он двоюродный дядя крепкому пареньку Мишке, с которым чуть не подрался в первый же час знакомства из-за какого-то пустяка, а на самом деле потому, что Мишка, верховодивший ребятами, почувствовал в нем опасного конкурента.

Так бы и набирал Генка сил, как вдруг однажды, примерно через год после возвращения в деревню, Мишка, который продолжал ревниво оберегать свое главенство, ни с того ни с сего обозвал его фрицем.

Сначала Генка даже не рассердился, мало ли какая дурь втемяшится в голову этого увальня, который и в школе-то едет на одних тройках. Но прошло совсем

немного времени, и эта кличка за ним утвердилась. Такого унижения Генка уже вытерпеть не смог. К пятнадцати годам его кулаки приобрели внушительную силу, и он заставил кое-кого прикладываться к носам холодные примочки. Однако активная самооборона привела лишь к еще большему обострению. И тогда, во время одной из потасовок, ему было сказано, что он «настоящий фриц».

Он «фриц»!.. Значит, его отец — немец? Немецкий солдат? Фашист!.. Один из тех, кто сжег деревню? Повесил дедушку и бабушку? В тот вечер ему не хотелось больше жить... До самой ночи бродил по пустынным полям, предаваясь отчаянию.

Теперь ему стало понятно, почему мать так много лет скиталась в других краях. Почему не сохранилась фотография отца, почему мать не получала пенсию на его воспитание, как все вдовы, мужья которых погибли.

Он уже накопил достаточный жизненный опыт, чтобы ощутить весь ужас своего положения. Как же он теперь будет жить?

Поздно вечером мать разыскала его в каком-то овраге, и они долго сидели рядом. Она его утешала как могла, и вдруг из ее растерзанного сердца вырвалось признание: она рассказала ему все, о чем молчала все эти долгие годы, открыла тайну, которую должна была унести с собой в могилу.

Когда каратели казнили отца и мать, ей не было и восемнадцати лет. Недели две один из дядьев прятал ее в овине, пока не ушли каратели, уничтожившие всех, кто был уличен в связи с партизанами или хотя бы подозревался. Она поселилась одна в опустевшей хате и перебивалась кое-как, помогая соседкам по хозяйству.

Вскоре в деревне разместились тыловая немецкая часть, и в хате появились постояльцы, два молодых унтер-офицера, которые сразу же заставили ее прислуживать. Когда староста деревни составлял списки женщин на отправку в Германию, унтер-офицеры заявили, что она им нужна, и это, в той ужасной жизни, для нее было временной защитой.

Один из них, старший по возрасту, Гельмут, оказывал ей знаки внимания, помогал колоть дрова, носить из колодца воду. В продуктах унтер-офицеры не нужда-

лись — у них было вдоволь самых разных консервов с красивыми этикетками. И вина тоже хоть залейся. Вечерами Гельмут заставлял ее садиться рядом с ними за стол и пить. Как отказаться?

А потом случилось то, что и должно было случиться. Гельмут пришел к ней ночью на сеновал и крепко зажал ладонью рот, чтобы своим криком она не разбудила его товарища. А утром унтер-офицеры о чем-то между собой поговорили, и приятель Гельмута ушел, забрав свои пожитки.

Сколько раз она тайком пробиралась в лес, проверяя «почтовый ящик» в дупле старой ольхи, доверенный ей отцом, — сюда она прятала его донесения.

А через три месяца поняла, что беременна, и сказала об этом Гельмуту. Это совпало с новой охотой за женщинами для отправки на чужбину, и староста опять включил ее в список. Тогда Гельмут объявил, что отправит ее к своим родителям, где она дождетсся его возвращения, и они пожениатся.

Она совсем не хотела выходить за него замуж, но не оставалось выбора. В случае отказа впереди все равно вагон из-под скота и подневольный труд на каком-нибудь немецком заводе.

Но, очевидно, под напором карателей партизаны покинули этот район, и записка с ее мольбой забрать в отряд так и оставалась лежать нетронутой.

В документах, которыми ее через несколько дней снабдил Гельмут, говорилось, что она направляется в услужение семьи Карла Колль. И через неделю, пройдя по пути многие проверки, она добралась до небольшой станции вблизи Дрездена.

Разыскать нужные улику и дом стоило немалого труда. Союзническая авиация уже начала бомбить Дрезден, совершая массированные налеты, и все маленькие городки наводнили беженцы. На улицах их было больше, чем местных жителей. И как назло, она совала бумажку с адресом, написанным рукой Гельмута, людям, которые ориентировались в городе не лучше, чем сама она. Они что-то говорили, и по их жестикуляции она старалась понять, в каком направлении идти дальше.

Чтобы добраться от станции до дома Гельмута, надо было потратить минут двенадцать, но ей потребовалось около трех часов, чтобы наконец какой-то мальчишка

помог ей, выбившейся из сил, дотянуть корзинку с вещами до чистенького домика под красной черепичной крышей.

Как только она переступила порог этого дома, мать Гельмута фрау Ева, высокая женщина лет сорока пяти, довольно строго спросила, что ей нужно. Какое разительное действие произвело на нее письмо сына, которое ей вручила русская девушка! От радости, что сын жив и здоров, фрау Ева чуть не упала в обморок, тут же сбегала за одним из соседей, который кое-как мог изъясняться по-русски, и каждое понятное слово, касающееся Гельмута, вызывало бурный восторг.

А вскоре в дом вбежал полный седоватый господин в кургузой шляпе с гусиным пером, торчавшим из-за широкой ленты. Он тоже присоединился к разговору, и все началось сначала. Она поняла, что это был отец Гельмута, Карл Колль.

Потом фрау Ева отвела ее в маленькую комнату на втором этаже и показала жестом, что она будет жить здесь.

Комната под крышей, в тишине, об этом можно было только мечтать. И она тут же начала помогать по хозяйству, делать все, что требовала хозяйка.

Через два дня Карл Колль повел ее в полицию и зарегистрировал как свою работницу. Мать Генки к началу войны уже окончила восьмилетку, немного владела немецким языком, и потому с каждым днем ее словарь все больше и больше обогащался. Вскоре она уже умела объясняться с фрау Евой так, что стала понимать оттенки. Кроме того, она улавливала некоторые разговоры супругов между собой и скоро убедилась, что для них она только дешевая рабочая сила.

Несколько раз она сама вынимала из почтового ящика письма Гельмута, но ни одно не было адресовано ей. Только однажды фрау Ева мельком сказала, что сын передает ей привет.

А ребенок давал о себе знать, как она ни старалась скрыть беременность. Даже чуть не отравилась однажды какой-то гадостью, чтобы вызвать выкидыш. Надеялась, что сможет этого добиться незаметно для окружающих.

Однако к седьмому месяцу скрыть живот уже было невозможно. Поняв, что русская беременна, фрау Ева

забеспокоилась. Присутствие беременной в их доме могло вызвать и уже вызывало неприятные толки.

Она, конечно, догадывалась, что Гельмут не случайно решил участвовать в судьбе этой девушки, и потому избегала вопросов об отце ребенка. И когда однажды разговор приблизился к опасной грани, тут же оборвала его на полуслове.

Наконец наступил день, когда фрау Ева окончательно решила, что русская должна покинуть их семью, и отправилась в полицию заявить о необходимости депортировать ее в рабочий лагерь.

Утром следующего дня двое полицейских явились в дом, и фрау Коэль вручила им свою работницу, наградив единственным подарком — комплектом дешевых пеленок.

Рабочий лагерь, куда через несколько часов прибыла мать Генки, был обнесен колючей проволокой и мало чем отличался от концентрационного. Однако, услышав родную русскую речь, она ожила. Каждая русская женщина, которая ей встречалась, казалась кусочком родины.

Но чувство радости скоро угасло. Ее история постепенно стала всем известна, и как она ни убеждала своих новых подруг в том, что не виновата в своем несчастье, — ей никто не верил.

Вокруг все шире и шире разливалась пустота, все чаще вслед несло: «щлюха», «немецкая подстилка».

Конечно же она не нашла в себе сил повторить сыну все, что ей довелось испытать. Но, рассказывая, вновь и вновь переживала весь ужас, всю безнадежность состояния отверженной.

Она пыталась покончить с собой. Но это привело только к преждевременным родам.

Генка родился семимесячным и должен был погибнуть. Но его выходила какая-то пожилая русская женщина, санитарка, которая сумела вникнуть в тяжкую судьбу молодой матери.

Недели через три во время медицинского осмотра лагерная медицинская комиссия отбраковала безнадежно больных и разрешила им вернуться на родину. В этой группе оказалась и она с ребенком, завернутым в немецкие пеленки.

Из двадцати семи женщин, среди которых ни одной не было старше сорока лет, до первой станции с рус-

ским названием добрались только восемнадцать, погибли остальные так и остались для их близких навсегда неизвестными.

Остальные стали постепенно сходить с поезда, который все чаще и чаще останавливался, чтобы пропустить военные эшелоны.

До своей деревни она добралась только через полтора месяца. О Гельмуте уже никто из ее односельчан не помнил, часть, в которой он служил, вскоре после ее отъезда в Германию куда-то перевели.

В хате с тех пор перебивала уйма постояльцев, каждый из которых что-то ломал. Все в ней было пропитано тяжелым солдатским духом, смешанным с ядовитыми запахами черной жидкости, которой немецкие санитары для дезинфекции поливали пол и стены.

Сначала ей обрадовались, и показалось, что среди еще больших бед и несчастий ее беда останется незамеченной. Но прошло немного времени, и, сопоставляя факты и сроки, соседи начали со все большей настойчивостью интересоваться отцом ее ребенка.

Кто-то вспомнил, что немецкий унтер-офицер, который жил у нее в хате, подарил ей платье. Вспомнили и о том, что она уехала в Германию помимо сборного пункта. Но самое главное свидетельство заключалось в ребенке, который самым своим появлением на свет доказывал всю глубину ее падения.

А когда советские войска освободили деревню, на первом же сходе односельчане приказали ей убраться подальше.

Через несколько дней после того как мать в темном овраге открыла ему всю свою душу, Генка исчез из деревни.

Только через год мать сказала соседям, что он прислал ей письмо из Вологды, где окончил курсы трактористов.

А потом он прислал письмо, где сообщал, что его призвали в армию...

В свое время, когда мать оформляла в сельсовете справку о рождении сына, секретарша, которая считала, что ребенок есть ребенок и не может отвечать за распущенность своей матери, сама нарекла его именем

Геннадий и, не дав себе труда напрячь фантазию, в следующей графе написала — Геннадиевич.

— Будет у тебя Геннадий Геннадиевич! — сказала она.

Мать была согласна назвать его хоть Мефодием, лишь бы получить в руки какой-нибудь документ, который давал ей право назвать сына русским.

С тех пор Геннадий Геннадиевич, по фамилии матери — Друпин, старался вычеркнуть из своей памяти все, что было связано с тайной его рождения. Он ненавидел гитлеровцев, впитав эту ненависть с самых ранних лет. Сама мысль о том, что где-то, возможно в Западной Германии, до сих пор живет негодяй, который является его отцом, была для него невыносимой.

И постепенно с годами все эти обстоятельства наложили отпечаток замкнутости на характер и на все его поведение. Он окончил военное училище, и, когда ему предложили вступить в партию, уклонился, сказав, что еще недостаточно подготовлен. Заходить в своей лжи так далеко, чтобы обмануть и партию, он просто не мог.

Работу в ремонтной роте он выбрал не случайно. Он пребывал там как бы в стороне, вне поля зрения большого начальства, стараясь честно выполнять свои обязанности.

Алена впервые за долгие годы смутила его душу. Он стал думать о том, не слишком ли долго тащит непосильную тяжесть. Может быть, признаться ей во всем и попросить совета?

Эта мысль его напугала. Недели две он боялся даже случайной встречи с Аленой. Но дней пять тому назад возникла новая беда.

Его срочно вызвали в штаб. Майор Давыдов сообщил, что он должен быть готов к тому, что вскоре придет приказ о его командировке в Группу войск в Германии. Он готов был отправиться куда угодно: в Польшу, Чехословакию, даже на Луну — но только не в ГСВГ.

И еще одну тайну тщательно прятал он где-то на задворках памяти, никогда не разрешая себе думать о ней, а сейчас она снова стала его тревожить во всей своей реально существующей силе.

Лет двадцать пять назад та самая секретарша сельсовета, которой он обязан своим именем, переслала ма-

тери в Караганду письмо, полученное от Гельмута. Это было единственное письмо, в котором Гельмут спрашивался о судьбе своего сына. Друпин видел это письмо, знал, что мать носила его к учительнице немецкого языка, а потом спрятала в свой сундучок. Так это письмо хранился и до сих пор, а на конверте еще, наверно, не выплел обратный адрес.

«Что делать? — думал Друпин в охватившем его смятении. — Как поступить?» Он, ни разу не использовавший до этого ключи, врученные ему Аленой, заставил себя прийти и дожидаться ее возвращения.

Когда вместо Алены появился ее отец, он испытал сильнейшее желание открыться ему во всем, положившись на его мудрый житейский опыт. Неосторожным словом Артемьев вспугнул это мгновение. И вторично Друпин вздохнул с облегчением, как человек, переживший сильную опасность, которая, однако, миновала.

Прошло много дней, в течение которых Друпин колебался. Ему казалось, что он все излишне усложняет, ведь он уже перешагнул через добрую половину жизни, и никому в голову не приходило копаться в его прошлом, да и прошлое ли это, если отца он никогда не видел и знать его не знает; потом его начинали терзать сомнения, касавшиеся уже его самого, — он ведь во всех анкетах указывал, что его отец погиб на фронте, борясь с фашизмом. Какая страшная ложь! И она, незаметно для других, непрерывно давит, тяжело душит. Он не только не позволил себе вступить в партию, но и не пошел учиться в академию...

Если он и сейчас солжет молчанием, то уже никогда больше ему не предоставится возможность одним ударом разрушить нагромождение лжи, грязнящей его душу.

Там, в Группе войск, будет поздно. Он никому не сможет убедительно объяснить, почему стремление быть искренним пришло к нему с таким значительным опозданием.

Наконец он все же решился... Будь что будет! Но к кому пойти? А может все же не ходить?... Нет! Никогда! Это означает признать себя виновным перед Родиной. Если добиться встречи с командиром полка, то разговор произойдет на том высшем уровне, на котором замкнутся все его беды. Но всего прямее, конечно, путь к замполиту Егорычеву. Не только потому, что

ему как замполиту приходится вникать в самые неожиданные обстоятельства, далекие от обычных жизненных стандартов, но и потому, что с ним просто легче общаться. Егорычев даже выругает, но так, что не только на него за это не обидишься, а самому становится неловко: довел до того, что с тобой приходится вот так нелицеприятно разговаривать. Но главное все же в стремлении Егорычева не обвинить торопливо и бездумно, как это бывает у некоторых даже неплохих людей, стремящихся в сложных положениях прежде всего утвердить свое нравственное превосходство.

После долгих размышлений он решил прийти в штаб пораньше утром и, как только появится Егорычев, сразу же пройти следом за ним в его кабинет, а там уже разговор завяжется сам по себе.

И все-таки он не представлял до конца, как повернется язык сказать: «Мой отец — фашист!» В какое положение он сразу себя поставит? Ведь разговором с Егорычевым дело явно не ограничится, начнется расследование, будут искать подтверждения сообщенным им фактам. Вновь и вновь разным людям, а может быть, и на собраниях придется повторять одно и то же.

Но в одно он твердо верил: в армии его оставят!

Каждое утро он приходил в штаб к восьми утра и маячил в конце длинного коридора, стараясь держаться подальше от кабинетов командования; он решил, что при появлении Егорычева сумеет быстро оказаться рядом с дверью, но зато избежит встречи с командиром полка.

Всегда в горячую минуту возникают новые препятствия. В первое утро Егорычев вообще не появился в штабе. К девяти прямо из дома отправился на какое-то срочное заседание в политотдел дивизии; во второе утро он появился на несколько минут и сразу же ушел на политзанятия. Правда, Друпин успел с ним перекинуться двумя словами, и они условились на следующее утро — в одиннадцать.

Ночь тянулась как резина. Казалось, ей не будет конца. Вновь и вновь в его уставшем мозгу проворачивалась картина. Вот он входит... «Здравствуйте!..» «Здравствуйте!..» — ответит Егорычев. «Я пришел сказать...» А дальше? Даже наедине с собой он не решался закончить эту фразу... Дикость!

И все же он нашел в себе силы. Войдя в кабинет,

он присел на стул перед столом Егорычева и вдруг спросил неожиданно для себя:

— Скажите, я похож на немца?

Егорычев захохотал:

— Тебя что, начальник клуба в драмкружок затачивает? Пьесу «Фронт» хотят ставить... Но я там что-то для тебя подходящей роли не вижу. Вот Огнева, пожалуй, сыграешь! Могучий русский характер!..

— Нет, я серьезно спрашиваю!..

— А я тебе разве несерьезно отвечаю?

И в этом непринужденно-веселом настрое Друпин внезапно почувствовал себя увереннее, конечно же возможно, через несколько мгновений он подорвется на минном поле, не условном, а настоящем, и все же есть надежда.

Он рассказал все, ничего не утаивая. Самое тяжелое — до этого момента он и не думал, что будет так тяжело, — оказалось рассказывать о переживаниях матери и неимоверно стыдно было передавать все то, что происходило между ней и гитлеровцем — его отцом. Никогда, даже в воображении, он не стремился воссоздать его облик. И сейчас, в этом разговоре, он оставался для него лишь фашистом.

Егорычев слушал не перебивая, только курил, глухо затачиваясь, и постепенно в его взгляде возникло новое, поразившее Друпина выражение. Нет, он не удивился бы отчужденности — к этому он себя подготовил; на сочувствие не надеялся; но удивление, с каким смотрел на него Егорычев, смутило и заставило сбивчиво завершить свою трудную исповедь.

— Так! — помолчав, проговорил Егорычев. — И как же ты за все эти годы не чокнулся?

Друпин сидел неподвижно, опустив глаза, встретиться взглядом с Егорычевым ему сейчас было бы невыносимо.

— Мне об этом рапорт написать? — спросил он.

— О чем?

— Ну, обо всем...

— А зачем писать?

— Для порядка, что ли! Должен же я дать объяснение!

— А ты уже дал!.. Какую же ты себе жизнь организовал, Друпин!.. Ужасную жизнь! Смотрю на тебя и

в толк не могу взять! Силы у тебя на пятерых... Как же ты себе душу смял...

— Что же мне теперь делать? — спросил Друпин, думая о том, какую же меру наказания ему теперь предстоит вынести; только бы Егорычев не тянул с этим.

— Ничего! — коротко сказал Егорычев. — Ничего не делать...

— И не писать?

— Не писать!

Друпин впервые поднял голову.

— А что будет дальше?

— Ничего не будет, — сердито сказал Егорычев и почесал щеку. — К тебе вопросов нет. А кто твой отец, это уже не имеет значения.

— Но ведь я должен уезжать в ГСВГ.

— Знаю... И думаю, что поедешь... — Он помолчал и вдруг оживленно спросил: — А какие-нибудь координаты у тебя сохранились?

— Какие координаты?

— Ну, этого... немца?

— Не знаю. Когда-то, после войны, он прислал матери письмо.

— Хорошо, если бы сохранилось... Говоришь, он под Дрезденом жил?

— Да, как будто мать была где-то в тех краях.

— Когда я в Потсдаме служил, в Дрезден несколько раз в командировку ездил. Вот если бы знать... — Егорычев уже отвлёкся от прямого разговора, и теперь в его взгляде поблескивали озорные огоньки. — Вот что, Друпин! Ты у своей старухи затребуи на всякий случай конвертик с адресом. Вдруг случится тебе тоже в Дрезден поехать... Так ты по пути на часок сойди с поезда...

— Что вы?! — охнул Друпин. Сама мысль, что он станет разыскивать человека, которого возненавидел с того момента, когда узнал о его существовании, показала ему чудовищной. — Как же это можно?!

— Ну!.. Ну!.. — махнул рукой Егорычев. — Это я просто так! Знаешь, как в романах! Совершит человек какую-нибудь подлость, а через много лет получает возмездие.

— О нашем разговоре мне кому-нибудь доложить? — спросил Друпин, думая, что недостаточно точно понял

Егорычева — не может же на этом все завершиться? Он так долго готовился к этому разговору, так много лет рисовал этот момент в своем воображении, что сейчас, когда все сказанное необратимо, он ждал каких-то особенных слов, чуть ли не приговора, осуждающего или смягчающего его вину, но все же документально фиксирующего его заявление.

— А кому? — удивленно спросил Егорычев. — Никому не надо докладывать... Вот что, Друпин, ты тень на плетень не наводи. То всю жизнь помалкивал, а теперь что, с зудом языка справиться не можешь? Тебя направляют в командировку — на три месяца! Будешь передавать там свой опыт... Кроме тебя туда направлена большая группа. А когда вернешься, подумаем, как твою анкету исправить.

Друпин вышел от Егорычева в состоянии какого-то каменного спокойствия. Кто-то промелькнул мимо него. Только на лестнице он понял, что это был командир полка, которого не поприветствовал. Выйдя на плац, свернул не в сторону мастерских, а побрел по какой-то параболической кривой к Лениному дому, возможно, безотчетно стремясь ее встретить. Старался вспомнить свой разговор с Егорычевым, но, кроме отдельных фраз, в памяти ничего не задержалось.

Внезапно он заплакал. Какое счастье, что это случилось среди плаца и никто не мог заметить слез, с которыми он боролся изо всех сил, глотая и стараясь их унять...

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ

Поезд остановился на небольшой станции по пути в Таллин. Было уже около десяти вечера. По перрону в сумраке двигались люди. Фонарь, висевший над дверью, рассеивал неяркий, желтоватый свет. За приземистым станционным зданием виднелись уже растворяющиеся в сгущающейся тьме очертания разрушенной водокачки.

Мой сосед, капитан второго ранга, высокий человек лет тридцати пяти, разговорчивый и веселый собеседник, вдруг проявил непонятный мне интерес к этой станции. Когда проводник объявил ее название, он, прервав разговор на полуслове, нахмурился и замолчал,

потом долго всматривался в пробегающие мимо окна огоньки. Теперь он прохаживался по перрону вдоль вагона, держа в зубах трубку, с которой не расставался почти никогда.

Я не дождался его возвращения и задремал, а когда очнулся, вагон уже мягко подрагивал на ходу. Моряк сидел на своем месте, напротив меня, и задумчиво смотрел перед собой.

Во всей его позе в этот момент была основательность и мужественность. В черном кожаном реглане он был похож на летчика, который только что покинул самолет. Я уже знал, что мой сосед в годы войны служил в морской авиации, работал техником, а теперь учится в академии.

Но об этом он упомянул мельком. Рассказывал же он всякие интересные истории, которые случались в годы войны с балтийскими летчиками, и рассказывал увлекательно, видно, очень любил авиацию.

В вагоне было тихо. Мимо купе прошел проводник, заглянул — все ли на месте — и задвинул дверь. Протяжно прогудел паровоз. Ему ответил другой, и через несколько мгновений за окном жухнуло, зашелестело, почти вплотную к стеклу прижалась темная масса — навстречу мчался товарный поезд.

Дробный перестук колес слился воедино, и казалось, что наш поезд полетел вперед с бешеной скоростью. Так продолжалось две-три минуты... Но вот за окном хлопнуло, оборвалось, мелькнул красный фонарь, прикрепленный к тормозной площадке встречного поезда, и опять медленно и мерно постукивали колеса.

— Хотите послушать один интересный случай? — сказал моряк, смотря на меня серьезно, на высоком лбу его собрались морщины. Толстяк, лежавший наверху, повернулся на спину, и рука его свалилась вниз. Моряк поднялся, терпеливо и туго подоткнул вокруг него одеяло. Теперь только клочок бороды торчал из-под простыни и то опускался, то поднимался, похожий на язычок рыжего пламени.

Моряк подсел ко мне на скамейку, я подвинулся к стенке, и он уселся плотнее. К этому моменту его трубка выдохлась, и он закурил новую.

— Много курите, — сказал я.

— Верно, — кивнул он. — Бросать надо, да вот при-

вык, трудновато... — И, помолчав, улыбнулся: — Друг у меня был один... Он был, так же как и я, техник по вооружению... Вы в авиации не служили?

— Нет, я артиллерист... Служил на форту.

— Ну вот, — улыбнулся он, — профессия у вас самая что ни на есть земная!.. Дело это было в сорок первом году, летом. Гитлеровцы начали наступать на Лугу, а наши тыловые мастерские из Ораниенбаума, который много бомбили, стали переводить поближе к Шлиссельбургу. Возьми да и случись такое: я с моим товарищем, тоже техником, задержались по разным делам в городе, а эшелон в это время отправили. Поторопились. Воздушный налет ожидался... Такая вот получилась неприятная штука. Ну, по правде сказать, не знаю, как вы, а я не люблю в эшелонах ездить. Как в мышеловке себя чувствуешь, когда самолеты налетают.

— Особенно, если ночь лунная, — согласился я.

— Луну я просто ненавижу! Самые жестокие бомбежки пережил я в лунные ночи... Проклинал ее не раз... Ну вот, прибегаем мы на станцию, а там говорят: «Шпарьте, ребята, по шпалам, эшелон ваш уже сорок минут как ушел». А в этот момент, как назло, идут «юнкеры», делают заход над станцией, начинают бомбить... И началось черт те что... Рванули мы в какую-то яму, залегли. А около меня тут рядом еще какой-то военный. Лежим вместе... Вокруг дым, рев, камни летят, обломки какие-то. То с одной стороны рвется, то с другой. Ну, конечно, я лежу, смотрю в небо, наблюдаю, куда заход делать будут, — военный же, что рядом, вцепился в меня, держит за руку, а сам плачет. Да как-то странно, по-женски. Я вырвал руку, даже хотел ударить — так противно стало, — смотрю, а это девушка... Волосы у нее растрепаны, лицо измазано землей... В одно мгновение у меня что-то в душе перевернулось... Мой друг обнял ее и говорит: «Успокойся, девушка, лежи тихо». Так и держал ее все время, пока продолжалась бомбежка... А когда все кончилось, вылезли мы из ямы, познакомились. Девушка оказалась совсем молоденькой, лет девятнадцати, но в летной форме и в звании старшего сержанта. Оказалось, что послали ее из уральского аэроклуба в эскадрилью связи штаба Балтфлота. Она добиралась до места назначения, но началось немецкое наступление, и, куда передвинулся нужный ей штаб отряда, никто не знал.

Делать было нечего: мы предложили ей пойти с нами. По пути скорей можно будет выяснить, кто где находится... Девушка согласилась... Неловко ей, правда, было, что она струсилась... Но мы ее уговорили, что это со всяким может быть, особенно если в первый раз.— Он усмехнулся.— Назвались же мы не техниками, а летчиками... И не потому, что техником быть стыдно. А просто в этот момент хотелось, чтобы девушка видела в нас боевых ребят. Я сказал, что у меня уже сорок пять боевых вылетов, семь сбитых самолетов и что я летчик-истребитель... А мой друг тоже врал напрапалую что-то в этом роде.— Сосед затынулся дымом и помолчал, в сумраке блестели его глаза.— Ну вот, стали пробираться в сторону Ленинграда, где пешком, а где на попутных машинах. Девушка оказалась уж не такой беспомощной. Она то обед из консервов варила, то ночью сторожила машину, если нам удавалось к кому-нибудь подсесть.

Относилась она к нам с большим уважением, даже с каким-то преклонением: ведь мы в ее глазах были настоящими боевыми летчиками! И нам уж тоже приходилось держаться. Мы рассказывали один боевой эпизод хлеще другого. А она смотрела на нас большими глазами...

Чем дальше мы шли, тем она становилась нам все больше родной. С ней мы чувствовали себя по-настоящему сильными.

Конечно, в душе я раскаивался, что неправду говорю. А про себя решил: вот как только доберусь до части, попрошусь на фронт. Может быть, в тот же полк, что и она...— Он сделал небольшую паузу и, склонившись ко мне, сказал тихо, словно кто-нибудь мог нас подслушать: — Не буду больше врать вам — о себе рассказываю... Никакого друга с нами не было... Вдвоем добирались!.. Чувствую, что люблю ее. Сил расстаться нет. Но признаться в своей лжи не могу. Ведь для нее я боевой летчик, который семь самолетов сбил! Девушка простая, непосредственная — ребенок почти! Она себе уже образ мой создала...

А когда добрались мы до Ропши, есть такой городок под Ленинградом — там Петра третьего убили, — дальше уже нельзя нам было вместе ехать. Но все же на машине проводила меня до станции, вот до той самой, что мы проехали... Простились. Дал ей номер своей полевой

почты. И уехал... А через месяц получил от нее письмо — ее на Карельский перешеек направили...

Сколько докладных записок ни подавал, все отказывали. А она написала мне, как ее первый бой прошел, потом как на бомбежку летала, как первый самолет сбила... Я избегал ей писать об успехах, все больше о чувствах. А потом даже совсем перестал отвечать. Тогда в ее письмах открылся такой вопль, что и передать невозможно. Она не могла жить без моей поддержки. Всякий раз, когда я читал ее письмо, мне казалось, что оно адресовано кому-то другому и только по ошибке попало мне в руки. Вот как бывает, товарищ капитан.

— Бывает, — сказал я.

— А однажды ее полк к нам на аэродром в Куоккала сел, на недельку передохнуть. Так чтобы с ней не встречаться, я добился и в командировку уехал. А все-таки на улице, из-за забора, признаюсь, ее видел. Возмужала, три боевых ордена имела. Шла красивая, загоревшая. Но, видно, не знала она, что я именно в этом месте должен находиться, ведь я никогда не называл ей своей части. Иначе бы наверняка навела справки...

Увидев ее, я вдруг впервые понял, как сильно люблю. Если бы она не ставила меня так высоко, то я бы подошел к ней по-простому... и все бы рассказал. Но не решился. Боялся, что, узнав об обмане, порвет со мной, да и самой ей каково будет! «Сейчас она, — думал я, — любит смелого, сильного человека, тянется за ним, а тогда!.. Все сразу у нее рухнет!.. Так ведь и погибнуть можно!» Нет, я уехал — удрал, так сказать, на законном основании — и вернулся, когда полк уже улетел на фронт... А весной, после боев под Пулковом, ей присвоили звание Героя Советского Союза... Совсем мне стало трудно... И решил я поехать к ней в часть и прямо признаться во всем. Сказать, что я не тот, за кого себя выдал, но что я люблю ее больше, чем себя.— Сосед пососал потухшую трубку, зажег спичку, потом потушил ее и бросил в пепельницу, не закурив.— Поехал я к ней в часть, к Лисьему Носу. Командировку с большим трудом себе устроил... Ну, приехал... Как раз был нелетный день. Нашел я ее в блиндаже на берегу Финского залива. Она меня сразу и не узнала! Даже как-то отстранилась от меня. И глаза у нее потемнели. Я смотрю на нее: совсем другая стала. Похудела, мор-

щинки вокруг глаз. Подпоясана туго. Держится уверенно. Много, вижу, изменилось в ее душе. И подумал я, что не надо мне было приезжать, что в ее воображении я был красивой мечтой, каким-то символом любви, долга, смелости, а тут!.. Ну, сказал я ей все, во всем признался... И сказал ей, что люблю... Она выслушала меня как-то очень тихо и спокойно. Потом взяла меня за руку и сказала: «Спасибо вам, Коля, за все, за все то, что вы мне в жизни сделали. Да и сейчас, после вашего признания, вы мне не кажется хуже. Техник звена — это ведь тоже работа боевая... А вот любить я вас не могу, другой у меня есть человек — курсант-моряк. Он в Ленинграде остался. Теперь-то он тоже на фронте, а где не знаю!..»

— Курсант был, говорите,— спросил я,— а какого училища, не помните?..

Сосед пожал плечами:

— То ли Фрунзенского, то ли инженерного. Не помню уже. Да и какое это теперь имеет значение.

— А как звали эту девушку?

— Звали ее Марина... Четыре дня я прожил у нее на аэродроме. За это время она сделала три боевых вылета, а я наблюдал, как техники проверяют готовность ее самолета. Вмешиваться в их работу не мог, но следил. Все мне казалось, что они не так делают. Я никогда не забуду этого аэродрома. Прибрежных скал. Белых чаек... А через четыре дня мы простились... Я улетел обратно. И мы условились, что после войны встретимся.— На этот раз он закурил и долго молча затягивался дымом.

— Где же она теперь? — спросил я для того, чтобы прервать затянувшееся молчание.

— Не знаю. Развела нас жизнь... У меня теперь уже жена и ребенок... Своя семья... У нее, наверное, своя.

Он пересел к себе на скамейку и откинулся к подушке. Его лица не было видно, словно он прятал его от меня. Я подумал о том, почему он рассказал мне самое сокровенное, то, что прячут обычно в самой глубине сердца — и от людей и от себя. Да, конечно, он знал, что мы расстанемся, и то, о чем подчас нельзя поведать самому близкому человеку, можно сказать спутнику, который через час уйдет навсегда.

Под утро моряк собрал свои вещи и вышел на одной из станций,

Очерки

КОМАНДИРОВКА В МОЛОДОСТЬ

1

Много лет прошло с тех пор, как моя корреспондентская «эмка» в последний раз проехала по пыльному грейдеру, а казалось, я навсегда простился с Анной, маленьким городком, затерявшимся в Воронежской области, где в глубине большой рощи, за массивной купеческой церковью, тревожным летом сорок второго располагался штаб Воронежского фронта.

Мы часто думаем о том, почему в человеческой памяти запечатляются одни события и начисто стираются другие, может быть, и более значительные. Не потому ли, что существует память сердца? И во время войны, и после нее я побывал в больших городах со славной и древней историей, но почему-то всегда, когда вспоминал о соломеннокрышей Анне, испытывал удивительное волнение, меня неодолимо тянуло вновь побродить по полям и по старому парку, и это чувство было сродни тому, какое мы испытываем, когда думаем о родине, о той родине, где прошли наше детство и юность. Но я родился в Ленинграде, и, казалось, меня должно было бы тянуть за Невскую заставу. Почему же многие годы я думал только о том, как бы снова побывать в Анне. Может быть, причина в том, что, работая над книгой о Николае Федоровиче Ватутине, который командовал Воронежским фронтом, я часто мысленно вновь и вновь возвращался к событиям теперь уже давних суровых лет.

И вот наконец поехал в Анну разыскать волнующие приметы прошлого, поехал с тайной надеждой встретиться с теми, кого знал раньше.

Нет, мне не повезло. Я это понял сразу, как только накатанное шоссе привело меня к знакомой церкви с большими тяжелыми куполами. Время! Оно смело с крыши солому, заменив ее шифером и железом. Исчез пыльный грейдер. Теперь по асфальту можно доехать за несколько часов до Тамбова и Саратова. Но за этими внешними переменами притаились другие, и самые важные. Это и новые дома, и новые улицы, но это, по крайней мере,— два новых поколения.

Вот он, одноэтажный приземистый дом! В нем сейчас школа. На стене табличка: «В этом доме размещался штаб Воронежского фронта». В одном из классов — маленький ватутинский музей.

Вечером я выступил перед школьниками. Ребята слушали внимательно и вежливо. Война для них — кино, книги, и лучше, если они приключенческие. Школа — это школа! Комнаты — это классы, а не штаб. Мои воспоминания — нечто вроде дополнительного урока. Для ребят полководец — это уже герой литературный. В Киеве, на бульваре, у памятника Ватутину играют дети. Для них памятник — это почетная бронза человеку, о котором они знают, что он был героем. Для меня, для моего поколения, бронзового Ватутина не существует. Я вижу его невысокую фигуру на пороге соседнего со школой дома в то давнее сумрачное октябрьское утро, когда он уезжал на Юго-Западный фронт, под Сталинград. Он снова вернется на Воронежский фронт весной сорок третьего. Штаб будет перемещаться из Белгорода в Новый Оскол, затем под Обоянь, а потом, когда закончится Курская битва, все дальше и дальше. Для меня Анна не только воспоминания о суровых боях за Воронеж — это и мои фронтовые друзья. Давно уже нет в живых неугомимого Геннадия Крылова, военного корреспондента ТАСС, нет и корреспондента «Правды» Ульяна Жуковина, вместе с которым мы пережили много тяжелых бомбежек, выручая друг друга на фронтовых дорогах, нет и корреспондента «Красной звезды» Бориса Азбукина. Недавно ушел из жизни Яков Цветов. Лев Юценко, Михаил Ти-

хомиров и многие другие, составлявшие «корреспондентский корпус» Воронежского фронта, остаются в строю нашего нестареющего поколения.

В маленькой Анне с большим уважением относятся к героическому прошлому и не забывают тех давних дней, когда гитлеровцы жгли Воронеж и в напряженных боях захлебнулось вражеское наступление. Анна наших дней — это центр большого сельскохозяйственного района, и в тишине полей от ранней весны до глубокой осени мирная армия хлеборобов ведет напряженную битву за урожай.

Память о войне! На окраинах Воронежа поля до сих пор невозможно распахать под пашню — так они изрезаны еще сохранившимися глубокими окопами, начиненными железом. За несколько минут мы вместе с оператором кинохроники разыскали и провололочные заграждения из колючей проволоки на полуистлевших черных деревянных кольях, и проржавевшие каски, пулеметы, осколки снарядов, ружейные гильзы. На этих полях трава редкая и жухлая. И вдруг замирает сердце, когда под твоей ногой с хрустом ломается белая, омытая дождями человеческая кость.

Может быть, и не нужно распахивать всю землю, впитавшую кровь наших солдат. Пусть каждый, кто придет сюда, увидит — не под стеклом музейных витрин, на земле, где погибали внуки и деды, защищая родной город, — войну, пусть уже отгремевшую, но оставившую глубокие, незаживающие шрамы.

И хотя уже давным-давно возрожден Воронеж и маленькая Анна из глубокой провинции превратилась в горделивый городок со своей промышленностью, и новыми домами, и конечно же со своим генеральным планом развития на ближайшую пятилетку, день сегодняшних и день завтрашний неразрывно связаны с тем днем, когда из роцци вблизи деревни Подклетная Ватутин всматривался в черные дымы, окутавшие небо над горящим Воронежем: главное для него было не пропустить гитлеровцев, не дать им прорваться, иначе они устрелят свой удар на Москву.

В первые годы после окончания войны нам казалось, что мы все знаем о ней. Мы самонадеянно считали, что мы — участники событий, военные корреспонденты, — все видели и обо всем писали. А оказалось, что глубины народного подвига еще не постигнуты даже

и сейчас, мы узнаем все новые и новые имена героев и от этого становимся богаче — не только потому, что уроки мужества необходимы для духовного воспитания молодежи, но и потому, что восстанавливается справедливость. И вот, остановившись на развилке дорог, на краю роцци, и наблюдая, как бесконечной чередой, в объезд Анны, по асфальту мчатся машины к Борисоглебску и Саратову, я вдруг вспомнил об одном давнем случае. И, вспомнив о нем, я сразу же представил себе Вилли Бределя — мы тогда стояли рядом вот на этой опушке в ожидании машины перед тем как отправиться к Воронежу. У каждого из нас были свои дела, мне нужны были новые факты для Советского информбюро, военным корреспондентом которого я работал, а Вилли Бредель уже был зачислен в седьмой отдел Политуправления фронта и готовился выступить перед немецкими солдатами на переднем крае. Машина с радиоустановкой уже ушла вперед.

Но наше знакомство с Вилли Бределем началось двумя месяцами раньше. На короткое время меня отозвали с фронта в Москву, и вскоре я должен был возвращаться назад.

Рано утром мне позвонили из Политуправления.

— Завтра вы едете на Воронежский фронт. Не можете ли захватить с собой немецкого писателя-антифашиста Вилли Бределя?

— Охотно!

— Тогда он будет ожидать в холле гостиницы «Москва».

— Хорошо! Я заеду за ним в восемь утра.

Ровно в восемь «эмка» остановилась у подъезда гостиницы, и я увидел невысокого худощавого человека в темном пиджаке, с желтым чемоданом в руках. По тому, как тревожно и внимательно он разглядывал машину и, как только я вышел из нее, торопливо устремился мне навстречу, я сразу понял, что не следует входить в холл прежде, чем не спрошу его имени.

А через час мы уже мчались в сторону Ельца.

Вилли Бредель хорошо говорил по-русски с едва заметным акцентом. Он оказался интересным собеседником и много рассказывал о фашистской Германии.

Шофер Сергушкин, молдаванин, обычно разговорчивый, вдруг приумолк. И, поглядывая на него, я заметил, что на его сухом, с мелкими морщинками лице

твердо установилось выражение мрачноватой замкнутости.

На одном из привалов, улучив минуту, когда Вилли Бредель отошел к машине, чтобы достать из своего чемодана банку с мясными консервами, я тихонько спросил Сергушкина:

— Ты чего такой мрачный?

— А вы ему верите? — спросил Сергушкин. — Он к Гитлеру не перебежит?

— Да что ты, Сергушкин, это же известный антифашист! Писатель! Коммунист!

Сергушкин только вздохнул и стал разливать водку по стаканам. В Бределя он поверил гораздо позднее, только после того, как услышал о его выступлениях через линию фронта.

Мы добрались до Анны через Липецк на второй день к вечеру. А уже следующим утром я уехал к Воронежу. Вилли Бредель остался работать в седьмом отделе Политуправления. Переоделся в военную форму, но без знаков различия.

Прошло недели две, и снова судьба свела нас вместе. Мы оказались под Воронежем, в районе Сельскохозяйственного института. Линия фронта здесь изгибалась замысловато, некоторые здания находились в наших руках, в других находился противник.

Машину мы остановили на командном пункте дивизии, в роще, а дальше наш путь пролегал по берегу реки, среди кустов; изредка над головами пролетала немецкая мина, и рощу сотрясал глухой удар взрыва.

Вилли Бредель шел впереди меня по узкой тропинке, молчаливый и сосредоточенный. Высокий майор, подтянутый и в тщательно заправленной выпетшей гимнастерке, провожал нас к землянке в глубине кустов, у самого берега круто обрывающихся к реке.

Время от времени сквозь переплетения листьев проглядывались здания, они стояли в некотором отдалении от берега, и мы уже знали, что это Сельскохозяйственный институт.

Где-то в стороне ухнула мина, майор тревожно ускорил шаг, он сознавал всю свою ответственность за жизнь немецкого писателя. А Вилли Бредель обернулся ко мне и с улыбкой проговорил:

— Соотечественники встречают меня салютом!

В землянке, у самой двери которой на корточках

сидел солдат-связист, хриплым голосом вызывавший «Двину», нас уже ожидал командир агитмашины.

Майор передал Вилли Бределя, как говорится, из рук в руки и только тогда облегченно вздохнул. На его крупном лице возникло выражение почти детского облегчения, как будто он совершил шалость, боялся, что ему за нее попадет, а неожиданно все обошлось благополучно.

— Ну, проскочили! Здесь уж его никакой осколок не достанет, — сказал майор и подал знак ординарцу, чтобы тот быстренько собирал снесь.

Но уже темнело, и командир агитмашины торопил Бределя. До места, где установлен микрофон, еще надо добираться, и он опасался, что в полной темноте собьется с пути. Вилли Бредель ушел, сказав, что скоро вернется и тогда с удовольствием поужинает, а мы с майором примостились у маленького стола с ножками, врытыми в землю, и стали неторопливо беседовать о разных делах.

Вскоре я понял, что мне не очень повезло. Полк уже довольно давно находился в обороне, немцы не проявляли пока особой активности, а приказа наступать не было. Да, признаться, не очень-то удобное это было место для наступления, очевидно, в задачу полка входило лишь сковывать противника. Причем, кто на войне знает, на каком участке он находится? Каждому солдату кажется, что его окоп на главном направлении. И все же «свежих» фактов героизма, о которых можно было тут же сообщить в Москву для ежедневной сводки, майор рассказать не смог.

Некоторое время мы говорили о Вилли Бределе, о немецких коммунистах, и майор через каждые несколько минут вызывал «Двину», спрашивал, благополучно ли добрался «гость» до места, но путь, очевидно, был не очень коротким, — только на третий раз ему ответили, что все в порядке.

— Через полчаса начнет выступать, — сказал майор, взглянув на ручные часы.

— Услышим?

— Услышим, как его будут стараться накрыть минами! — Он помолчал. — Хорошо бы ему перед моими солдатами выступить. А то есть такие разговорчики — раз немец, значит, фашист.

Потом мы отвлеклись, стали говорить о Сельскохозяй-

зяйственном институте. И майор рассказал мне об одном случае, который произошел на этом участке месяца полтора назад. Я пожалел тогда, что это уже «старый» случай, в оперативную сводку передать не мог, и поэтому даже не записал.

Жаль, что не записал и что, по молодости, понятие оперативности мне представлялось слишком буквальным. Тогда, по крайней мере, не ускользнули бы из памяти имена.

Это произошло в день, когда нашим пришлось отойти от Сельскохозяйственного института. С наступлением темноты бой приутих, и солдаты стали окапываться. Майор ожидал подкрепления, командир дивизии обещал, но началось осложнение на левом фланге, и резервы пришлось срочно направить туда.

— Веселая это была ночь, — говорил майор размеренным голосом, поглядывая на сутулую фигуру связиста, которому строго приказал не отрывать трубку от уха и не прозевать, когда «Двина» сообщит, что «гость» начал выступление. — Настроение проклятое. Дождь как раз полил. Сидим в роще, а до крыши всего метров триста, а может, и меньше. Обстановка сволочная. Часа три со штабом дивизии связи не имел, а когда навели, тоже не стало легче. Командир дивизии приказывает: справляйся своими силами и без дела не звони! А у меня тридцать процентов потерь. Кое-как вырыли нору на обрыве, залез в нее, зажег «летучую мышь» и сел писать донесение. Бумага мокрая, карандаш химический, мазня получилась адская, слово напишу и сам прочесть не могу. Так с полчаса и промучился. Ординарец потом рассказывал: стоял рядом в кустах, удивлялся, кого я это там без усталости распекаю. Признаюсь, характер у меня крутоватый. Да ведь война, черт побери. Я где-то читал, что, мол, повышает голос только тот, кто слаб. Это как сказать. Некоторые тихого голоса не слышат! Им встряска нужна... Особенно когда стреляют, — он усмехнулся и прислушался: вдалеке разорвался снаряд.

— Мина, наверное, — сказал я, имея в виду Бределя.

— Да нет, это кто-то от скуки пальнул, так, на всякий случай, — проговорил майор, — на наших нервах хотят играть... Ну, так вот... Часа в два ночи я немного прикорнул. Решил отдохнуть до рассвета, а там обстановка сама по себе прояснится. Вдруг вбегает помполит, докладывает: «Профессор пришел!» — «Какой профес-

сор?» — «Каким ему быть и положено — немолодой!» Помполит мой был парень с юмором, из комсомольских работников.

— Почему был?

— Да ранило его третьего дня. Сейчас в госпитале. Говорят, в Тамбов увезли. «В чем дело, — спрашиваю, — откуда профессор и что ему здесь надо?» — «Сам хочет рассказать». — «Ну так зови!» Привел он ко мне профессора. Лет так ему под пятьдесят, крепкий. Моему помполиту старше он показался по молодости. Садится на земляную ступеньку, а рукавом с лица пот вытирает. По всему вижу, досталось ему крепко. Спрашиваю: «Кто вы такой?» Он говорит: «Я профессор Сельскохозяйственного института. Беда у меня. Не успели при эвакуации все мои труды вывезти. А я селекционер. Всю жизнь вел записи. Они в будущем пригодятся, когда война окончится. Никак нельзя мне без книг и рукописей». — «Чем же мы можем вам помочь?» «Очень прошу, — говорит, — выберите из одного корпуса немцев, хоть на полчаса. У меня архив в подвале, от бомбежек прятал. Я обязательно управлюсь... Двух солдат хватит вынести. Уж очень прошу, товарищ командир». «Это же невозможно, — говорю, — люди только из боя, устали смертельно». А он: «Завтра немцы укрепятся, и будет поздно». И что вы думали, это его соображение победило. Хоть и в гражданском пиджаке был профессор, а рассуждал по-военному. А тут еще злость во мне кипела от несправедливости, что отойти я был должен, и от ночи этой ненастной. «Ладно, — говорю, — профессор, а вы с ними пойдете?» «Пойду, — говорит, — пойду». — «Нет, не надо, профессор, вы человек заслуженный, рисковать вами не будем». «Нет, — настаивает, — пойду, без меня вы ничего не найдете». Майор помедлил, почесал небритую щеку и улыбнулся: — Собрал я командиров второго и третьего батальона. Приказываю ударить по немцам, засевшим в институте. А профессор тут же рассказал, какой корпус освободить надо. Конечно, доложил комдиву о своем решении. Получил добро. Комдив у нас инициативу поощряет. Долго рассказывать не буду. К рассвету вышибли немцев. Так рванули вперед, что те от внезапности назад откатились. Пятеро едва на своих плечах дела профессора вытащили из подвала. Очень он всех благодарил. «Пшеницу, — говорит, — особую вывел».

Потерь мы, в общем-то, не имели, только одного солдата осколком зацепило. И что же вы думаете, корпуса захватили да так и не отдали. Они вроде сейчас стоят на ничейной земле. Ну чего там, молчит «Двина»? — обернулся он к связисту.

— «Двина»! «Двина»! — суматошно зашипел связист. — «Двина», как там «гость»?

И вдруг вдалеке подряд ударило несколько взрывов, послышался стук пулемета...

Мы прислушались. Над рощей и рекой разносился усиленный громкоговорителем голос Вилли Бределя, говорившего по-немецки. Разрывы снарядов могли заглушить отдельные его слова, но не могли подавить мысль. Он говорил о фашизме, который тяжкой болезнью охватил его родину. Призывал немецкую молодежь, одетую в солдатскую форму, бороться против войны, гибельной для Германии...

Середина сорок второго! Слово Вилли Бределя еще не смогло отрезвить, но слова его звучали над воронежской землей на том самом рубеже, который оказался непреодолимым для гитлеровцев.

Через полчаса Вилли Бредель вошел в землянку, усталый и немного ссутулившийся; майор подвинул ему стакан.

— Товарищ Бредель, — сказал он, — выпьем по сто грамм. Вы хорошо выступали!

— А вы знаете немецкий? — спросил Бредель.

— Неплохо! Даже преподавал в школе.

Выпили. Помолчали. Бредель прислушался.

— Еще стреляют! — сказал он.

— Да, вы поиграли на их нервах, — сказал майор. — До рассвета теперь будут пахать землю.

Я был еще под впечатлением рассказа майора о профессоре, и вдруг в моем представлении эти совершенно разные судьбы объединились: один жил и трудился на своей земле, а другой, немецкий коммунист, пришел сюда, чтобы пусть пока словом правды, но защитить и спасти ту самую пшеницу, над которой всю жизнь трудился русский ученый-агроном.

Сгустились сумерки. Темнела роща. Я шел по дороге, по той самой, по которой когда-то мчался «виллис» Ватутина.

Я шел по тихой, по-летнему теплой земле. А в душе моей вновь ожила война...

НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЕДШЕЕ, БУДУЩЕЕ

Раз в несколько лет я приезжаю в родное училище. И не только потому, что хочется взглянуть с обрыва на дальние берега Днепра, походить по тем камням, из которых твои кованые сапоги в юности высекали искры. Для меня каждый приезд в училище — глубокая душевная и нравственная потребность.

Я был одним из тех, кто вышел молодым командиром из этих стен незадолго до Великой Отечественной войны. Теперь мы уже старшее поколение, и один из его представителей — генерал-майор войск связи Иван Николаевич Тюльга — командует училищем...

Утверждают, что крепостному зданию училища более семисот лет. Если приглядеться, можно заметить еще сохранившиеся замурованные бойницы. Эти стены видели много потрясений, выстояли они и под жестокими ударами минувшей войны.

Мне навстречу спешат курсанты, и я невольно приглядываюсь к ним, молодым людям семидесятых годов; нет, не для того, чтобы заниматься сравнением поколений, хочется глубже понять заботы и проблемы, которые волнуют нынешних хозяев этого дома.

Киевское военное училище связи стало высшим инженерным. Молодые офицеры первого выпуска уже служат в войсках. Их письма, так же как и отзывы командиров частей, являются ориентирами для командования, преподавателей, партийной организации.

Подполковник Михаил Петрович Панышин, политработник, в силу большого опыта может смело судить о достоинстве и недостатках молодой курсантской смены. Конечно, в первое послевоенное десятилетие в училище приходила молодежь, быть может, не столь подготовленная. Но тогда в ее активе был, как правило, немалый жизненный опыт, подчас годы труда в колхозе и на производстве. Ныне курсанты в подавляющем большинстве — недавние школьники. Иной юноша и пуговицу-то к кителю сам пришить не умеет. Другой, привыкший к материнской и отцовской снисходительности, не сразу свыкается с суровостью воинской дисциплины.

В политотделе училища я был свидетелем случая,

который хотя и вызвал улыбку, но все же печален. Несколько курсантов, парней музыкально одаренных, создали оркестр и, находясь в отпуске, согласились сыграть на свадьбе за плату. Вскоре об этом узнало командование, виновных наказали, а один из них, к тому же беспричинно пропустивший лекции, был посажен на гауптвахту. И вот мать этого курсанта сделала по телефону строгий выговор заместителю начальника политотдела за «чрезмерные придирки» к ее сыну. Думается, она вряд ли поймет степень собственной вины перед обществом за нетребовательное воспитание сына, за те упущения, которые приходится исправлять теперь. Но речь не об этом. Приведенный случай — лишнее свидетельство того, с какой щепетильностью приходится подчас вести воспитательную работу в училище. Ведь прощтрафившиеся курсанты хорошо учатся, из них сравнительно несложно подготовить хороших специалистов. Но сколько педагогического труда нужно затратить, чтобы они стали офицерами!

Труд воспитателя тем благодарнее, чем охотнее его питомец воспринимает наставления, чем больше у него желания постигнуть то, чему его учат. Не случайно наряду со взыскательной оценкой знаний юноши важнейшее значение приобретает уверенность в том, что он искренне хочет посвятить свою жизнь армии. Училище не только учит, оно испытывает и характер курсанта, укрепляя его веру в правильность избранного пути.

Подполковник Паньшин показал мне письмо одного из недавних выпускников. «Как бы далеко нас ни забросила служба,— пишет он,— мы с теплом и любовью будем вспоминать годы, проведенные в училище. Да, военный инженер — это не только человек, умеющий эксплуатировать технику, он и умелый руководитель».

Чем сложнее техника, тем выше должна быть культура руководства людьми, которые владеют ею. Это обстоятельство не должно становиться открытием для выпускника, когда он прибывает в часть. Он обязан принести с собой в войска не только багаж теоретических знаний, но и багаж опыта, достаточный для первых самостоятельных шагов. А опыт курсант черпает не только на стажировках, но и в самом укладе училищной жизни. Важно помогать будущему офицеру правильно

оценивать знакомые ему явления, заставлять приглядываться к работе командиров, преподавателей, политработников.

Рассказали мне о любопытном эпизоде. Нарушителя дисциплины, которого впору отчислить, перевели в хорошую группу, где царили товарищеская требовательность и взаимная поддержка. И курсант вскоре изменился, сдал экзамены, преобразился внутренне. То был хороший наглядный урок для многих курсантов. Они убедились, какое влияние способен оказать на человека сплоченный воинский коллектив, каким верным помощником он может стать в их будущей службе. И воспитание такого коллектива, его сколачивание всегда остаются важнейшей командирской заботой.

В связи с этим мне вспомнился давний случай. В свое время он заставил серьезно задуматься нас, тогдашних молодых командиров. Лейтенант Васик командовал отличным взводом курсантов, и, казалось бы, это само по себе определяло оценку его деятельности. И вдруг командование освободило лейтенанта Васику от должности. На сборе командиров мы спросили начальника училища о причинах. Ответил он так:

— Курсанты воспитываются не только в своей группе и своем взводе. Их воспитывает вся система учебы, службы, партийно-политической работы в училище, та атмосфера, в которой они живут. И если взвод добился отличной учебы, тут сказались именно влияние этой общей системы. Что же касается Васику, то он меньше всего «повинен» в успехах взвода. Работай он с душой, они были бы еще выше. И мы опасаемся, как бы у курсантов не сложилось превратное мнение о командирском труде. Ведь они могут подумать, что вовсе не обязательно выкладываться на службе, что успехи придут сами. Васик личным примером не участвует в подготовке будущих офицеров, и оставлять его на такой должности нельзя. Нам важны не только оценки в журнале. Мы готовим не рядовых специалистов, а командиров-воспитателей...

Тогда мы много говорили о случившемся. И чем больше вдумывались в обстоятельства «крушения» лейтенанта Васику, тем глубже понимали правоту начальника училища.

Я вовсе не хочу сказать, что для выпускника-лейтенанта знание специальности дело второстепенное. Нет.

Именно со знания техники и своего дела начинается авторитет командира, да и поддержание боевой готовности подразделения без этого невозможно.

Помню, как мы в своих довоенных «боевых листках» писали: «Курсант Иванов медленно наводил линию связи. Ему помог сержант, и курсант стал бегать быстрее». Но вот в моем блокноте нынешняя запись: «У курсанта Д. не ладилось с высшей математикой. К нему на помощь своевременно пришел преподаватель. Держал под контролем успеваемость курсанта, пока она не наладилась твердо». Внешне формулировки как бы одинаковые, но какая все же разница в содержании!

Да, я искренне завидую сидящим передо мной парням, завидую их фундаментальным знаниям замечательной техники связи, которую я видел в классах. Термины, которые курсанты выговаривают с удивительной легкостью, мне часто непонятны. Курсанты замечают это и со всей непосредственностью девятнадцатилетних улыбаются, слушая мои воспоминания о давних годах. «Богатыри не вы, а мы», — читаю на их лицах. Ну что же, отчасти оно так. Техника в ваших руках, ребята, богатырская. Да ведь без человека техника сама по себе мало значит. Главное — знание своего дела, любовь к нему, мужество и глубоко осознанная ответственность за то, что тебе доверено. Старшее поколение в этом доказало свою силу...

Разными путями пришли в училище сидящие передо мной курсанты Виктор Романенко, Сергей Баранов, Михаил Денисов и Анатолий Доровских.

Виктор Романенко сначала учился в институте, с третьего курса ушел на завод и уже в армии решил начать все заново — поступить в военное училище. Сейчас он — старший сержант и убежден, что нашел призвание. Отцы троих других — офицеры. И не только отцы — деды. Кстати, в этой учебной группе более чем у половины курсантов отцы — офицеры.

Мне думается, что стать потомственным офицером столь же прекрасная традиция, как стать потомственным хлеборобом, моряком и сталеваром. Известно, что сыновья наследуют черты отцов, и сложный процесс подготовки командира, несомненно, облегчается, когда юноша на примере отца своего знает, какая судьба ждет его, когда он с детских лет проникается образом мыслей людей, чья профессия — защищать Родину.

Но стать офицером, получить диплом военного инженера сегодня нелегко. В старинных стенах училища, как говорят, только успевай поворачиваться. Объем информации, получаемой курсантом, настолько велик, что пропустить одну лекцию, хотя бы из-за дежурства, — значит уже отстать. Но ребятам по девятнадцать, они думают не только о формулах и модуляторах. Недавно, рассказывают мне курсанты, возникла жаркая дискуссия о поведении человека в бою, о том, что такое подлинное мужество, осознанная ответственность за выполнение поставленной задачи. В этом споре, который социологи отнесли бы к разряду «неформальных связей», проявилось горячее стремление осмыслить свое место в жизни, свою способность командовать, готовность к подвигу. А подвиг по силам лишь командиру знающему, твердо и любимому подчиненными.

Рассказали мне об одном молодом сержанте, который, едва став отделенным командиром, сразу же порвал дружеские отношения с товарищами. Он как бы «добрался до власти»... Конечно, постепенно все друзья от сержанта отшатнулись. Он сам изолировал себя от них. И наконец, хотя и с опозданием, понял, что его «занесло».

Снова урок, и не только для сержанта, но и для его товарищей, снова повод для размышлений о трудностях командирского пути, о способах завоевания авторитета у подчиненных. Так сама жизнь в училище, словно искусный ювелир, гранит души недавних школьников, шлифует характеры будущих офицеров.

Одну из таких воспитанных училищем черт я вижу в постоянном стремлении курсантов участвовать в созидательной жизни народа. Недавние выпускники, ныне лейтенанты-инженеры, С. Пасечник и П. Иващенко награждены бронзовыми медалями ВДНХ и дипломами за изобретение прибора, нужного народному хозяйству. Молодые офицеры училища капитаны-инженеры М. Коршун и А. Пушко разработали макеты лабораторных установок, которые на смотре технического творчества молодежи, проводимом ВДНХ, также получили дипломы и бронзовые медали. И это лишь несколько работ из многих.

Боевые традиции живут не только в памяти, они во всем строе чувств курсантов и молодых офицеров — гордости нашего народа.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТЬ

Пять дней	4
-----------	---

РАССКАЗЫ

Ночи Перекопа	270
Партбилет	282
Жозефина	302
Зеленая «эмка»	313
История Геннадия Друпина	326
Встреча с прошлым	339

ОЧЕРКИ

Командировка в молодость	346
Настоящее, прошедшее, будущее	355

ИБ № 1067

Воинов Александр Исаевич

ВСТРЕЧИ

Повесть, рассказы, очерки

Заведующая редакцией *Л. Сурова*

Редактор *М. Курзанов*

Художник *А. Сума*

Художественный редактор *Г. Комзолова*

Технический редактор *М. Шлык*

Корректоры *Е. Протасова, Т. Горячева*

Сдано в набор 25.09.78. Подписано к печати 28.03.79. Л98206. Формат 84×106¹/₃₂. Бумага № 1. Гарнитура «Журнальная». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,90. Уч.-изд. л. 19,36. Тираж 115 000 экз. Заказ 3251. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.